

Звезда

2012/7

К 200-летию Бородинской битвы

Маша Рольникайте

Слишком долгой была разлука... Повесть

Олег Юрьев

Неизвестное письмо
писателя Л. Добычина

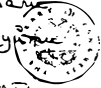
Корнею Ивановичу Чуковскому



Поэты

Из комнаты в стили свеча передито
~~Пора, ~~мы уводим, ~~отключили пламя~~~~~~
и гаснет... палец отпечаток в шпатель,
пока не ~~находят~~ ~~свое~~ ~~свечение~~ ~~пред~~ ~~нами~~ ~~очереди~~ ~~свечи~~ ~~перед~~ ~~нами~~
бездна на ноге в ~~безднах~~ ~~безднах~~

Пора, ~~мы уводим~~ ^{мы уводим} еще молодые,
со сплоском еще неприкинувшие слова,
се последние, что зрелище сизовая Россия
на фосфорных римах последние строки

А мы видя, поди, вдохновение знали,
нам тьма бы, казалось, и книга расти,
но муза безродная нас доканала
и мыли пора нам из мира у 

И не потому что боимся обидеть
своею ~~свободой~~ ~~и~~ ~~добрыми~~ ~~мысли~~ ~~и~~ ~~идеями~~ ~~и~~ ~~идеями~~ ~~и~~ ~~идеями~~ ..
нам просто пора, да и душе не видать
всего, что сокрыто от ~~предельных~~ ~~предельных~~

не видать всей муки и прелесть мира,
онка в отдаленье поймавши путь,
лунатиков смирных в солдатских мушкетерах,
высокая небо, вышестельных туге;

Красы, укорючки; отей малютки
играющих в прятки вкружи и внутри
уборной, кружачица в сумерках лотки;
Красы, укорючки (серией зары);

всего, что томит, обвивается, ранишь.
рыбачья реклама на таль буре,
текущих ее изуродов в туманы ~~и~~,
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переключил с порога мирского
во ту область... Каким образом ее назови:
пустыня или, смерть, отречение от слова,
- или, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги темнотной,
для в тьме ивотом колесе не видна,
молчанье ~~отлучили~~ ^{отлучили}, любви Бенедектной,
молчанье зарницы, молчанье зерна

Прощай же, перо! А грядущим поэтам
давай пожелаем всю ночь всекратить
метр бедный двора и тупыми мистологом,
и ~~перо~~ поутру насую выграть тетради

Василий Власовъ

Архивный автограф черновика стихотворения «Поэты» Владимира Набокова предоставлен А. Бабиковым (см. статью «Продолжение следует. Незвестные списки Набокова под маркой „Василий Шишковъ“» в настоящем номере журнала). Публикуется впервые.

Звезда

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1924 года

2012/7

Санкт-Петербург

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Роскомнадзора ПИ № ФС77-45485 от 22 июня 2011 г.
Издатель: ООО «Журнал „Звезда“». Генеральный директор Я. А. Гордин

Общественный Совет журнала «Звезда»

Б. В. АНАНИЧ, историк, академик РАН; **В. Е. БАГНО**, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, директор Института русской литературы (Пушкинский Дом);
О. В. БАСИЛАШВИЛИ, народный артист России; **А. М. ВЕРШИК**, доктор физико-математических наук, профессор, председатель Санкт-Петербургского математического общества; **Н. Б. ВАХТИН**, доктор филологических наук, профессор;
Д. А. ГРАНИН, писатель; **Л. А. ДОДИН**, народный артист России, главный режиссер Малого драматического театра — Театра Европы; **М. П. ПЕТРОВ**, доктор физико-математических наук, профессор, директор отделения физики плазмы Института им. А. Ф. Иоффе РАН; **М. Б. ПИОТРОВСКИЙ**, член-корреспондент РАН, директор Государственного Эрмитажа; **С. М. СЛОНИМСКИЙ**, композитор, народный артист России;
Э. А. ТРОПП, доктор физико-математических наук, профессор, главный ученый секретарь Санкт-Петербургского Научного центра РАН.

Редакционная коллегия:

К. М. АЗАДОВСКИЙ, **Е. В. АНИСИМОВ**, **А. Г. БИТОВ**,
Вяч. Вс. ИВАНОВ, **И. С. КУЗЬМИЧЕВ**, **А. С. КУШНЕР**, **А. И. НЕЖНЫЙ**,
ЖОРЖ НИВА (Франция), **Г. Ф. НИКОЛАЕВ**, **В. Г. ПОПОВ**,
А. Б. РОГИНСКИЙ, **И. П. СМИРНОВ** (Германия),
Б. Н. СТРУГАЦКИЙ

Редакция:

Соредакторы: **А. Ю. АРЬЕВ**, **Я. А. ГОРДИН**

Е. Ю. КАМИНСКИЙ (проза)
И. А. МУРАВЬЕВА (публицистика)
А. А. ПУРИН (поэзия, критика)
Зам. гл. редактора **В. В. РОГУШИНА**
Зав. редакцией **Г. Л. КОНДРАТЕНКО**. Отв. секретарь **А. А. ПУРИН**
Корректоры: **А. Ю. ЛЕОНТЬЕВ**, **О. А. НАЗАРОВА**, **Н. В. НЕСТЕРОВА**
Зав. компьютерно-информационным отд. **Е. Ф. КУПРИЯНОВ**
Верстальщик **В. М. БЕРДНИК**

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Звезды» запрещена.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются; в переписку по их поводу редакция не вступает. Материалы в электронном виде (в т. ч. присланные по e-mail) не рассматриваются.

Информацию о журнале «Звезда» и материалы из всех номеров журнала
можно найти в INTERNET по адресу: <http://www.zvezdaspb.ru>
<http://magazines.russ.ru/zvezda/>

Уважаемые читатели!

Наш индекс в каталоге Агентства «Роспечать» («Газеты и журналы») — **70327, 71767**
(Спрашивайте во всех отделениях связи России и стран СНГ)
Зарубежную подписку осуществляет:
ЗАО «МК-Периодика» — info@periodicals.ru

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20. Телефоны:
соредакторы и зам. гл. редактора — (812) 272-89-48,
зав. редакцией — (812) 273-37-24, бухгалтерия — (812) 272-18-15
редакция — (812) 272-71-38, отдел реализации — (812) 273-37-24
факс — (812) 273-52-56.

© «Звезда», 2012

© В. А. Гусаков, 2012, худож. оформление

ЗВЕЗДА®

Товарный знак зарегистрирован по классам МКТУ 16, 35, 41, 42

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

РИМСКИЕ ЦИФРЫ

І. ФОРУМ

С дунайских ли, поволжских берегов...
Уральских, невских — разве нет возврата?
Так вот же царство пастбищ и торгов,
Речей, кровопролитья и разврата.

А Колизея главное окно
Распахнуто туда, где высь пустая.
Но облака напомнили... Одно
Становится другим, в него вращая.

Все времена, дошедшие до нас
— как бы стихи, бегущие от прозы, —
Явились разом, словно явный сон.

И я не то. Но здесь я и сейчас.
Метафоры и есть метаморфозы,
Что доказал в поэме ты, Назон.

ІІ. ТЕРРАЧИНА

Словно волны, сменяются быстро
Облака — и легко, на бегу
С умбры сосен, скалистого бистра
Золотую срывают фольгу.
Побережье — то чайка, то галька.
Загляденье, галденье ребят,
Мокрый скрежет песчаного талька...
Разве сердце они тербят?

Светотени, их сизые снасти —
Не ловцы человек, а так...
Улеглись бы вы, страсти-мордасти,
На песок, превратились в пустяк.
Никогда! И не надо причины,
Хватит следствия, просто суда
Над собой — и в раю Террачины,
Беспокойном, как эта вода.

Александр Юрьевич Леонтьев (род. в 1970 г.) — автор книг стихов «Времена года» (Волгоград, 1993), «Цикада» (Волгоград, 1996), «Сад бабочек» (Волгоград, 1998), «Зрение» (Волгоград, 1999), «Окраина» (Харьков, 2006), «Заговор» (СПб., 2006) и книги эссе «Секреты Полишинеля» (Харьков, 2007). Лауреат премии журнала «Звезда» за 2003 г. Живет в С.-Петербурге.

III. «ARRIVEDERCI, ROMA...»

Живешь, как в загробной тиши, —
Души не окликнет прохожий.
Хотя, соловей, не грехи,
Ты сам-то такой же, похожий.

Вот Рим, анонимность почти,
Понятливость жизни-руины.
Хождением камни почти —
Искусственные травертины.

Колонны, фонтаны, дома,
Парящие в диком индиго, —
История словно сама
Холмилась для этого мига.

Случайный ты гость? — Но зачем
Глазами связались навеки
Разрушенный дивный Эдем
И память о нем в человеке?

А это АМОЯ в окне
Блеснет еще розой Азора —
В автобусе, данное мне
Сердечной утехой для взора.

Я сам римотворец теперь.
Терплю, миротворец, удачу
И граппу тяну без потерь,
Плачу — ибо ею же плачу.

IV. СПЕЦИЯ

Когда незнакомец в далекой стране
Начнет демонстрировать снимки родне —
Глазами скользнет по тебе и по мне.
Статисты, стоящие чуть в стороне.

Мы тоже, вернувшись в родные осины,
Увидим где лица чужие, где спины.
Вот Специя, горы ее и низины,
А в них специально растут апельсины.

И каждый с собой увезет натюрморт
Из жизней неизвестных, порт или форт,
Пейзаж с манекеном, дождливый офорт.
Раскрасит, пустым баснословием горд.

Не в центре ли мира сошлись, у фонтана,
Все те, кого гнали сюда трамонтана,
Бастующий транспорт, галдящий вокзал...
Однако никто никого не узнал.

V. ГЕНУЯ. СТАРЫЙ ГОРОД

В Старом городе здесь, на закате
Европейском, в чернеющей дымке,
Мавритански пришедшейся кстати,
Начинают блуждать невидимки.
Оживают, белея, одежды
С пересудом своим говорливым.
Пилигримы, оставьте надежды —
Полумесяц завис над заливом.

Все закрыто — и нет уже давки.
Но становятся улицы уже.
Отворяются новые лавки —
Там дешевле, хотя и похуже.
Африканцы, китайцы, индусы
Пробуждают кварталы от спячки.
Прогуляйтесь-ка, если не труссы,
Пряча глубже, однако, заначки.

Европейская ночь распахнула
Воздух призракам — бродят повсюду.
Наваждение Сеула, аула...
Как не множиться этому люду?
Навсегда ли алмазы? — едва ли.
Бижутерия — жуткое дело!
Вот и Геную завоевали.
Только море волной и задело.

VI. БЕРГАМО

Что безлюдной тишины безвольней...
Только колокольня с колокольной
Чокаются в чуткой синеве.
Ярус верхний звуки рушит прямо
В нижний ряд органного Бергамо —
Да кишат каштанами в траве!

В городе огромном на пьядцетте
Камнем стали песни Доницетти,
Но из глыбы лобной не извлечь
Музыку Ваятелю соборов,
Торжищ, вавилонских разговоров
Утрами, утратившими речь.

Лангобарды, римляне, этруски...
Каково им не внимать по-русски
Двум туристам, слушающим звон.
Хлынул шум, протянута рука мне —
Мы ведь во плоти еще, не в камне.
И шагнуть в толпу, что выйти вон.

VII. РАДУГА НАД ЛАГУНОЙ

Радужку отмуча,
Радугу в себя вбирает туча.
Дождевой надой,
Словно радость бедой,
Отторгнут в нее водой.

Не течет из крана —
Стала стеклом на Мурано.
Пропадает страх,
Прокураций прожженных прах
Смешан с кварцем на островах.

Облекается сферой,
Как монастыри верой.
А ты на террасе стой,
С этой ли стороны, с той,
Любуйся ею, пустой.

Дрогнет балкона дверь:
Видимости не верь.
Зеркало наизнанку —
Как узреть изнутри мамку
Или грядущую ямку.

А всего-то отражена
Комната, выходящая из окна,
Волны Brentы из черепицы,
Солнце, сделанное из пиццы,
Кампанил буранские спицы.

О них лопаются шары,
Летящие с Пьяццы, от детворы:
Наталкиваются на штыри
Мыльные радужные пузыри —
С детским дыханьем внутри.

VIII. ВЕРОНА

Увы, я не из первых бегунов.
На всех сукна январского не хватит же? —
С неровных веронезских берегов
Отрезами развернутого к Адидже.

Венозным варикозом старика,
Копя в извилах сизых электричество,
Резвея, в ГЭС врезается река,
Наркозом в Скалигерово владычество.

Так в беге время молодеет тут.
Вот бронзовый Шекспир, балкон Джульетты ли...
Не в дом Да Порто толпы притекут —
В Виченце умер, и когда бы ведали.

Зачем бежать? Ток самого стиха
Веками полон, хватит на грядущее.
Купил кофейник — вроде петуха —
Уже в Виченце. Да и все бреду еще.

IX. МОНТЕРОССО

На вершину подняться Аврору,
В монастырь капуцинов зайти...
Надо ль выше карабкаться в гору? —
Только нету иного пути.
Тяжело два потеющих тела
Забирались на пик, на плато...
Вот акме, заповедник предела
На кремнистой границе с Ничто.

Ниши кладбища. Склепы, надгробья.
Лишь в двадцатом столетье сюда
Стали втаскивать урны — подобья
Непосильного в прошлом труда.
Крутизну оценили подъема,
Отдышались в теньке, на ветру.
Каково же до Божьего Дома
Подымать домовины в жару...

Запечатаны мертвые соты,
Ибо, срезаны, вянут цветы...
Крестный путь на такие высоты
Неземной ли алкал красоты?
Прочь отсюда! Но лучше запомни:
Со скалою упрочили связь
Лики ангелов каменоломни,
Словно в лоно ее возвратясь.

С очевидным ничтожеством споря,
Обрывается небо у ног.
Это уровень горя — не моря.
Даже мраморный Сын, одинок,
Отвернулся от йодистой сини,
Обращен на другую гряду...
Неужели лазурь, что в низине,
С верхоглядной не в том же ряду?

Скоро сонной часовни сиеста
Вновь прервется живой чередой.
Разве труднодоступное место —
С близлежащей-то нашей бедой?
Что с того, что заруют высоко,
Как бы вывернув страшное дно...
Зуб неймет, ибо емлет лишь око.
На Спасителя обращено.

МАША РОЛЬНИКАЙТЕ

СЛИШКОМ ДОЛГОЙ БЫЛА РАЗЛУКА...

Повесть

1

Анечка, счастливая, что мама несет ее на руках, весело щебетала что-то на своем языке. Она не знала, что ей сегодня исполнился годик, что их гонят в гетто, что солдаты не разрешили маме взять коляску, а папе его скрипку. И еще он очень странно выглядит, согнувшись под большим рюкзаком и с двумя узлами в руках.

Но вечером, в незнакомой, набитой чужими людьми комнате она ни за что не хотела, даже между родителями, лежать на полу. Плакала, не засыпала. Она плакала не только в эту, первую ночь. Дома веселая щебетунья, здесь она часто хныкала, капризничала, когда мать ее кормила непривычной кашницей из размоченного в воде черного хлеба. И хоть со слезами на глазах, да проглатывала. Только, видно, ее животик от такой еды болел, Лейя гладила его, просила: «Потерпи, доченька, потерпи». А когда Анечка от этого поглаживания засыпала, Лейя торопилась во двор убирать снег. Она работала дворничихой, чтобы получить спасительный «Ausweis» — удостоверение, что работает, которое во время ночных проверок, так называемых акций, может предъявить. Потому что тех, кто не имел такого удостоверения, прозванного здесь «временным разрешением еще немного пожить», забирали. Хотя солдаты и орали, что тех, кого забирают, переводят в рабочий лагерь, все знали, что никакого лагеря нет, а есть вырытые в пригородном лесу ямы. Об этом рассказал случайно спасшийся и прибежавший в гетто мужчина. Оказывается, он прыгнул в яму до выстрела. Ночью, когда солдаты уехали, он вылез. Снял с себя окровавленную чужой кровью одежду, нашел в брошенных узлах брюки, пиджак, шарфом замотал, будто страдал от зубной боли, половину лица — пусть не бросается в глаза его отнюдь не арийская внешность, — утром вышел на дорогу. Какой-то мужик, ничего не спрашивая, довез его до города. А там, выждав в подворотне бредущую мимо колонну своих, юркнул в нее и вернулся в гетто.

Редакция сердечно поздравляет Марию Григорьевну со знаменательным днем — 21 июля.

Мария Григорьевна Рольникайте — прозаик, переводчик, автор книг: «Я должна рассказать» (М., 1965), «Три встречи» (Л., 1970), «Привыкни к свету» (Л., 1974), «Долгое молчание» (Л., 1981), «И всё это правда» (СПб., 2002) и др. Живет в С.-Петербурге.

Этот его рассказ люди в панике передавали друг другу. Тому, что человек вернулся в гетто, одни удивлялись, другие понимающе вздыхали: «Куда еще ему было деваться?»

У отца Анечки, Ильи Шераса, «Ausweis» был. Он, скрипач, догадался назваться столяром и работал на какой-то мебельной фабрике. Лейя вздыхала: дома она ему не давала гвоздь в стену вбить, чтобы не поранил руку, а тут...

Но главной их болью была Анечка. Она худела. И перестала не только улыбаться, но даже плакать не было силенок, — их хватало только на хныканье, слезные жалобы. И все время просилась на руки, словно ища у родителей защиты. Хотя откуда ей, крохе, было знать, что какой-то хороший немец предупредил работающих у него евреев, что готовится тотальная акция в отношении детей, то есть заберут всех как балласт Третьего рейха.

Эта страшная весть мгновенно облетела гетто. Люди принялись готовить укрытия. В одних квартирах задвигали лаз в погреб, через который, вынув дно, можно было бы спуститься вниз вместе с детьми, а оставшиеся наверху соседи в последний момент его закроют и завалят одеждой. В других квартирах таким же способом маскировали вход в какую-нибудь маленькую комнатку или каморку.

Илья решил, что убежище в самом гетто ненадежно, что ребенка надо вынести в город. Но к кому?

Утром, на фабрике, когда они с Винцентом укладывали доски для просушки и рядом никого не было, он поделился этой грустной вестью и своей тревогой. Но Винцент не понял его намека. А может, не хотел понять.

Да, нелюди эти немцы, настоящие нелюди.

Илье пришлось решиться.

— Может, пан Винцент приютит нашу девочку? Она светловолосая и маленькая, еще не говорит. Так что сразу заговорит по-литовски или по-польски, как вам с женой будет угодно.

— Побойтесь Бога, пан Илья! Ведь за нее наших четырех детей заберут. У этих сволочных немцев одно наказание — повесить или расстрелять.

— Боже упаси, пан Винцент, я этого не хочу! Но, может, ее как-нибудь спрятать...

— Негде, пан Илья, негде. Да и кругом соседи.

Даже не задвинув свой конец доски в паз, Винцент вышел во двор, на ходу доставая свой мешочек с махоркой, — в сушилке курить нельзя.

До самого конца дня они работали молча. И только вечером, прощаясь, Винцент заговорил:

— Не обижайтесь, пан Илья, я бы всей душой. Но у меня четверо...

— Понимаю...

И на самом деле понимал. Только было больно. Очень больно.

Лейе он об этой своей попытке не рассказал. Но она, видно, что-то чувствовала. И ночью, когда все соседи спали, шепотом предложила подумать о ком-нибудь из оркестрантов. Все-таки коллеги, столько лет рядом сидели в оркестровой яме.

Решили просить Венцкуса. Вроде приличный человек, даже дружелюбный. И что немаловажно — его, Илью, ведут на работу и обратно в гетто как раз по той улице, где живет Венцкус.

На следующий вечер, перед самым концом работы, уже в темноте, Илья спорол с пальто обе желтые звезды, в колонне встал с правого края, и когда приблизились к парадной дома, в котором живет Венцкус, вбежал в нее. Поставил, чтобы убедиться, что за ним не гонятся. И все равно по лестнице поднимался медленно.

Венцкус, открыв дверь, очень удивился. Не пригласил войти. А стоявшая за его спиной жена просто испугалась.

— Что господину нужно? — спросил Венцкус Илью как чужого.

Илья изумился: неужели не узнал?

— Я Шерас, из оркестра. Теперь мы в гетто, и нашей доченьке грозит опасность. Моя жена и я хотели вас просить...

— ...Чтобы мы рисковали своей жизнью?

— Нет... — И повторил свои аргументы: — Девочка не похожа на нас. Она светловолосая. И еще не говорит. Так что у вас заговорит сразу...

— Ничем помочь не могу, — прервал его Венцкус и уже собирался закрыть дверь. Но, видно, почувствовал жестокость своего отказа, добавил более спокойно: — Немецкая власть слишком беспощадна, чтобы мы могли решиться нарушить ее запреты. Не наша вина, извините, — и закрыл дверь.

Илья продолжал стоять перед зарытой дверью. Слышал, как Венцкус говорит жене:

— Ребенка, конечно, жалко, но мы же не виноваты в том, что немцы их так ненавидят?

«Конечно, не виноваты», — беззвучно вздохнул Илья и медленно, почему-то останавливаясь на каждой ступеньке, хотя и не надеялся, что его окликнут, спустился вниз.

Лейя по его виду сразу все поняла.

— Хорошо, что хоть ты вернулся.

— Хорошо...

Ночью они опять не спали. Лейя — от отчаяния, что Венцкус отказал, а солдаты могут прямо сейчас ворваться и схватить Анечку. Илья перебирал в памяти других оркестрантов — кого еще можно попросить спасти ее? Один хо-лостой, другой откровенный антисемит и даже может вызвать полицию, а у кого-то, как у Винченца, свои дети, и он просто побоится. Может, попросить Пожераса?

Лейе он о том, что попытается просить Пожераса, не рассказал, чтобы зря не волновалась. Но она, видимо, что-то почувствовала. Попросила:

— Будь осторожен.

Сперва все повторилось, как накануне. Вечером, после работы, он опять спорил с пальто желтые звезды, встал с края колонны. Но на тротуар шагнул на соседней улице. К счастью, пустынной. Дом, в котором живет Пожера, знал, — как-то после спектакля они вышли вместе. Дом он показал, только квартиру не назвал, — ни к чему это тогда было... Правда, упомянул, что весной черемуха скребется прямо в окно. Значит, скорее всего, он живет на втором этаже.

Там оказались четыре квартиры. За которой из этих дверей живет Пожера?

Он тихонько переходил от одной двери к другой. Стоял, прислушивался. Но за каждой — тишина. Да и опасно было так стоять — в подезд мог кто-то войти. И он несмело коснулся звонка ближайшей к лестнице двери, чтобы, если откроет немец, убежать.

Но дверь открыл... Стонкус! Ведущий артист драматического театра. Сзади стояла его жена, тоже артистка.

— Извините, пожалуйста, я, кажется, ошибся. — Не говорить же, что шел к Пожере и тем самым подвести его. — Сейчас иду.

— Ничего, господин Шерас, ошибку не обязательно исправлять. Заходите. Ни моя жена, ни я не заражены немецкой ненавистью к людям вашей национальности.

— Спасибо. — Илья все-таки нерешительно переступил порог.

— Раздевайтесь, у нас тепло.

Сняв пальто, под которым на свитере оказались пришитые желтые звезды, Илья вошел в богато обставленную гостиную. На стенах висели фотографии хозяина в разных драматических ролях. И среди них... Стонкус в форме немецкого офицера!

Стонкувене, видно, перехватила его взгляд.

— Пришлось повесить в качестве индульгенции на случай прихода нежелательных гостей.

— Отказаться от роли было нельзя, — объяснил хозяин. — Как в народе говорят: «На чьей телеге сидишь, того песню и поешь». Но вообще роль разноплановая, и мы с режиссером очень старались, чтобы мой персонаж не вызвал у зрителя симпатии, и даже наоборот... Надеюсь, нам это удалось. Извините, мы вас на минуточку покинем.

Илья остался один. Несмотря на приветливость хозяев, он хотел скорей уйти отсюда, от этой смотрящей на него фотографии.

Стонкус вернулся почти сразу. Казалось, он не понял ни страха гостя, ни грозящей ему самому — если у него застанут такого гостя — опасности. Заговорил о театре.

— К сожалению, оркестр нашего театра, в котором вы работали, в целях экономии сократили. На некоторые спектакли приходится приглашать музыкантов из оперного театра и играть эти спектакли, когда там выходной. А у вас теперь есть работа?

— Я теперь столяр.

— Но вам же надо беречь руки.

— Нам нельзя не работать.

— А хотя бы вечером, для души, вы можете играть?

— Скрипка осталась дома. Когда нас гнали в гетто, не разрешили ее взять. Даже детскую коляску вырвали у жены из рук.

— Вы там с ребенком?

— Да, с доченькой.

— Жена тоже обязана работать?

— Это единственный, хоть и слабый шанс пока оставаться живыми. Ей повезло, что взяли дворником в нашем же доме, чтобы могла время от времени забегать к ребенку. Малышка там одна. Соседи тоже на работе.

— Какие соседи?

— Которые живут в одной с нами комнате.

— Простите, вы живете в одной комнате еще с кем-то?

— Да, у нас четыре семьи. Но это не главная наша беда.

Он очень хотел, чтобы Стонкус спросил еще о чем-нибудь. Но в гостиной затянулась опасная тишина. Боясь, чтобы хозяин не заговорил о чем-нибудь другом, Илья решил:

— Один хороший немец предупредил, что скоро в гетто проведут акцию — заберут всех детей как бесполезных для Рейха. А что с ними сделают, мы знаем... — И повторил то, что уже говорил другим: — Нашей девочке годик. — Хоть он и старался держаться, голос его задрожал. — Она светловолосая, на нас с женой не похожа. И еще не говорит.

Стонкус вдруг встал. Неужели все-таки будет звонить в полицию? Нет. Открыл дверь явно в кухню, — оттуда пахло едой.

— Алдона. Выйди, пожалуйста, к нам.

— Сейчас. Только забелю суп.

— Потом забелишь.

Когда она вошла, Илья встал. Даже в домашнем платье и переднике она оставалась той же знаменитой артисткой, лишь исполняющей роль домашней хозяйки.

Муж придвинул ей кресло.

— Садись. А вы, — он повернулся к Илье, — повторите жене то, что рассказали мне.

Илья откашлялся, чтобы голос не дрожал, и повторил.

— Не волнуйтесь, моя жена поняла вас, — сказал хозяин, потом обратился к жене: — Господин Шерас уверяет, что девочка светловолосая и еще не говорит. Так что... — он все-таки замялся, — родного языка не знает.

У Ильи заколотилось сердце.

Но Стонкувене вдруг поднялась.

— Посмотрю, не убежал ли суп, — сказала она и вышла.

— Не волнуйтесь, жена сейчас вернется.

Но она не возвращалась. И Стонкус пошел за ней.

Илья ждал. Дверь в кухню оставалась закрытой. И голосов не было слышно. Илья понимал, что должен уйти. Тем более, что скоро станет меньше возвращающихся в гетто желто-звездных бригад, в одну из которых, выждав в подворотне, он должен будет юркнуть. И опять вернуться ни с чем...

Наконец дверь отворилась и вернулся Стонкус, держа перед собой поднос с тремя тарелками супа и горкой нарезанного хлеба.

Хозяйка расставила тарелки.

— Извините за скромное угощение. Не моя в том вина. Но заправлен суп настоящим молоком, а не эрзацом. Знакомая молочница из деревни приносит.

— Спасибо большое, — сказал Илья не зная, как попросить, и повторил: — Большое спасибо. Но... можно его отлить в баночку, чтобы я отнес ребенку. Вносить что-либо в гетто запрещено, но я спрячу бутылочку под пальто, может, сегодня охрана не очень лютует.

Илье показалось, что у Стонкувене в глазах заблестели слезы. Он отвел взгляд.

Заговорил ее муж:

— Ешьте, господин Шерас. Для вашего ребенка жена нальет отдельно. И хлеб весь заберете. Нам пока, благодаря театральному буфету, хватает.

— Спасибо. Сердечно благодарю. — Голос Ильи все-таки дрожал. И хотя взял ложку, сразу есть не решался.

— Ешьте пока не остыл, — посоветовала хозяйка. — У нас прохладно.

И хотя Илья послушно принялся есть, думал о главном: как спасти Анечку.

Наконец решил:

— Я понимаю, что не имею права просить об этом.

— О чем именно?

— Приютить нашу доченьку. Ведь это риск. Но, может, вас, ведущих артистов театра, ни в чем таком не заподозрят. В крайнем случае сможете объяснить, что из деревни привезли племянницу. Девочка светловолосая...

Он умолк.

Хозяева тоже молчали.

Наконец Стонкус встал, подошел к жене, поцеловал ей руку.

— Не отказывай. Может, Бог за это услышит нашу мольбу и у нас родится своя. Ты же хочешь девочку.

Стонкувене кивнула и заплакала. Илья тоже не мог сдержать слез. Да и не старался: Стонкусы согласны приютить Анечку! Он был готов упасть перед ними на колени, целовать им руки, ноги, целовать их одежду. Но смог только пробормотать:

— Спасибо! Вы... вы ангелы, наши ангелы-спасители. Я буду осторожен и принесу ее тайком. Никто не увидит. Вы ангелы.

В подворотне он еле дождался колонну возвращающихся в гетто. Шагал, едва не наступая идущему впереди на пятки.

Наконец Илья вошел в гетто. Немца у ворот не было, литовский охранник и свои полицейские не очень усердствовали, и Илья пронес свое богатство. По улочке почти бежал. Только перед самым домом спохватился, что нельзя появиться таким счастливым, тем более объяснить повод. Ведь у соседей тоже есть дети...

Ночью Лейя с Ильей, возбужденные, не сомкнули глаз. Сперва Лейя допытывалась: не испугал ли Стонкуса его приход. Неужели искренне пригласил войти? А как на это прореагировала его жена?

Илье даже пришлось описать их гостиную. Только о фотографии, на которой Стонкус в форме немецкого офицера, промолчал. И еще о том не рассказал, что Стонкувене, поняв цель его прихода, резко поднялась и вышла в кухню, что долго, пока муж не пошел за нею, не возвращалась. Зато живописал, как она уговаривала его, чтобы он съел суп.

Лейя вдруг заплакала.

— Ну что ты? Радоваться надо, а ты плачешь. Они же Анечку спасут!

— Это я от радости, что наша доченька будет жить. Пусть сиротой, у чужих людей, но вырастет. И, может, будет счастлива.

У Ильи сердце защемило от этого «сиротой, у чужих людей», но он ничем не выдал себя.

А Лейя продолжала всхлипывать.

— Ты попроси наших спасителей, чтобы они потом, когда Анечка вырастет, ей рассказали, что у нее были родные отец и мать.

— Почему только «были»? Может, и будем. Может, Гитлер не успеет всех нас убить. На фронте у него дела неважные.

— Фронт еще далеко, а мы здесь...

Он гладил ее руку.

— Давай лучше думать, как дочь вынести отсюда. Даже спрятав под пальто, нельзя, ведь никто зимой не ходит в расстегнутом пальто. В рюкзаке тем более. Из гетто нечего нельзя выносить. Охранники увидят, прикажут показать, что там, или, хуже того, начнут по рюкзаку лупить дубинками.

Лейя вздрогнула. И оба молчали. Только Анечка, лежа между ними, во сне чмокала губами. Видимо, снилось, что сосет грудь.

Наконец Лейя зашептала:

— Может, Лейзера попросить?

— Какого Лейзера?

— Моего двоюродного брата. Он здесь стал трубочистом. А трубочисты единственные имеют «пассир-аусвайзы», позволяющие ходить по городу в одиночку, и, главное, ящики, в которых таскают свои причиндалы. В них, вроде, есть двойное дно, куда они прячут съестное, которое некоторые сердобольные хозяйки дают им за работу. А охранники их пропускают без проверки: никому неохота запачкаться сажей. Не зря трубочисты считаются самыми сытыми людьми.

— Какая ты у меня умница! Если внизу просверлить отверстия для доступа воздуха и раздобыть легкое снотворное... — Он, кажется, был готов прямо сейчас, ночью, бежать сверлить эти отверстия.

— Куда ты? Ведь ночь. Завтра я с Лейзером поговорю.

— Никакому Лейзеру, хоть он твой родственник, я ребенка не доверю. Сам вынесу. Да и Стонкусы могут испугаться чужого человека и откажутся взять девочку. Да и Анечка Лейзера будет бояться. Я только попрошу его одолжить мне этот ящик. А у Стонкусов я ее разбужу, помою, и они залюбуются нашим ангелочком. — Называть ее ангелочком не надо было, поскольку Лейя опять заплакала. И он ей зашептал в самое ухо: — Не плачь. Ведь она будет жить. Понимаешь — жить!

Плакать Лейя перестала, но до самого утра они так и не уснули.

Вечером, только войдя в гетто, Илья поспешил к Лейзеру, и до самого полицейского часа они в каком-то сарайчике почти вслепую — лишь слабый свет луны проникал через приоткрытую дверь — готовили для Анечки укрытие.

Чтобы скрыть от соседей правду, Илья сказал, что они перебираются к родственникам (к тому же Лейзеру), где в комнате осталось всего одиннадцать человек, поскольку, к несчастью, у жившего там молодого парня охрана ворот при обыске обнаружила толь, обозвала партизаном, и за это забрали всю его семью.

Но Анечка на новом, незнакомом месте, где были одни взрослые, долго не засыпала, капризничала, и Лейе пришлось дать ей раньше времени легкое снотворное, добытое за свою и Ильи двухдневную порцию хлеба. Боялась, чтобы дочка, когда ее понесут, не проснулась еще по дороге и от страха не заплакала.

Провожала их Лейя ранним утром (на улочках бригады еще только собирались) и лишь до шлагбаума перед воротами. Дальше ей было нельзя. Смотрела, как Илью с ящиком выпустили через приоткрытые ворота, которые тут же сомкнулись, и она его, уходящего, не видела. Все равно еще стояла, мысленно идя рядом, пока геттовская охрана не прогнала ее.

Она повернула назад. Побрела чистить свой бывший двор.

Убирала. Скребла снег. Руки привычно делали свое дело. Но сама еще будто шла с мужем. Волновалась — не задержали бы, хотя Лейзер дал свой «пассир-аусвайз», и Илья вымазал руки сажей.

Дошли они благополучно. На улицах в такую рань не было ни одного полицейского, тем более немца. Редкие прохожие не обращали на него внимания. Но Стонкусов он явно напугал. Лишь после второго звонка в передней послышались шаги и Стонкус спросил почему-то по-немецки:

— Кто вы?

— Господин Стонкус, это я, — и на всякий случай, если соседи их слышат, добавил: — трубочист.

Стонкус узнал его голос и сразу открыл дверь. Он был в халате поверх пижамы.

— Извините, пожалуйста, — зашептал Илья, — что в такую рань и без предупреждения. Но в любой час могло начаться...

— Ничего, ничего, мы уже не спали, — сказал он, хотя Стонкувене вышла тоже в халате и явно заспанная.

Илья осторожно опустил ящик.

— Куда можно выгрузить это?

Стонкус, кажется, все понял.

— Сейчас. — Он отодвинул коврик и постелил газеты.

Оба молча смотрели, как Илья укладывает на них какую-то цепь со свисающей с нее гирей, странные, на длинных ручках щетки и другие незнакомые, но, по-видимому, нужные для чистки дымоходов предметы. Наконец осторожно приподнял доску. Под нею на боку, поджав ножки, лежала спящая девочка. Илья осторожно вынул ее, и она, не просыпаясь, их тут же рапрямила и продолжала спать.

— Несите ее в гостиную, — предложила Стонкувене. — Здесь прохладно. А мы пока согреем воду, — ребенка после такой дороги надо помыть.

— Я тебе помогу. — Стонкус вышел вслед за нею. Дверь осталась приоткрытой, и Илья услышал, как Стонкус сказал:

— Она на самом деле не похожа на еврейку.

Илья легонько гладил дочь, стараясь не расплакаться. И шептал ей в самое ушко:

— Живи, дитя мое, живи. Вырастай большой, счастливой. А мы с мамой отсюда, с небес, будем смотреть на тебя и радоваться.

Вскоре вернулись Стонкусы с большим ведром воды. Илья внес спящую дочку в ванную комнату и стал снимать с нее жалкую одежонку. Она проснулась и, испугавшись чужих людей, крепче обхватила отца за шею. Он посадил ее в большой таз с теплой водой, но Анечка все равно не отпускала его руки.

А когда чужая тетя стала ее мыть, и вовсе заплакала. Илья гладил ее. Успокаивать не решался, — в этом доме не должна звучать еврейская речь. Анечке надо научиться понимать литовский язык, а потом и самой заговорить на нем.

Илья понимал, что должен уходить: он обещал Лейзеру сразу вернуть ящик, чтобы тот успел выйти из гетто и выполнить назначенную на сегодня работу. Но Анечка — чистенькая, укутанная в хозяйскую большую махровую простыню — рвалась к нему на руки. Только сидеть рядом она не хотела, начинала всхлипывать. Илье казалось — малышка чувствует, что он собирается уходить. И на самом деле, как только он вышел в переднюю и стал складывать все в ящик, она босиком, путаясь в этой большой простыне, выползла к нему. И даже все норовила влезть обратно в ящик. Илье пришлось вернуться в гостиную. Не помогали старания Стонкуса, который пытался отвлечь девочку, — то прикладывал к ее ушку часы, чтобы она слушала их тиканье, то давал поиграть со снятым с полочки игрушечным зайчиком. Илье приходилось брать дочь на руки, убаюкивать в надежде на то, что она уснет, — может, еще действует снотворное, но стоило осторожно положить ее на кровать, как она просыпалась.

И так раз за разом. Наконец он все-таки был вынужден уйти, оставив ее плачущей. А на лестнице сам дал волю слезам.

Лейе он этих подробностей не рассказал. Успокоил, что всю дорогу туда Анечка спала, что у Стонкусов ее выкупали и укутали в большую махровую простыню, что Стонкувене сварила для нее манную кашу. Но того, что почти убежал, оставив ее плачущую, не рассказал. А еще он не сказал, что Стонкувене, поднося ей ложечку каши, говорила:

— Ешь, Онуте, ешь.

Лейя вроде успокоилась. Однако ночью вдруг проснулась и схватила его за руку.

— Анечка плачет!

— Успокойся. Тебе приснилось.

— Нет, я слышу. Здесь слышу, как она там, у чужих людей, плачет.

— Не чужие они. Спасители.

Через три дня облаву на детей, о которой предупреждал тот немец, увы, провели. В полдень, когда взрослые были на работе, в гетто внезапно на грузовиках въехали местные ретивые пособники немецкой власти. Они врывались в дома и хватали пытающихся убежать от них детей. Подростков заставляли самих забираться в кузова, а плачущих малышей, раскачав за ручки и ножки, просто швыряли туда.

Гетто после этой облавы погрузилось в траур, хотя по утрам взрослые, как прежде, должны были собираться в одном месте, чтобы выйти, как положено, единой колонной. Здоровались безмолвно, лишь сочувственными вздохами. Днем из местных мастерских доносился визг электрической пилы. Он походил на душераздирающие вопли. Детей и прежде, особенно на улочке, ведущей к воротам, не было, чтобы, если в гетто неожиданно нагрянет какой-нибудь ээсовец, он их не видел. Ведь рейху были нужны лишь работающие евреи. А теперь и на крайних улочках детей не было. Немногие, спасшиеся в укрытиях, должны были тихо сидеть в комнатах, и если в гетто опять ворвутся солдаты, немедленно прятаться в укрытия.

Лейя с Ильей разделяли горе осиротевших родителей. И скрывали друг от друга часто охватывавшее их чувство страха: так ли их доченьке у Стонкусов безопасно? Ведь соседи могут заинтересоваться, откуда у бездетной семьи вдруг появился годовалый ребенок? Чтобы не выдать тревоги, делились только тоской по Анечке и утешались тем, что хорошо, когда есть о ком тосковать...

Все разговоры о ней они вели, уединившись на широкой лестнице черного хода, которым никто не пользовался. Лейя давала волю другим своим

переживаниям: не плачет ли Анечка, не тоскует ли по ним, стала ли понимать литовскую речь. Илья ее утешал — литовские слова, наверное, стала понимать, дети легко усваивают все новое. Но главное — она в безопасности, никто на таких актеров, как Стонкусы, не станет доносить. Они же гордость Литвы. И когда Гитлеру придет конец — а судя по разговорам рабочих на фабрике, немцам на фронте худо, — Стонкусы вернут им доченьку живой и здоровой.

Лейя про себя вздыхала: только бы выжить...

3

Выжили. После почти двух лет в гетто и стольких же в концлагерях (они были в разных и ничего друг о друге не знали) они вернулись в город.

Первым вернулся Илья. Сразу после освобождения он и еще трое таких же доходяг, в тех же полосатых арестантских робах с лагерными номерами, решили сразу отправиться домой. То брели пешком, то какой-нибудь сердобольный крестьянин подвозил. Иные жители даже пускали их к себе переночевать. Но в основном ночевали в пустовавших хлевах или сараях, — хозяев, видно, немцы вывезли, а может, те от страха перед большевиками сами удрали вместе с отступающей немецкой армией.

Спутники Ильи, несмотря на усталость, допоздна предавались мечтам о жизни, которая их ждет дома. Илья молчал, потому что после побоев особо жесткого обершарфюрера Вернера стал сильно заикаться, но главное, оттого что в отличие от них, видевших свою будущую жизнь продолжением прежней, он свою не представлял без Лейи. Что хрупкая Лейя могла в аду концлагеря выжить, он не надеялся...

Сколько времени они добирались, Илья и сам не знал, — все эти дни и ночи слились во что-то очень долгое и трудное. Где и как перешли границу, понятия не имел. Даже не знал, была ли она.

Когда наконец дотащился до знакомого пригорода, он от волнения едва переставлял ноги, а по щекам вдруг потекли слезы: сейчас он увидит Анечку! Но оттого, что прохожие удивленно глазели на них, одетых в странные полосатые робы да еще по геттовской и лагерной привычке бредущих по мостовой, он понял, что ему нельзя в таком виде появляться у Стонкусов. Что он должен сперва зайти домой переодеться. Ведь когда их переселили в гетто, дома остался полный шкаф одежды.

Кивнув своим попугчикам и едва выговорив: «В д...д...добрый путь», — свернул на свою улицу. Если бы не уцелевшие кое-где дома, он бы ее не узнал. Кругом были одни руины. Неужели их дома тоже нет?

Переставлять ноги стало еще трудней. Но он брел. Там, за углом, их дом.

Уцелел! Из-за развалин вокруг дом выглядит непривычно высоким.

Кто эти люди, которые убирают обломки?

Вдруг ему показалось, что мужчина, согнувшийся под тяжестью носилок, на которых лежит какая-то глыба, — их сосед Тадас Повильюнас. Но подойти не решался. Ждал, пока, свалив глыбу в кузов грузовика с опущенными бортами, Тадас со своим напарником будут возвращаться.

Когда они приблизились, Илья все же поздоровался.

Тадас недоуменно посмотрел на него. Илья, от волнения еще больше заикаясь, назвал себя.

— Господи! — Тадас опустил на землю носилки и перекрестился.

— Вы?! А мы уже не чаяли вас дождаться. Моя Котрина даже спрашивала ксендза, можно ли молиться за упокой души некрещеного человека. А госпожа Лейя тоже жива?

— Н...н...не знаю.

— Товарищ бригадир, — обратился Тадас к какому-то мужчине, — я свои часы завтра отработаю. Сосед вернулся, можно сказать, с того света. — И, повернувшись к Илье: — Идемте, заглянем к нам.

— Я... сперва д...д...домой.

— Потом домой. Потом. Я пойду с вами. А пока — к нам, обрадуем мою жену. Илья послушно побрел за ним.

Своей жене Котрине Тадас сказал:

— Порадуйся, господин Шерас вернулся. Можно сказать, с того света.

Она перекрестилась.

— Господи, а мы уже не надеялись.

— Я д...д...должен снять эту... — Илья жестом показал на свою лагерную робу. Чтобы меньше заикаться, он старался меньше говорить.

— Обязательно снимете это тряпье. Сейчас подберем что-нибудь.

— З...зачем подбирать? Д...дома есть, что одеть.

Тадас переглянулся с женой.

— Господин Шерас...

— К...какой я господин? Просто Илья.

— Хорошо. Господин Илья, вы только не расстраивайтесь. На улице не останетесь.

— П...почему на улице?

— Дело в том, что в вашей квартире живут другие люди.

— Как эт...то живут? К...кто их пустил?

— Немецкая власть. Много еврейских квартир тогда опустело, — вздохнула Котрина.

Чтобы больше ничего не объяснять, Тадас открыл дверцу шкафа, достал какой-то пиджак. Повертел в руках и вернул на место. Достал другой. И брюки.

— Наденьте. Пока будут широковаты. Но ничего, поправитесь. — И повернулся к жене: — Достань рубашку, ту, клетчатую. Она будет в самый раз.

— С...спасибо. М...можно, я сразу надену? — сказал Илья, не объясняя, что к Стонкусам не может явиться в лагерном. Да и Анечку напугает. — А эт...тот сожгу во дворе. Хочу, — он замялся, — в...видеть, как оно г...горит. Потом уйду.

— Можете не уходить. Вы нам не мешаете.

— Мне н...надо. Обязательно н...надо. — Но куда и зачем, объяснять не стал.

— Только сперва поешьте.

— Б...большое спасибо.

То, что он назвал лагерным тряпьем, горело долго, очень долго, словно нехотя. А когда пламя наконец проглотило номер, Илья оставил эту полосатую «униформу» дотлевать и вернулся к Тадасам, хотя ему и очень не терпелось пойти к Анечке.

— Долго же ваши шмотки горели, — удивился Тадас.

Котрина разлила борщ в три тарелки, Илье больше всех.

— Жаль, что забелить нечем.

А он и забыл, что борщ забеливают. И удивился, когда Котрина положила на стол целую буханку хлеба. Как он в лагере мечтал об этом — чтобы на столе лежала *целая* буханка, от которой можно отрезать толстые ломти.

Тадас отрезал три, каждому по одному. И одинаковые.

Илья откусывал от своего по маленькому кусочку, чтобы хватило на весь борщ.

Поблагодарив хозяев, заторопился уходить. Они тактично не спросили его куда. Но Тадас вдруг попросил его без него в свою (он даже запнулся) бывшую квартиру не ходить.

— Я н... не туда.

Оказавшись на улице, Илья вдруг почувствовал себя очень одиноким. На встречу ему шли какие-то чужие люди. Он пытался утешать себя тем, что ведь и раньше, до войны, по улицам ходили незнакомые люди. Да, но тогда он чувствовал себя им ровней.

Свернув на улицу, где жили Стонкусы, Илья разволновался: сейчас он увидит Анечку! Узнает ли она его? Наверное, не узнает. Ведь тогда она была совсем маленькой! А прошло столько времени. И что с Лейей? При ликвидации гетто их разлучили. Говорили, что женщин увезли в другой лагерь. Хоть бы она там выжила...

Вдруг он остановился в испуге: куда заберет Анечку? Ведь в их квартире живут другие люди!

По лестнице поднимался с бьющимся сердцем. Жаль, что один. Знать бы, в каком лагере Лейя, расспросил бы кого-нибудь.

В дверь Стонкусов позвонил не сразу. Ждал, пока сердце перестанет колотиться. На звонок нажал робко. Даже показалось, что в квартире его никто не услышал. Но нет, кто-то идет к двери. Открывает!.. Но это почему-то не Стонкус, а какой-то незнакомый мужчина.

— Д...добрый день. Я... — Он замялся, не знал, как теперь сказать — к «господину» или к «товарищу». — К артисту С...стонкусу.

Мужчина ухмыльнулся.

— Для этого вам надо поехать в Германию.

— К...как в Германию? Их что, вывезли?

Мужчина опять ухмыльнулся.

— Может, и захватили с собой. А может, сам драпанул со своими хозяевами.

— К...какими хозяевами? Он же ар...артист. И жена его ар..артистка.

— А что, артисты не могут быть предателями? Короче, теперь эта квартира принадлежит мне.

За его спиной, на вешалке, Илья увидел шинель советского офицера. А новый хозяин уже взялся за ручку двери, чтобы закрыть ее.

— Меня удравшие в Германию не интересуют. И прощу больше сюда не приходить.

И закрыл дверь.

Илья так и остался стоять по ту сторону квартиры Стонкусов. Корил себя за то, что не объяснил офицеру, что Стонкус не сотрудничал с немцами. Наоборот, спас их дочку.

Но дверь была закрыта. А позвонить еще раз он не решился.

На обратном пути Илья едва не заблудился. Расстроенный, завернул на какую-то неизвестную, в развалинах, улочку. С нее повернул на другую, еще на одну, пока не увидел вдаль верхушку знакомого костела, за которым их дом.

До поздней ночи он, от волнения еще больше заикаясь, рассказывал Тадасу и Котрине, как просил у рабочего на фабрике и у знакомого скрипача, чтобы те взяли ребенка. Получив отказ, не обижался, понимал, что не имеет права просить. Но они с Лейей так жаждали спасти дочку. Рассказал, как, случайно попав к Стонкусам, решился... Может быть, они, знаменитые артисты, не вызывают у власти подозрения? И Стонкусы на самом деле согласились. Сперва он, а потом и она. Но почему они уехали вместе с отступающими немцами? Неужели боялись наказания русских за то, что он сыграл роль немецкого офицера? Нет, скорей всего, их вывезли. И вот ребенок недосыгаемо далеко. Даже подумать страшно о том, что он больше не увидит ее, что Анечка вырастет в чужой стране. Может, Стонкусы решили, что они с Лейей погибли, и не стали девочку травмировать правдой. Если Лейя в лагере чудом выжила и вернется, она, бедная, еще и этот удар судьбы не перенесет.

К счастью, Лейя выжила, вернулась. И прямо с товарной станции, куда дотасился их состав, поспешила к Стонкусам. Крепче повязала на голове платок, чтобы не соскользнул: не появляться же перед Анечкой бритоголовой лагерницей? Напугает ребенка. Да и перед Стонкусами неудобно.

Когда дверь открыл незнакомый человек, она растерялась. Пыталась объяснить, что, видно, ошиблась номером, что она к артисту Стонкусу. И на самом деле могла ошибиться, ведь до войны была у них всего один раз.

— Здесь такой больше не проживает.

— А вы не знаете где?

— Знаю. В Германии.

— Почему... в Германии?

— Потому что драпанули вместе со своими хозяевами. Я это уже сказал приходившему сюда мужчине.

У Лейи забилось сердце.

— Какому... мужчине?

— Вашей национальности. Я его просил и вас прошу больше меня не беспокоить. — И захлопнул перед нею дверь.

Лейя понимала, что должна торопиться домой, потому что, может, это приходил Илья, но стояла, уставившись на закрытую дверь. Анечки за нею нет. И Стонкусов нет. Спасли ее от немцев и увезли к ним же. Хоть и говорят, что теперь они другие, но ведь и те, прежние, остались.

Вдруг она привычно, как в лагере, оборвала себя: не думать о плохом! Не поддаваться страху. Правда, тогда был другой страх: что загонят в газовую камеру и оттуда, уже мертвую, сунут в печь крематория. А когда рыли противотанковые рвы, стоя по колено в ледяной воде, и становилось совсем невмоготу, тогда она молитвенно обращалась к Анечке: «Доченька, придай мне сил! Ради встречи с тобой и папой помоги мне!» И представляла себе, как Анечка при встрече обнимает ее.

Внезапно Лейя словно очнулась: а ведь это Илья приходил сюда! Значит, живой, вернулся!

Преодолевая привычную боль в ногах, она спустилась по лестнице. И побрела домой — в их прежний, довоенный дом.

Добрела.

Лестница ей показалась какой-то другой, хотя и знакомой. Но кнопка звонка с красной точечкой была той же. Раньше ей не надо было звонить, она открывала дверь своим ключом. Даже когда их выгоняли в гетто, она, заперев дверь, сунула ключ в карман.

Но на звонок никто дверь не открыл. Еще раз позвонила. Опять тишина. «Может, его нет дома? Или... — она вдруг испугалась мелькнувшей мысли, — к Стонкусам приходил вовсе не Илья. У артистов ведь много знакомых. Но тот, новый хозяин, все же сказал „вашей национальности“».

Лейя устало опустила на верхнюю ступеньку и стала ждать Илью. Даже задремала. Проснулась от стука входной двери. Сюда поднимались двое: женщина и мужчина. Но сил встать не было.

— Кого вы тут ждете? — строго просил мужчина.

— Своего мужа. Мы здесь живем.

— Может быть, когда-то жили. Но теперь живем мы. И вам тут делать нечего. Я уже предупредил об этом приходившего сюда мужчину.

— Моего мужа? Илью Шераса? — дрогнувшим голосом спросила Лейя.

— Не знаю. Я его документов не проверял. Хотя, наверное, следовало бы. А то теперь каждый... — он осекся, поскольку явно хотел сказать «еврей», — может претендовать на хорошую квартиру.

Лейя был готова бежать искать Илью. Даже встала. Но спохватилась: она не знает, куда бежать.

— А... где он?

— Это не мое дело. И прошу больше нас не беспокоить.

Лея смотрела, как он *своим* ключом открывает их дверь, пропускает жену, сам собирается войти. Но на пороге остановился.

— Спросите в пятой квартире. Я их видел вместе.

— С Тадасом?

Но он не ответил. Вошел, закрыл дверь. Щелкнул замок.

Лейя стала спускаться по лестнице. Понимала, что должна торопиться — ведь там, в пятой квартире, у Тадаса ее Илья! Но почему-то останавливалась на каждой ступеньке, оттягивала время: может, этот новый жилец их квартиры нарочно так сказал, чтобы избавиться от нее.

Перед дверью Тадаса прислушалась. Там было тихо. Может, Тадас на работе, а Котрины тоже нет.

Хоть и не сразу, решила позвонить.

— Кто там?

— Господин Тадас, это я, Лейя Шерене.

— Л...л...лейя?!

Нет, ей не послышалось, это голос Ильи. Она схватилась за ручку, чтобы не упасть, — ноги подкосились.

Дверь открылась. За спиной Тадаса стоял Илья, только трудно узнаваемый.

Он обнял ее, дрожащую, да и сам дрожал. Тадас с Котриной тихонько вышли. А они стояли обнявшись и сквозь слезы повторяли имена друг друга.

Внезапно Лейя заплакала:

— А наша доченька в Германии!

— З...знаю. Но н...не теряй надежды.

— Это я там, в лагере, не теряла, а здесь...

Услышав ее рыданье, Котрина вошла со стаканом воды.

— Попейте, нельзя оплакивать живую.

— Я не... ее... оплакиваю, себя.

Зубы Лейи стучали о край стакана.

— И себя нельзя. Вы оба живы, и слава Богу. А с ребенком еще встретитесь. В жизни всякие чудеса бывают. Разве не чудо, что назло Гитлеру вы оба уцелели?

— Ч...чудо.

— Ничего, Илюша, ничего. — Она только теперь осознала, что он заикается не от волнения. — Главное, что живой. А это пройдет.

Вернулся и Тадас.

— Жена права. Главное, что вы оба живы, что дочка хоть и далеко, но у надежных людей.

— А как жить без нее? — беспомощно вздохнула Лейя.

— Надеждой, что, Бог даст, свидитесь.

— Это я там, в лагере, держалась надеждой. А здесь, теперь... — повторила Лейя то, что сказала Илье.

— И без с...своего угла.

— Угол будет, — заверил Тадас. — Их уплотнят.

Лейя не поняла, что значит это слово, и только вздохнула.

— Директор нашей типографии — я там продолжаю работать — теперь из своих, был когда-то обыкновенным наборщиком. А как вступил в партию, так сделали директором. Я ему все объяснил. Обещал помочь. И слово сдержал. Прислал какую-то комиссию то ли райкома, то ли райисполкома — теперь таких советских учреждений хоть пруд пруди. Комиссия составила акт, что у этих новых жильцов на двоих три комнаты, и на одну выдали ордер. —

И чтобы Илье не надо было рассказывать и смущаться своего заикания, продолжил: — Но эти новые жильцы все равно считают себя хозяевами, хотя ключ от входной двери и швырнули на стол.

Котрина добавила:

— Предупредили, что кухней можете пользоваться только тогда, когда их нет дома. Из вашей же посуды выделили вам кастрюлю, одну тарелку и чашку с блюдцем, да еще сказали: «Хоть бы нашего человека вселили, а то от этих весь дом чесноком пропахнет».

— Илюша, как же ты там живешь?

— Как м...мышь.

Когда они наконец поднялись наверх и вошли в свою квартиру, дверь в бабушкину комнату была настежь открыта, — видно, для того чтобы не стучались в одну из их комнат.

В первое мгновение Лейю поразила пустота. Хотя бабушка умерла еще до войны, комната оставалась прежней. А теперь только у стены стоял непривычно голый диван и сиротливо прижавшаяся к нему тумбочка. А на обшарпанной стене висели бабушкины старинные часы. Стрелки показывали половину третьего. Какого года, какого месяца, дня?

Но жить, хотя осиротевшими и почти нищими, пришлось. Надо было работать, чтобы получить хлебные карточки. Лейя была готова, как в гетто, опять стать дворничихой. Но Илью это ее решение испугало. Она же учительница. Тогда, в гетто, она убирала их двор и улицу, чтобы иметь возможность то и дело забегать к Анечке. Он даже решил спросить, неужели она не хочет, как прежде, быть учительницей? Лейя с горечью ответила:

— Одного желанья мало. Какая из меня учительница, я за эти годы все забыла.

И все-таки, чтобы не огорчать Илью, она сходила в ближайшую школу. Но там был нужен учитель истории, а ее должен преподавать член партии или хотя бы кандидат в члены партии. В другой школе директрису явно смутил нищенский вид и платок Лейи, под которым угадывалась бритая голова, и она хоть и прямо не спросила, но, видно, заподозрила — не из тюрьмы ли вышла Лейя. В третьей школе явно не подошел ее акцент. Директор прямо спросил о национальности.

В конце концов, хотя она стеснялась в таком виде появляться в своей школе, где когда-то преподавала физику, все же пошла. Оказалось, что директор здесь прежний. Он искренне обрадовался, что Лейя выжила. Сожалел, что учитель физики у них уже есть. Смущаясь, спросил, не согласится ли она, хотя бы временно, поработать секретарем, место как раз освободилось.

Лейя, конечно, согласилась. Не тяготилась этой работой — все-таки школа, дети. Была довольна, что бывшие коллеги — а работали почти все прежние — ни о чем ее не спрашивали. То ли чтобы ее не расстраивать воспоминаниями, то ли чтобы самим не расстраиваться.

Тоску по Анечке она скрывала. Не столько от них, сколько от Ильи. Он никак не мог прийти в себя от того, что Анечка пусть у очень хороших, но все-таки чужих людей, да еще в опасной даже после окончания войны Германии. Ведь лагерные ограды и бараки остались. И надзиратели никуда не делись. А Илья еще и очень тосковал по скрипке. Понимал, что на прежнюю должность концертмейстера в оркестре его не возьмут — руки обморожены, пальцы огрубели, столько времени скрипку в руках не держал. Он и не претендует на прежнюю должность концертмейстера, согласен сесть за последний пульта вторых скрипок. Но и туда его, да еще без скрипки, не возьмут...

Он почему-то надеялся на то, что его скрипку отдали кому-нибудь в оркестре. Благо дежурные у служебного входа были прежние, они его пропускали, и он несколько дней подряд тайком, из-за кулис слушал репетиции оркестра.

Но не столько следил за его игрой и замечаниями дирижера, сколько глазами искал свою скрипку. Был уверен, что узнает ее даже издали.

Но ее не было... И он решил пока (хотя что будет после этого «пока», сам не знал) просто разрабатывать пальцы. Вернувшись в свою так и не обретенную жилую комнату, повторял услышанное на репетиции. Правая рука в воздухе водила невидимым смычком, а огрубевшие пальцы левой так же в воздухе скользили по воображаемому грифу.

Однажды Лейя, вернувшись с работы, принесла... скрипку. Илья подскочил, выхватил из ее рук футляр, обнял его, но, еще даже не открыв его, помрачнел.

— Не моя...

— Знаю, что не твоя. Наш школьный учитель пения, увидев в ведомости на зарплату мою фамилию, спросил, не родственник ли мне Илья Шерас.

— К...как его фамилия?

— Кайрис.

— А...альфонсас Кайрис?.

— Да, кажется, Альфонсас. Он очень обрадовался, что ты живой, спросил, что ты делаешь. Пришлось сказать, что ничего. Была бы скрипка, тебя, быть может, приняли бы обратно в театр.

— Н...не приняли бы. Я уж...же не тот...

— Кайрис сказал, что скрипка не проблема. У него осталась вторая, от покойного отца. Вчера я тебе ничего не говорила, чтобы зря не обнадеживать, вдруг он передумает, не принесет. Но, как видишь, принес. Даже попросил, чтобы ты на ней играл. Сам он тоже время от времени брал ее в руки, потому что, если на скрипке не играть, она мертвеет.

Это Илья и сам знал. Еще и поэтому его так волновала судьба собственной скрипки. Не лежит ли она у кого-нибудь из тех городских грабителей, которые обшарили их квартиру еще до вселения этих новых жильцов? Он даже осторожно спросил соседей, не видели ли ее, когда вселились? Но сосед ответил, что занимается более серьезными делами, нежели еврейское пиликание на скрипке.

Почему еврейское, Илья не спросил...

Он достал из футляра принесенную скрипку. Дрожащим в руке смычком и непослушными пальцами заиграл свой любимый Сентиментальный вальс Чайковского, которым убаюкивал Анечку, когда та перед сном плакала. Теперь плакали они — Лейя и он...

В театр его, конечно, не приняли, вежливо дав понять, что ему пока не осилить текущий репертуар. Он не обиделся, — сам понимал, что дело не только в репертуаре... Если бы мог дома больше заниматься, может, и обрел бы почти прежнюю форму и репертуар освоил бы. Но новые хозяева возражали против того, чтобы он, когда они дома, «пиликал свою еврейскую музыку». Хотя играл он Чайковского, Бизе, Скарлатти.

Ноты ему давал тот же самый Альфонсас Кайрис. Он же предложил играть вместе с ним. После уроков в школе Кайрис подрабатывает в кинотеатре, в квартете. Правда, состав не совсем традиционный — две скрипки, аккордеон (пианино нет) и контрабас. Второй скрипач как раз уволился. Играют они перед вечерними сеансами. Репертуар несложный: попури из советских песен и прочая популярная мелочь.

Илья, конечно, согласился. Но игра перед случайной публикой его все-таки тяготила. Люди постоянно входят, довольно шумно усаживаются. Да и сидящие не слушали, а больше разговаривали.

Но отказаться даже от такой работы не мог: у него, неработающего, карточка иждивенческая, по которой хлеба и круп давали меньше, чем по рабочей. Да и Лейиной более чем скромной зарплаты едва хватало, чтобы выкупить этот жалкий паек. Его мучило, что Котрина и Тадас то и дело приглашают к себе,

чтобы их накормить. Правда, всякий раз придумывали предлог: то племянник из деревни привез свеклы и Котрина сварила борщ, то в избытке картошки и Котрина напекла слишком много драников, а завтра они уже будут «не те».

И только однажды, в день рождения Анечки, уже шестой без нее, они сами напросились к этим единственным друзьям: в своей комнате у них даже стола не было. Лейя еще накануне, когда новые жильцы отсутствовали, напекла оладьев, а Илья сказал, что им что-нибудь сегодня сыграет. Правда, не сказал, что именно. Репетировал в комнатке администратора, пока в зале шли сеансы.

Котрина тоже выставила угощение — пирожки с ливером.

Лейя старалась не плакать. Временами даже улыбалась, вспоминая, как Анечка любила вечерние купанья, как в ванночке плескалась, забрызгивая их. Не капризничала. Плакала, только когда животик болел или долго не могла уснуть. Тогда Илья становился у ее кровати и играл. Неизменный «Сентиментальный вальс» Чайковского. И Анечка под эту мелодию засыпала. А в гетто только жалобно хныкала — плакать силенок не было. О том, как Илья ее вынес на дне ящика трубочиста, они промолчали. Но когда в конце ужина Илья достал скрипку и заиграл все тот же вальс, Лейя не сдержала слез. И у Ильи, несмотря на явное старание не выдать своего волнения, потекли слезы и дрожали руки, особенно правая, со смычком.

5

Прошло еще два года тоски по Анечке и воспоминаний о ней. Во вторую зиму они на вещевом рынке, где продавали старую одежду и обувь, купили себе по пальто. Уже дома Лейя углядела, что на ее пальто остались следы когда-то пришитых желтых звезд, — на всех шести углах обрывки ниток. Где продавец взял его? Нашел в оставленной еврейской квартире или... Но эту мысль она гнала от себя, иначе не могла бы его носить, — ведь расстреливали голыми, а вещи разрешали брать исполнителям.

Илье она эти остатки ниточек не показала. Но и не спорола...

Однажды в воскресенье в их дверь позвонили. Соседей дома не было, а к ним приходило было некому, — и они решили не открывать дверь. Но кто-то звонил очень нетерпеливо. И мужской голос позвал Илью. Тада?! Он же знает, что им звонить нельзя, чтобы не дать повода для очередного всплеска ненависти.

Илья открыл.

— Что случилось?

— Ничего. Видел, что эти подлецы ушли, и решил проведать. Тем более, что воскресенье, госпоже Лейе, — он ее и Илью называл по-старому, — в школу не надо, а вам в кино только под вечер. — Он помолчал. — Да и повод есть. — Но почему-то смущенно мял в руках шапку. — Правда, Котрина говорила, что пока не надо рассказывать. Это же все политика, ничего у них не получится. И верно, политика. Иначе с чего бы начальник цеха меня предупредил, что печатание этой газеты государственная тайна. Видно, на самом деле тайна, иначе не приставили бы к моему станку, единственному во всем цеху, охранника. Правда, он в гражданском и без оружия. Но что охранять? Газета как газета. Своя, литовская. Разве что на лучшей, почти довоенной бумаге напечатана и размером чуть меньше остальных. Все равно этот страж никому не позволяет останавливаться около меня, перемолвиться словечком. И сам выхватывает каждый напечатанный экземпляр. Я едва успеваю бросить взгляд, что там такое. А ничего секретного! То первая строчка песни «Литва дорогая, родина моя», то девушка в национальном костюме, то надпись под фотографией ребенка: «Папочка, вернись!»

Лейя с Ильей недоумевали: зачем он им это рассказывает? Но спросить не решались. А Тадас, опять помяв шапку, продолжил:

— Но, видно, не зря говорят, что нет такого секрета, который женщина удержала бы в себе. Наша кадровичка — правда, она Котрине приходится двоюродной сестрой — тоже не удержала. Правда, трижды предупредила, чтобы мы никому — ни слова. Но, как видите, не утерпел и я, пришел с этой новостью к вам. Может, она вас утешит. Только вы уж, пожалуйста, на самом деле больше никому.

— Конечно, конечно! Будьте спокойны! — воскликнула Лейя, как всегда торопясь опередить мужа, чтобы тот не мучился своим заиканием.

— Секретная эта газета потому, что печатают ее не для нас, местных, а для тех литовцев, которые за границей, в основном в Германии. Одни убежали, потому что руки в крови, другие потому, что боялись возвращения власти коммунистов и ссылки в Сибирь. А иных, может, как ваших знакомых, насильно вывезли. Такие люди сами вряд ли добровольно выехали, ведь они всего лишь артисты и у немцев не служили.

Илья вздрогнул, — вспомнил фотографию Стонкуса в роли немецкого офицера. Стонкус мог со страху...

А Тадас продолжал:

— Вот такими красивыми видами родного края, девушками в национальных костюмах, фотографиями оставшихся здесь детей и зовут вернуться. И еще там что-то написано. Только не прочесть. Я уже не первую такую газету печатаю. Но пока не знал для кого, молчал. Но оказывается, не только в таких газетах зовут вернуться домой. Эта же наша кадровичка откуда-то узнала, что при советских посольствах в Германии и вроде не только в ней есть представитель теперешней Литвы, который и агитирует земляков вернуться домой. Оказывается, властям очень важно, чтобы люди из того, капиталистического государства вернулись в свое, как они уверяют, рабоче-крестьянское, или, по научному, социалистическое.

Эти объяснения Лейя с Ильей слушали уже вполуха, — обрадовались вдруг блеснувшей надежде, тому, что, быть может, вернутся и Стонкусы с Анечкой.

Теперь оба жили только ожиданием вестей от Тадаса. Но они были очень скупые: напечатал еще одну газету, успел в ней разглядеть лишь пляж и пирс в Паланге. В другой — костел Св. Анны и чью-то семейную фотографию. И каждый раз они после таких скурых сведений гадали, могут ли такие способы вызвать у Стонкусов ностальгию. Уверяли друг друга, что ничего преступного в том, что он играл роль немецкого офицера, нет, тем более что в его игре, как он сам рассказал, был подтекст, выставивший этого офицера в негативном свете.

Лея старалась верить, но тоску эта вера не уменьшала...

А однажды Котрина, запыхавшись, прибежала к ней на работу, очень напугав ее.

— Что с Ильей?!

— Ничего. Наоборот, у меня добрая весть.

Все равно руки у Лейи продолжали дрожать.

— Из Германии вернулась большая группа наших. С ними, говорят, и какой-то молодой певец из Испании. Хотя не понимаю, откуда в Испании взялся литовский певец. Но бог с ним, главное, что люди возвращаются. Значит, газеты помогли!

— Это... точно?

— Точно. Все только об этом и говорят. Их встречали с автобусами. А из гостиницы — я забыла, как она теперь, при новой власти, называется, — куда

их повезли, еще на неделе всех выселили. Белье в номерах постелили только новое и шторы на окнах заменили новыми. Горничным велели свои цветы из дому принести, чтобы в номерах было уютно.

— Спасибо, Котрина! Большое спасибо! Побегу — Илью обрадую.

Сперва Илья ее сбивчивый рассказ не понял. Лейя повторила. Медленно, — самой было радостно рассказывать, — этим она и себя обнадеживала.

В зале умолкла музыка, значит, фильм закончился, зрителей выпускают, и в фойе стали впускать зрителей на следующий сеанс. Илья поднялся на это жалкое возвышение, именуемое сценой. Лейя осталась ждать, пока он сыграет и они пойдут домой.

6

Теперь уже весь город знал, что на родину вернулась очень большая группа литовцев, и их повезли в гостиницу. Лея с Ильей поспешили туда. Но дальше вестибюля их не пропустили. Мужчина в штатском, явно охранник, заявил, что приказано приехавших не беспокоить — люди с дороги устали. Когда Илья, от волнения еще больше заикаясь, пытался сказать, что там должна быть их дочь, охранник ухмыльнулся. Лейя попросила пригласить дежурного администратора, которому она объяснит. Но охранник заявил, что он и есть дежурный администратор, хотя за окошком с надписью «Администратор» сидела молодая женщина.

Охранник приказал им покинуть вестибюль. Пришлось подчиниться, но они не вышли на улицу, а остались в широком промежутке между внутренней и уличной дверьми, чтобы видеть лестницу. Может, Стонкусы, если они есть среди вернувшихся, спустятся по ней.

Наконец какие-то люди стали спускаться. Поодиночке и группками. Стонкусов среди них не было. А этот якобы администратор направлял всех направо, где на стене красовался указатель с надписью «Ресторан».

— Г...господин Стонкус! — Илья рванул дверь и вбежал в вестибюль. Охранник даже не успел преградить ему путь. А у Лейи ноги окаменели, она не могла сделать шаг, только смотрела на спускающуюся по лестнице Стонкувене с Анечкой на руках. Нет, это не Анечка. Тогда, во время войны, она была такой малышкой. Неужели эта идущая рядом длинноногая девочка их выросшая доченька? Стонкус сказал жене, чтобы они шли в ресторан, а сам, все еще изумленный, вышел вместе с Ильей.

— Я... — он не нашелся, что сказать, — мы очень рады, что вы выжили. Нам говорили, что в концлагерях... — И умолк, явно не зная, как продолжить.

— Мы, слава Богу, живы, — дрожащим от волнения голосом произнесла Лейя. — И спасибо вам большое за Анечку.

Стонкус кашлянул.

— Извините, но она теперь Онуте. Это было необходимо для ее же блага.

— Понимаем, — едва не задыхаясь от слез, выдавила из себя Лейя. — Мы все понимаем...

— А теперь, извините, меня ждут там, — и он кивнул в сторону ресторана.

— Да, да, конечно. Мы вас подождем. Только на улице, здесь, наверное, нельзя.

— Извините, но не имеет смысла. — И сам смутился своей суровости. — Дело в том, что мы с женой будем заняты. Всякие формальности.

— Понимаем. — Лея на самом деле все понимала. Даже если бы не формальности, Стонкусу с женой ведь тоже надо придти в себя после такой неожиданной встречи. И повторила: — Понимаем. Главное, что вы вернулись. Какое счастье! Не только для нас. Надеемся, и вам дома будет лучше.

— Мы тоже надеемся. А пока — извините.

Они смотрели, как Стонкус пересек вестибюль и повернул ко входу в ресторан. И почему-то не трогались с места. Молчали. Первой заговорила Лейя:

— Анечка так выросла. Жаль, что я ее личика не видела. Она шла, повернувшись к Стонкувене, что-то ей говорила. — И вздохнула. — А имя, видно, поменяли сразу.

Про себя подумала, что, наверное, и крестили.

— Н...но в...ведь спасли.

— Великое им за это спасибо. Но Анечка же наша дочка. Только захочет ли нас признать? В проклятой Германии наслушалась о евреях всяких гадостей.

— М...может, теперь Германия уж...же не та?

— Никуда эти изверги не делись. Разве что не в той военной форме, а в пиджаках. И не гонят на расстрел. А я хочу только одного — увидеть нашу доченьку. Она так выросла. Давай выйдем на улицу, постоим напротив. Может, окна их номера выходят на эту сторону, и Анечка подойдет к нему.

Они вышли. Перешли на другую сторону. Не спускали глаз с окон. Но никто в них не появлялся. На некоторых даже шторы были задернуты.

Входная дверь то и дело открывалась. Из гостиницы выходили незнакомые люди.

— Стонкус сказал, что будет занят какими-то формальностями, — вздохнула Лейя. — Не в гостинице же их улаживать. А пока, наверное, сидит в своем номере и советуется с женой, что делать. Ведь не думал, что мы вернемся.

— Я и с...сам не думал.

— Илья, тебе уже, наверное, на работу. Иди. А я еще постою, отпросилась на весь день.

Он кивнул и пошел. Но каждые несколько шагов оглядывался — может, Анечка появилась и жена позовет.

Простояла Лейя до самого вечера. В номерах уже зажигали свет, а свою дочь она так и не увидела. Не отрывая глаз от окон, пропустила время, когда все спускались на ужин.

Пришлось надежду увидеть Анечку сегодня же отложить до воскресенья, когда не надо идти на работу, а Илья свободен до первого вечернего сеанса. Может, тогда они увидят дочь...

В воскресенье они опять встали напротив гостиницы и смотрели на окна.

Неожиданно в дверях появился Стонкус. Он явно куда-то торопился, повернул было направо, но, увидев их, перешел улицу. Поздоровался и, узнав, зачем они тут стоят, объяснил, что окна их номера выходят во двор.

— Мы бы очень хотели, чтобы вы, когда вернетесь, подвели ее... — произнести настоящее имя дочери Лейя не решилась, а новое не могла, — к окну. Мы будем во дворе.

— Я вас понимаю. — Даже у Стонкуса дрогнул голос. — И готов пригласить вас к нам. Но от вас потребуется огромная выдержка, чтобы, по крайней мере пока, себя не выдать перед Онуте. — Лейю резануло это чужое имя, но она не позволила себе даже вздохнуть. — Онуте, конечно, правды не знает и очень привязана к нам. Да и мы ее любим. Порой даже забываем... — и умолк. — Она очень обрадовалась рождению сестренки. Сама выбрала ей имя — Бируте. — Стонкус умолк, не зная, что еще сказать.

— Мы вас от души поздравляем. Это такое счастье — рождение ребенка.

— Да, большое, очень большое.

— Но мы вас задерживаем, вы куда-то торопились, — спохватилась Лейя.

— Ничего срочного. Позже пойду. А теперь поднимусь наверх один, предупреджу жену. Онуте скажем, что вы наши давние знакомые. Ведь так оно и есть.

— Конечно. Спасибо. Большое спасибо.

— Повторяю, от вас потребуется большая выдержка. Но постарайтесь.

— Да, да, обещаем.

Илья в знак согласия тоже кивнул.

— Наш номер сорок седьмой. Поднимайтесь минут через десять.

Не сказать же ему, что у них часов нет.

По лестнице Лейя поднималась в сильном волнении, страхась увидеть незнакомую длинноногую девочку. А когда на несмелый стук Ильи Стонкус открыл дверь, она почему-то не решилась взглянуть на сидящую в кресле девочку и сперва подошла к Стонкувене, державшей на руках малышку.

— Онуте, познакомься с тетей и дядей. Это наши давние друзья.

Имен не назвал...

Девочка встала, подошла, на немецкий лад сделала книксен. Лейя силилась за эти дарованные минуты найти в этом лице сходство с малышкой Анечкой. Но не успела, — поздоровавшись, девочка вернулась на свое место.

Вдруг Илья увидел рядом с ней на стуле детскую скрипку. Попытался вспомнить, как такая называется. Кажется, «четвертушка».

— Т...ты играешь на скр...скрипке?

Анечка испугалась его заикания. Да и взрослым от ее испуга стало не по себе. Первой нашлась Стонкувене.

— Дядя Шерас скрипач. Он до войны был концертмейстером. — И умолкла, явно не решаясь продолжать. — Онуте, сыграй нам что-нибудь. — И пояснила: — Когда она играет свои гаммы, Бируте перестает плакать и засыпает.

У Лейи ком застрял в горле: ведь Анечка тоже переставала плакать и засыпала, когда Илья играл ей всегда один и тот же «Сентиментальный вальс» Чайковского.

Анечка, смущаясь, взяла свою скрипку, сделала книксен и заиграла. Но только как на уроке. Гаммы. Лейя крепко сжала руку Ильи, чтобы унять его, да и свою дрожь.

Малышка на самом деле перестала плакать. Стонкувене уложила ее в сооруженную из двух кресел постельку, и Лейя поняла, что им пора уходить. Поднялась.

— Не будем вам мешать.

Никто их не уговаривал побыть еще немного.

Стонкус встал, готовый их проводить. И уже открыв дверь, явно из вежливости, произнес:

— Наведывайтесь к нам.

— Когда? — обрадованно поспешила спросить Лейя.

Стонкус повернулся к жене, словно спрашивая ее согласия.

— В воскресенье вы же, наверное, не работаете? Вот и приходите.

— Спасибо! Большое спасибо.

На улице Лейя почувствовала страшное опустошение.

— Так и не заговорили о главном.

— Р...рано. На...наберись терпения.

— Сколько одному человеку нужно иметь этого терпения?

— П..пока Анечка н..нас не признает.

— А захочет ли признать? Ведь даже имя у нее теперь другое.

— О...они спасли ей ж...жизнь.

Ночью Лейя старалась дышать беззвучно и ровно, чтобы Илья думал, что она спит, хотя ей очень хотелось поговорить с ним. Придумывала, как надо завести со Стонкусами разговор об Анечке, попросить разрешения рассказать ей правду. Конечно, будут горячо и искренне благодарить, уверять, что по гроб жизни им обязаны. Скажут, что надежда увидеть дочь придавала им там, в лагере, силы. И что теперь ведь и у них самих, слава Богу, есть очаровательная малышка. Но Стонкувене, наверное, скажет, что Онуте — она ведь ее так называет — им теперь тоже своя. Может, потом когда-нибудь, когда Онуте подрастет, расскажет ей правду. Но тогда она же будет еще больше привязана к Стонкусам... Да и как им самим все это время делать вид, что они ей чужие?

Лейя не выдержала, вздохнула.

Илья — он тоже не спал — погладил ее руку.

— Спи. Н...нужны силы.

— Ой как нужны... — согласилась она и продолжала думать все о том же: как признаться Анечке, что они и есть ее родители. Не испугается ли она, что они евреи? Ведь там, в Германии, наверное, всякого наслушалась.

Стонкусы тоже не спали. Особенно она.

— Что будет? — спросила она. И он, хоть и был расстроен, постарался как можно спокойней ответить:

— Будем жить.

— Но как? Как жить без Онуте?

— Почему совсем без нее?

— Они же ее, наверное, заберут.

— Ребенок не вещь, которую дали во временное пользование и забирают обратно.

Стонкувене умолкла. Вроде задремала. Он тоже забылся.

— Не могу я отдать ее. Мы ее спасли, вырастили. Они должны это понять.

— А ты их понять не должна?

— Не могу я ее делить с ними.

— Зачем делить? Ее привязанность к нам и наша к ней никуда не денутся.

— А если она привяжется к ним?

— Значит, голос крови.

— Но она же крещеная.

— Они это, видно, поняли. Слышат же, как мы ее зовем.

Перед рассветом они, усталые, наконец уснули. Но вскоре их разбудил плач маленькой Бируте. Пришлось встать, накормить ее. Вскоре поднялась и Онуте. Все было, как каждое утро. И Стонкувене подумала: хорошо бы так всегда. Но понимала, что только до следующего воскресенья... И не выдержала, спросила:

— Онуте, ты нас с папой любишь?

— Очень! — И рассмеялась: — А кого еще мне любить?

Этот ответ Стонкувене больно кольнул, и больше она ничего спрашивать не стала.

В следующее воскресенье Илья пришел к Стонкусам со скрипкой и попросил разрешения сыграть им (а на самом деле Анечке) что-нибудь. Стонкусы даже обрадовались, — музыка заменит необходимость разговаривать.

Илья заиграл «Сентиментальный вальс». Лейя напряженно смотрела на Анечку: вспомнит ли, узнает ли? Но она только сосредоточенно слушала. Всего лишь слушала...

На обратном пути Лейя утешала Илью, да и себя, что Анечка не могла вспомнить эту мелодию, поскольку была крохой.

Однажды, когда Стонкувене была простужена, Лейя попросила у нее пойти с девочками погулять. Стонкувене неохотно, вопросительно глянув на мужа, согласилась. Но спросила, не будет ли ей тяжело, ведь малышку надо нести на руках, а коляской они еще не обзавелись. Лейя, заранее не намереваясь это делать, неожиданно для себя свернула в бывшее гетто. Три улочки уцелели только на одной стороне, но дом, в котором они жили, а также тот, в который когда-то перебрались, уцелели. Но Анечка этих домов не узнала. Да и не могла узнать. Бируте у нее на руках вскоре захныкала, и Лейя вернулась с девочками в гостиницу.

Даже Илье не сказала, что ходила в гетто, потому что не могла бы объяснить, почему ее потянуло с Анечкой туда.

В одно воскресенье Анечка вернулась со двора заплаканная. Лейя встревожилась:

— Деточка, что у тебя болит?

— Ничего...

— Наверное, — помрачнев, ответил за нее Стонкус, — дети во дворе опять назвали ее предательницей.

— Они кричали, — всхлипнув, пожаловалась дочка, — что мы враги, удрали с немцами. А ведь мы не удрали. Папочка, ведь немцы заставили тебя уехать. Грозили.

Стонкус еще больше помрачнел.

— Это пятно, видно, надолго. А быть может, на всю жизнь. Никого не интересует, что не по собственной воле уехали, что нас заставили. И еще напугали, что большевики мне не простят то, что при немцах остался служить в театре.

Воцарилась тишина.

Наконец Лейя заговорила:

— А в театре вас восстановили?

— Пока меня одного. И то не на прежнюю должность артиста высшей категории. Начальник отдела кадров даже ухмыльнулся: «Сами понимаете, не наш вы человек, хотя талантливый. И будь моя воля... Но я должен был выполнить указание, вас, вернувшихся, трудоустроить».

— А госпожу Стонкувене?

— Меня считают в отпуске за свой счет по уходу за ребенком. Все, что обещали, — это квартиру. И то всего двухкомнатную.

— В в...вашей жи...живет советский офицер.

— Знаю. Я там был. Но дальше передней новый хозяин меня не пустил.

Опять воцарилась тишина.

Лейя понимала, что им надо уйти. Но так не хотелось... Снова целую неделю считать, сколько дней осталось до воскресенья, когда они смогут увидеть Анечку.

А в следующий приход малышка Бируте болела, и Лейя предложила хозяйке, что они с Ильей погуляют со старшей (ее нового имени все-таки не могла произнести...). Стонкусы согласились. Даже поблагодарили.

Не стовариваясь, почти машинально, теперь уже оба свернули в бывшее гетто. Темнело. Во многих окнах горел свет, и дома казались другими. Ноги словно сами подвели их к дому, где тогда они ютились вместе с еще пятью семьями в небольшой квартирке. Вошли во двор, который Лейя тогда убирала. Постояли. Анечка спросила:

— Вы здесь живете?

— Нет. Раньше жили. — Но не стала уточнять, когда было это «раньше».

Подожли к дому, откуда Илья вынес ее в ящике трубочиста. И вышли из гетто через стоявшие там когда-то ворота, которые открывали только рано утром, чтобы выпустить бригады на работу, и поздно вечером — впустить обратно в гетто.

Когда они вернулись, Лейя заметила на лице Стонкувене напряжение. Неужели подумала, что они воспользуются ситуацией и расскажут девочке правду? Но Анечка подбежала к ней, поцеловала, и Стонкувене успокоилась.

Так и ходили они к дочке каждое воскресенье и однажды помогли Стонкусам переехать на выделенную им небольшую квартиру. Иногда Илья приносил с собой скрипку, играл по просьбе Анечки нравившийся ей «Сентиментальный вальс». Иногда сам просил ее сыграть что-нибудь из того, чему ее учат в музыкальной школе. Но о главном они так и не говорили. Илья вообще

молчал, — стеснялся своего заикания, а Лейе становилось все труднее называть свою выросшую дочь просто деточкой.

Но однажды, при виде дочери в постели, у нее вырвалось:

— Анечка, что с тобой? — И сразу же спохватилась: — Детка, ты больна?

— Ничего серьезного, — объяснил Стонкус (Хорошо, что его жены не было), — немного простыла. Завтра уже встанет. Онуте молодец. В детстве почти не болела и прививки хорошо переносила.

Лейя, испугавшись своей оговорки, не решилась даже вздохнуть о том, что все это было без нее — и зубки у дочери резались, и прививки ей делали.

— Только там, в Германии, — продолжал Стонкус, — в лагере для перемещенных лиц она заразилась от соседской девочки коклюшем. Но перенесла легко.

— Мамочка, мне уже лучше, и температура нормальная, — успокоила девочку Стонкувене, когда та вернулась.

«Значит, Анечка, слава Богу, не заметила той оговорки!» — пыталась себя успокоить Лейя.

Она ошиблась.

Когда они ушли, девочка спросила:

— Почему тетя Лейя назвала меня Анечкой?

Стонкувене с тревогой посмотрела на мужа. Но он сидел, опустив голову, и молчал. Пришлось самой ответить.

— Детка, тебе, наверное, показалось. — Она сама испугалась своего дрогнувшего голоса. — Или, может, так зовут их знакомую девочку.

— Нет, не показалось. Правда, папочка?

Он ответил не сразу.

— Тетя Лейя и дядя Илья наши друзья... — Он умолк, подыскивая слова. — Тебе надо с ними подружиться или хотя бы пожалеть их.

— А почему их надо жалеть?

— Потому что они очень много страдали.

Стонкувене чувствовала надвигающуюся опасность, но не знала, как ее избежать.

— Они болели? — спросила дочка.

— Нет. Страдают не только когда болеют.

— Не расстраивай ребенка, — пыталась остановить мужа Стонкувене. — Рано ей еще знать о страданиях.

— Мамочка, ты же сама говорила, что я уже большая.

И Стонкус решил:

— Это было давно, когда здесь хозяйничали немцы. Не обычные немцы, как наши соседи в Германии, а злые гитлеровцы, ненавидевшие других людей. — Он помолчал. — Особенно евреев.

— Кто такие евреи?

— Обыкновенные люди. Как тетя Лейя и дядя Илья.

Испугавшись продолжения, Стонкувене пересела к девочке и обняла ее. А Стонкус, все так же уставившись в пол, продолжал:

— Гитлер приказал их убивать.

— Умоляю тебя, не продолжай! — вскрикнула Стонкувене.

Но он, преодолевая себя, продолжил:

— Сперва всех загнали в гетто.

— Что это такое?

— Тюрьма. Только большая. Занимала несколько улочек, отгороженных высокой каменной стеной.

— И им там было плохо?

— Очень плохо.

— Прошу тебя, не травмируй ребенка!

Однако Стонкус, видно, решил наконец открыть девочке правду.

— Самое страшное, что оттуда время от времени людей угоняли за город и там расстреливали.

— Но тетю Лейю и дядю Илью ведь не... — последнего слова девочка не смогла произнести.

— Их вместе с еще многими отправили в концлагерь. Помнишь, нас в такой лагерь возили на экскурсию?

— Помню. Там такие страшные печи.

— Хватит мучить ребенка, — не выдержала Стонкувене.

— Онуте, ты наша дочь, и мы с мамой тебя очень любим. Но ты... — он все-таки запнулся, — тоже была в том гетто. Когда была совсем крохой.

— Без вас?

— Да.

— А почему?

Он ответил не сразу. Объяснять, кого именно загоняли в гетто, еще рано. Потом, когда подрастет... Пока пусть привыкнет к тому, что эти несчастные ей не тетя и дядя.

— И чтобы тебя спасти, твой... — он все-таки запнулся, — родной отец, которого ты зовешь дядей Ильей, тайком, рискуя твоей и своей жизнью, вынес тебя оттуда и принес к нам, и ты стала нашей дочерью.

— Зачем ты мне это рассказал? — крикнула девочка сквозь слезы.

— Чтобы ты знала правду. И чтобы родившим тебя людям не надо было играть роль чужих людей.

— Все равно, — слезы мешали ей говорить, — вы мои мама и папа! И я вас очень люблю. И Бируте люблю. Она моя сестренка. А они пусть остаются тетей и дядей.

— Видишь, что ты натворил! — сквозь слезы упрекнула Стонкуса жена.

— Она должна была узнать правду. Заставить родителей играть роль чужих людей бесчеловечно. Они и без этого пострадали.

В комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь всхлипами матери и дочери. Но вдруг послышался плач из детской. Это проснулась Бируте.

— Видно, мокрая, — воскликнула Стонкувене: казалось, она была рада выйти к плачущей малышке.

Онуте тоже поднялась. Села Стонкусу на колени и положила голову ему на плечо. Он легонько поглаживал ее.

— Пойми, нельзя было больше скрывать правду. И так слишком долго тянулось наше молчание.

— А разве могут быть две мамы и два отца?

— Так уж у тебя получилось. Шерасы дали тебе жизнь, спасая, принесли к нам с мамой, и ты стала нашей.

— Они что, отдали меня насовсем?

— Тогда об этом не думали. Главным было тебя спасти.

— От чего?

Он молчал, явно раздумывая, как ответить.

— Папочка, объясни, пожалуйста. От чего меня надо было спасать?

— От самого плохого, что творили немцы.

Онуте испугалась.

— От того, о чем нам рассказывали на этой экскурсии в концлагере?

— Да.

— Но ведь тетю Лейю и дядю Илью не... — она опять не решилась произнести это страшное слово.

— Не успели...

Девочка молчала. Только время от времени всхлипывала.

— Вы с мамой их жалеете?

— Мы им сочувствуем.

— Я тоже должна?

— Как сердечко подскажет.

— А в воскресенье они придут?

— Наверное.

— И ты им расскажешь, что... что... — Она не знала, как это назвать.

— Что ты знаешь правду? Наверное, скажу.

В воскресенье, еще задолго до прихода Лейи и Ильи, Онуте затеяла игру в «ручки-ножки и ладошки» с Бируте. Она тайно надеялась на то, что ее, занятую малышкой, может быть, не позовут.

Не позвали. Бируте так громко смеялась, что не слышно было, о чем там, в родительской комнате, говорят. И все-таки идти туда ей не хотелось.

Только вдруг Бируте, видно устав от игры, умолкла, занялась своей куклой, и из комнаты послышался плачущий голос тети Лейи:

— Может быть, для нее, да и для вас было бы лучше, если бы мы... если бы мы погибли.

Девочке стало страшно. Ей захотелось вбежать в комнату родителей, крикнуть: «Тетя Лейя, не надо так говорить!» Но она продолжала стоять, прислонившись к двери, и слушала. Отец предложил позвать ее. Но тетя Лейя все еще срывающимся от плача голосом попросила:

— Не надо... Пока не надо... Пусть привыкнет. А мы... мы будем терпеливо ждать.

И ей вдруг стало жалко этих дядю и тетю. Она повалилась поперек своей кровати и заплакала. Чья она? Сквозь плач она слышала, как гости ушли и как родители тихонько приоткрыли дверь в комнату и, забрав Бируте, так же тихонько закрыли ее.

Ужинали молча. Но когда мать принялась убирать посуду, дочь, обычно помогавшая ей, осталась сидеть.

— Тетя Лейя и дядя Илья не обиделись, что я не вышла?

— Нет. Поняли.

— А что я должна буду им сказать, когда они снова придут?

Отец молчал.

— Папочка, скажи! Я тебя очень прошу!

— Чувство подсказать нельзя. Оно должно само возникнуть. Или... — Он помолчал. — Оно не появится.

— Какое чувство? Пожалуйста, объясни! А если это чувство не появится?

— Мне их будет очень жаль. И, быть может, я буду чувствовать вину, собственно, я уже чувствую вину за то, что мы с мамой раньше не открыли тебе правду. Не хотели тебя травмировать, Тем более что... — он запнулся, — не были уверены, что они вернуться. Там очень многие погибли.

— Я буду стараться. Но... у всех детей только одна мама и один отец.

— Родившая тебя мама ни за что никому не отдала бы тебя, если бы тебе не грозила смертельная опасность. А мы с мамой тебя... — он подыскивал слово, — растили.

— Поэтому вы у меня главные. А тетя Лейя и дядя Илья пусть будут вторые.

— Мама Лейя и папа Илья, — поправил ее отец, хотя это ему далось нелегко.

— Но все равно вы главные, а они вторые.

Всю неделю, даже в школе, она думала о том, *что* в воскресенье должна будет чувствовать. Старалась представить себе все, что рассказал отец — как ее, совсем маленькой, такой, какой недавно была Бируте, дядя Илья тайком выносит из этого непонятного гетто. Тогда он, наверное, был не такой, как теперь. Молодой и не заикался. И тетя Лейя не была седой.

Но дальше горьких мыслей ее старания что-то почувствовать не шли.

В воскресенье все обошлось, тетя Лейя и дядя Илья были такими же, как всегда. Он привычно молчал, а она, как и в каждый свой приход, спрашивала о школе. Почему-то поинтересовалась, какую отметку учитель поставил по сольфеджио. Рассказала, что у нее на работе новый директор, и он обещал вернуть ее на прежнюю должность учителя физики. И что она впервые за много лет взяла в руки учебники, чтобы все восстановить в памяти. Неужели отец тете Лейе не рассказал, что теперь она знает правду?

Перед следующим их приходом Онуте уже не так волновалась. Отвечая на вопросы тети Лейи об отметках, никак ее не называла. Но по тому, как отец напряженно следил за нею, поняла — он им все рассказал.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Прошло еще много воскресных посещений. Однажды, выйдя от Стонкусов, Лейя сказала будто самой себе:

— Хорошая выросла дочка. Очень хорошая. Но нелегко ей признать нас своими родителями. Хотя старается. Видно, что старается.

— Слишком долгой была разлука, — произнес Илья, на удивление не заикаясь.

ОКСАНА ЛИХАЧЕВА

* * *

Нам, кочующим с дачи на дачу,
не зачахнуть в тоске, не пропасть —
как улиткам, что в домиках прячут
бытия уязвимую часть, —
мы в неспешном, далеком походе
к тем холмам, где бы видеть могли:
так в компании ангелов бродят
золотые улитки Дали,
где приватности груз сохраняя
от наветов людских и ворон,
бесконечность, в спираль завитая,
нас выводит на солнечный склон.

* * *

Не упускай своего из виду, не проворонь,
прочь слепоты соловьиной мякиш — следы, как сыч:
если увяз коготком в житейском, считай урон —
вроде и пост держал, а, смотри-ка, не смог постичь,
как ускользает то, что хотел, что мечтал спасти
там, в глубине, от чужих заслонял плечом.
Жаль, не взлетел над прочим, над суетой — прости;
значит, опять к началу — бродить грачом.

Оксана Олеговна Лихачева — поэт, переводчик, автор книг стихов «Ради мгновения» (СПб., 2000), «Сквозь листву» (СПб., 2004) и «Свободное плавание» (СПб., 2007). Живет в С.-Петербурге.

ИТАЛЬЯНСКОЕ

Отрадно улетать в стремительном вагоне
От северных безумств на родину Гольдони...

М. Кузмин

Как мучителен мне мимоход этот, мимоезд:
из окна высовываясь, протягивая ладони,
что схватить смогу из мелькающего окрест
в декорациях солнечных Гоцци тире Гольдони —
пасторальный дух, узлы виноградных лоз
на холмах, где время пригрелось, остановилось,
где поймешь внезапно: привязан и ты всерьез,
принимая теперь не только простор — и сырость,
тесноту толпы с путеводителями в руках,
новобрачных китайцев на площади Марко Поло —
даже их, но особенно — подержанное в веках,
то, что дарит тебе обломочек свой, осколок.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ПЕСЕНКА

Нечего делать в Четаре предпочитающим просо,
сою берущим под пиво, вытянув постные лица:
тем, кто не жалуется рыбу, выжить в Четаре непросто —
даже на небе полночном там чешуя серебрится.

Будем бродить у причала вечером темно-пунцовым
под бормотание лодок, сонных, стреноженных к ночи,
и причитать, что удачей нам не гордиться тунцовой —
так как прокатные сети, ясное дело, непрочны.

Да и рыбацкое счастье вряд ли потрафит неместным,
из сострадания к приедем делая знаки фортуны,
и чужаку-ротозею здесь априори известно:
тина ему достается с тайной надеждою втуне

и восхищенные взгляды вряд ли его потревожат,
щебет сбегавших к морю в юбках цветастых беспечно —
ну и не очень хотелось... Нам, если честно, дороже
ладожской корюшки блестки, запах ее огуречный.

* * *

Наивные ласточки, гнезда — одно за одним —
мы лепим старательно, сопротивляясь прогнозам,
что жизнь ненадежна, и веру упрямо храним
в семейный подряд, и поэтому даже занозам,
а также мозолям наш пыл не убавить. Потом,
когда-то устанем, возможно, и, двигаясь еле,
усядемся рядом и вспомним: Плотин ли, Платон
вот также на мир, что вокруг, с восхищением глядели
и нас убеждали, еще не уверенных в том,
что блеск у него не мучителен, а беспределен.

ОЛЕГ ЮРЬЕВ

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ Л. ДОБЫЧИНА КОРНЕЮ ИВАНОВИЧУ ЧУКОВСКОМУ

19 июня 1954 г.

Многоуважаемый Корней Иванович!

Не рискую назвать Вас дорогой, вдруг Вас оттолкнет, что некий Монте-Кристо из совхоза «Шушары» называет Вас дорогой, а просто Корней Иванович звучит Дерзко.

Не зная Вашего адреса в Москве, пошлю это письмо (когда допишу) заказным на Детгиз, *дедушке Корнею*, а отправителем укажу: пионер Семенов Витя (*зачеркнуто*. — О. Ю.)... Зверепов Макар (*зачеркнуто*. — О. Ю.)... Клопов Иван, совхоз «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда. Но Вы по этому адресу, пожалуйста, не отвечайте, а отвечайте, очень Вас прошу: Добычину Л. И., с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда, до востребования.

Вчера у нас в планово-экономическом отделе было маленькое торжество: меня провожали на пенсию. Подарили шашечницу из ценных древесных пород и бронзовую статую оленя с лампочкой между рогов, или, как говорит отставной мичман финансовой службы Балтийского флота Шелушенко, второй мужчина в нашем отделе: *промеж рог*. Впрочем, я остаюсь на полставки как экономист-статистик и еще на полставки как экономист планового отдела.

Теперь, Корней Иванович, я старик шестидесяти лет и на восемнадцать лет старше Вас, когда мы познакомились. Но у нас в отделе я считаюсь *интересным мужчиной*, интереснее, например, Шелушенки. — Какой Леонид Иванович симпомпощечка, такой кругленький, в пенсне! Похож на Министра МГБ Лаврентия Павловича Берию, — говорит техничка Вера Лескова. То есть говорила, пока у нас не провела в конце прошлого года политинформация, что маршал Берия мусаватистский шпион. У Веры Лесковой в войну убило мужа и двух

Олег Александрович Юрьев (род. в 1959 г.) — поэт, прозаик, драматург. Автор книг стихов: «Стихи о небесном наборе» (М., 1989), «Избранные стихи и хоры» (М., 2004), «Франкфуртский выстрел вечерний» (М., 2007), «Стихи и другие стихотворения» (М., 2011), книги пьес «Две короткие пьесы» (Л., 1990) и нескольких книг прозы. Произведения переводились на английский, немецкий, французский и др. языки. Лауреат премии Хильде Домин (Гейдельберг, 2010). Живет во Франкфурте-на-Майне.

любовников в звании капитана и майора медслужбы, и она очень скучает. Она ездила сандружинницей в поезде-госпитале, как описывается в премиробанной книге «Спутники». Читали ли Вы этот модный Роман? Я был отдаленно знаком с автором тов. Пановой и ее малюткой-дочерью в г. Пушкине в октябре сорок первого года, под немцем, но романа пока не читал, на него у нас Очередь. Я стою номером восьмым. Фаина Александровна Колобова, замзавбухгалтерией, говорит: *а шо, забирает!* Она с Одессы, маленькая, с широким курносом лицом. Ее мужа расстреляли румыны. В черных волосах у нее две сверкающие белые пряди, она их засовывает за уши. На работу приходит с маленькой курносой собачкой по имени Мери, которая помещается в ящик письменного стола и спит там весь день, ужасно вздыхая.

Корней Иванович, миленький, только не сердитесь на меня за этот вопрос: **ВЫ НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛИ О ШУРКЕ, МОЕМ СОСЕДЕ ПО КВАРТИРЕ?** Мне это **ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Может быть, с ним кто-нибудь из Ленинградских Писателей сталкивался, на войне или после? Или что-то, может быть, слышал? Слонимские? Коля (Чуковский)? Каверин? Не думаю, что Ахматова.

В марте-месяце прошлого года мы всем нашим ПЭО ездили на экскурсию в Ленинград (награда за 2-е место в социалистическом соревновании планово-экономических отделов и бухгалтерий Пушкинского р-на, и я внес вдовицын скромный лепт участием в шашечном турнире). На манер некоего *конспиратёра* я вышел через другой выход универсама «Дом ленинградской торговли» (сослуживицы, искушенные в ленинградской жизни, именуют его, не без фамильярности, Дээлтэ) и пошел посмотреть на дом № 62 по набережной р. Мойки. Торопился: ровно через три часа была назначена встреча у *польт*, если кто потеряется. Это не Зоценко, это Вера Лескова. Далее в программе значились: универсам «Гостиный двор», харчевня «Север» (б. кафэ «Норд»), Государственный Эрмитаж, крейсер «Аурора» и — последним номером театр музыкальной комедии: цыганский барон.

Дом не изменился, парадная по-прежнему заколочена (Вы теперь москвич, Корней Иванович, поэтому позвольте подольститься: *парадное по-прежнему заколочено*). Я вошел с заднего хода и поднялся на второй этаж мимо распахнутого, как всегда, окна: на звонках квартиры № 8 фамилии не было: Дроздов А. П. Не думаю, что меня кто-то узнал: на мне была шапка из кролика с ушами до плеч и *полушубочка солдатская нагбляня* (снова мадмуазель Лескова).

Но и не узнавать меня было некому: взрослые на работе, дети в школе, старухи в очереди, и даже татарина-дворника Аркадия Семеныча нигде не виделось. Раньше он, когда не колотил метлой по булыжникам и не разбрасывал лопатой проходы в снегу, сидел вполоборота на верхней ступеньке из трех, ведущих в его подвальную квартиру, — как бы окунув в нее ноги в валенках, — и наблюдал, кто к кому ходит, где гуляют, кому шкаф привезли. И всегда был угрюм, что мало дают чаевых. Веселел только, когда начинался скандал в какой-либо из квартир, с битьем посуды и морды. Но во дворе было так тихо, солнечно и снежно, как будто и скандалы куда-то ушли, а за ними Аркадий Семеныч. Может, умер? Дворники в блокаду, я слышал, так просто не умирали. Во Пскове под германцем была татарская рота, охранявшая комендатуру. У них у всех были такие же квадратные лица, и винтовки они держали, как метлы.

В оставшееся до *польт* время дошел по наб. р. Мойки до № 12. И там было пусто, лишь отряд суворовцев во главе с еврейской женщиной в балахоне цвета *электрик* (чернобурка — безвольные лапки болтаются под острой мордочкой) заворачивал в подворотню. Сапоги их хрустели на снегу, ножки шагали внутри сапог. Женщина громко читала в ногу души прекрасные порывы.

Очень Вас прошу, Корней Иванович: если Вы сами о Шурке ничего не слыхали, то, пожалуйста, спросите у ленинградцев, но только: очень осторожно! Не говорите, что для меня, пусть я считаюсь как бы в отсутствии и неизвестно. То есть Пламенных Приветов не передавайте, и ни даже Слонимским и Коле, но за новости о некоторых Выдающихся Деятелях Культуры я был бы Вам чрезвычайно обязан. О Шварце. О Горе. О Рахманове, если можно. Осознал ли свои ошибки Зощенко?

О Николае Макаровиче я читал до войны в газете «Вечерний Ленинград», что он японский шпион, а вот как поживают Александр Иванович и Даниил Иванович? У Александра Ивановича дела должны быть, слава богу, недурны — к нам в совхоз приезжала автолавка Ленкультторга и продавала книгу Александра Ивановича «А ты?» тысяча девятьсот сорок девятого года издания, выпущена в г. Рига Латгосиздатом в серии «Пионерская эстрада» (материалы для художественной самодеятельности).

А вот у Даниила Ивановича, я боюсь, дела совсем не так хороши, его книг давно не привозили.

Николай Макарович как-то говорил, что Александр Иванович, Даниил Иванович и я, помимо того, что мы дети собственных отцов-Иванов, еще и сыновья некоего общего Ивана, мертвого Ивана-богатыря, подпирающего русское небо, и по нему мы братья. *Близнецы*, добавлял Николай Макарович, внезапно дико хохоча и глядя то на красавца Александра Ивановича, то на симпатичного меня, а то на асимметричного Даниила Ивановича, дующего носом. Поэтому мы-де пишем не по-русски, а на мертвых языках, каждый на своем: Александр Иванович на древнеегипетском, Даниил Иванович на древнегреческом, а Леонид Иванович на классической латыни, говорил Николай Макарович. Я вспомнил об этих его словах в Германии: меня отдали дворником в гимназию города Нейштадт-на-Винной-дороге (Neustadt an der Weinstraße), и я внезапно научился говорить по-немецки. Ровно ничего не мог сказать, ни единого слова! Приходилось разговаривать с директором гимназии и учителями старших классов на двинской латыни, и каждый раз, говоря *аве, доктор Баумгартнерус*, я вспоминал Николая Макаровича.

Трудно себе представить человека умнее, талантливее и таинственней Николая Макаровича. Я бы, например, ничуть не удивился, если бы выяснилось, что именно он был автором Пресловутого романа «Тихий Дон», а не тов. Шолохов. Комиссия тов. Серафимовича, о выводах которой в тысяча девятьсот двадцать девятом году, когда я был ответственным за распространение печати в брянском Губстатбюро, писала центральная «Правда», мне кажется, ошиблась с выводами: тов. Шолохов никак не мог быть автором этой книги со всеми ее Достоинствами и Недостатками: слишком был юн и никак не донец. Николай же Макарович, напротив, знал дикость казачьей жизни изнутри и принимал участие во многих описываемых событиях. Но, по-видимому, разочаровался в сочинении красной «Войны и мира»: сколько ее ни сочиняй, в лучшем случае получится усовершенствованный Серафимович, в худшем — испорченный Зазубрин. Поэтому Николай Макарович и оставил рукопись «Тихого Дона» в общежитии для партхозработников г. Бахмút, где ее, наверно, и нашел юный рабкор? селькор? — юнкор тов. Шолохов.

С отцом Даниила Ивановича, Иваном Павловичем, я недавно встретился в книге «Остров Сахалин», в библиотеке на нее нет очереди. Не правда ли, странно иметь знакомых в книге А. П. Чехова? Но удивительнее всего, что в планово-экономическом отделе у нас двое (!) сотрудников имеют знакомых в книге А. П. Чехова «Остров Сахалин»: Фаина Александровна Колобова была в детстве знакома с Софьей Ивановной Блювштейн, она же Соломониак Шейдла-Сура Лейбова, бердичевская мещанка, или, как ее еще называют, *Сонька*

Золотая Ручка. У батюшки Фаины Александровны был зубо­врачебный кабинет на Молдаванке, куда Софья Ивановна приходила строить золотые зубы. Но — пропала Фаины Александровны батюшки работа, хорошая дореволюционная челюсть! — на Сахалине д-р Чехов А. П. задокументировал Соньку Золотую Ручку вообще без зубов, не говоря уже о золотых.

Вы, несомненно, спрашиваете себя, Корней Иванович, что со мною было после собрания двадцать пятого марта тысяча девятьсот тридцать шестого года и как я попал в совхоз «Шушары», а не в Невы державное течение. Я расскажу Вам, если Вы дальше не скажете. Меня не ищут, но я бы хотел сохранить *инкоgnито*, по выражению Фаины Александровны.

Двадцать восьмого на рассвете я вышел из дому, мимоходом увидев свой профиль в распахнутой оконной створке на лестнице — и это был, конечно, *профиль смерти*, замеченный и тов. Берковским. Подбил меня Добин, добил Берковский. Но я не хотел в не­вское сало с карманами, полными кирпичей (иначе не утонуть, когда умеешь плавать, а я ведь — Вы знаете! — известный Купальщик, в Брянске меня так все и называли: *Леонид Иваныч, который купается*). Заверенная копия трудового списка у меня была, и еще справка об окончании трех курсов экономического отделения Петербургского политехнического института им. Петра Великого, а паспорт с ленинградской пропиской и писательский билет я отдал Вольфу Эрлиху, чтобы меня не искали, — кто же отдаст паспорт с ленинградской пропиской и удостоверение члена Союза писателей, если хочет жить? Я ему сказал, что уеду в Брянск, к маман, и там покончу с собой, и действительно: даже выслал туда вещи, а главное — часы.

В Брянск! К маман! В комнату к четверым! В Губпрофсовет! В Губстатбюро! В Брянске и с жизнью покончить негде, так там тесно, хотя с жизнью покончить иногда существенно легче, чем с собой. У меня давно было всё продумано: надо будет исчезнуть, законтрактуюсь на Дальний Восток или Север — на плавбазу или в леспромхоз — экономистом-статистиком. Подаю заявление, что документы украли на вокзале. Главное, чтобы маман не узнала. Но денег на ж/д билеты не было: что был должен, бросил со списком кредиторов в почтовый ящик к Коле Чуковскому, остальное — Шурке. Поэтому пошел пешком.

Я шел по Московскому проспекту, один среди поливальных машин. Шел долго, вышел уже почти за город: петухи кричали. Вы не обращали внимания, Корней Иванович, что в Ленинградской области петухи кричат не по-русски? Уверен, что у Вас в Переделкине петухи акают. Чухонец на молоковозе со свежей надписью *СОВХОЗ ШУШАРЫ* обогнал меня, его мерин поднял хвост и шлепнул на дорогу зеленую круглую лужу с острой пупочкой посередине: — Эй, дедка, тебе куда, не то потвезу-у! — Мне в совхоз «Шушары», — говорю. — В плано­во-экономический отдел.

Почему, интересно, в игровой фильме «Золотой ключик» режиссера-постановщика Птушко контрреволюционную крысу зовут Шушара, почти шушера, когда Шушары именуются повсеместно и исключительно Шушары? Следовало бы спросить у гр. Толстого как автора сценария, но уже не спросишь, разве что потом. Может быть, Вы знаете, Корней Иванович, есть ли здесь Государственный Смысл? Вы же не разрешили бы просто так, без Государственного Смысла, называть Бармалёя Бармалием!

Смотрели ли Вы, кстати, эту удивительную фильму? В сороковом году, незадолго до окончания финской войны, ее привозила кинопередвижка. Острое наслаждение, начиная с самой первой фразы папы Карло: *Сломалась моя старая шарманка... Теперь я совсем один...*

Прекрасен капитан с усами и трубкой и в полярном костюме, спускающийся в псевдоитальянское лето, чтобы дать шелобана Карабасу-Барабасу. При снижении воздушного корабля жители разбегаются, пригибаясь и держась

за головные уборы (и ветер виден), как при снижении вертолета, которых тогда еще не было. (А сейчас есть, на Пулковских высотах у них база — летают над нами туда и сюда, никакая шляпа на голове не удержится. Совхозники на полях часами не работают, стоят, покачиваясь от вертолетного ветра, — одна рука прижимает кепку к голове, другая — ко рту папиросу.)

Композитор Лев Шварц не хуже гг. Прокофьева и Шостаковича вместе взятых. В маршах, понятно. Не родственник ли он Е. и А. Шварцам? Талантливая семья!

Мальвина — в панталонах из-под короткой юбочки. Лицом и манерами похожа на пожилую еврейскую поэтессу — например, Елизавету Полонскую.

Старьевщик (которому Буратино сбыл ненужную азбуку) — вылитый Шейлок.

Буратино сказочно глуп. Не соображает ровно ничего. Вообще все персонажи сказочно глупы. Единственный умный персонаж — столяр Джузеппе, да и то потому что всё время пьян, как фортепьян.

Удивительны все эти деревянные, тряпичные и фарфоровые существа, постоянно страдающие от голода.

В тысяча девятьсот сорок шестом году, после возвращения из Германии, я несколько времени пробыл в Экибастузе — как бы для полной замены заграничного воздуха в моих легких на дым отечества! — и там у нас объявился всесоюзный траур по графу Толстому. Включили сирену, и на минуту все встали *со шконок*, как и при всякой сирене. Когда сели, толстовец Энгельмахер, *чалившийся*, как у нас говорили, с двадцать девятого года, *тиснул рбман* про гр. Толстого, но не про нашего, свежепреставленного автора «Золотого ключика» и других выдающихся Произведений Социалистического Реализма и не про брянского помещика А. К., сочинителя повести «Упырь» и Козьмы Пруткова, а про зеркало русской революции, ему лично знакомое. Как известно, граф Толстой в старости научился шить сапоги. Он эти сапоги дарил знакомым, а также крестьянам имения Ясная Поляна. Крестьяне сапоги брали, помещику не откажешь, но носить не носили: сапоги им жали. — Не в том ли выражалась классовая сущность толстовства? — спрашивал троцкист Костромин-Кологривский толстовца Энгельмахера: — Вот как Лев Николаевич Толстой ни старался пошить сапоги на крестьянскую лапу, а всё выходили на дворянскую узкую ножку... — Не с тех мерку снимал! — мрачно отвечал Энгельмахер.

Без сомнения, Корней Иванович, Вам уже не терпится спросить меня: как Вы, Л. И., очутились под германцем и позже в Германии и не сделали ли при этом чего-либо, препятствующего моему ответу и даже самому чтению Вашего письма? Успокою Вас (*зачеркнуто*. — О. Ю.). Расскажу всё как было (*зачеркнуто*. — О. Ю.). Расскажу как смогу, а Вы решайте сами. Когда Киев бомбили и нам объявили, я был в Пушкине на полугодовых курсах при Молочном институте — совхозу «Шушары» превыше статистиков потребовались плановщики, и меня командировали превозмогать сию науку, более сходную с Искусством. Вскоре бомбили и Пушкин. Удивительно было безмолвие, почти равнодушие, с каким публика встретила известие о начале войны. Улицы опустели, всё замолчало и будто даже стемнело. Я читал тогда взятую в библиотеке Молочного института книгу «Генерал Измайлов и его дворня» — там описываются такие же тишина и безлюдие в Москве вслед за манифестом об отмене крепостного права: народ забился в свои углы и каморы, запер двери, задернул занавески, чтобы в тишине пережить изменение своей жизни. То же было и в Пушкине в июне сорок первого года: тишина и безлюдие, лишь милицейские машины туда-сюда в черных облаках. Не то, как мы с Вами хорошо помним, было при объявлении империалистической войны в тысяча девятьсот четырнадцатом году: ликующий Народ вышел на улицы с хоругвями и портретами Государя и превесело двинулся громить василеостровские Васисдасы.

Никогда еще в Петербурге сайки с изюмом не были так дешевы, как в июле девятьсот четырнадцатого года.

Девятнадцатого сентября первые немцы пришли в Пушкин. Возвратиться в Шушары нельзя уже было: теперь война проходила *перед* ними. Тем более и курсы продолжались — по той же самой программе: «Основы планирования сельского хозяйства и мелиорации», — и паек получался, хоть и в ежедневно уменьшаемом количестве. Бегающих за турнепсом на огороды между русскими и немецкими окопами вешали как подателей сигналов. Вообще, вешали часто. Евреев тысячу человек собрали в Александровском парке и расстреляли, четвертого или пятого октября. Потом пайки отменили, кроме как для дома престарелых и дома малютки, устроенных из гуманности. Впрочем, и там пайки были невелики — престарелые, рассказывала санитарка Уксусова в больнице им. Семашко, где я лежал с тифом, подали в германскую комендатуру письмо с просьбой о разрешении съедать своих умерших сочленов, чтобы зря не пропадали. Не разрешили, из гуманности. Стариков и старух спешно эвакуировали в тыл. Тылом, по сведениям санитарки Уксусовой, оказалась яма в Гатчине. Сделались заморозки. В общежитии Молочного института надо было топить мебелью и книгами из пустых комнат. Говорили, в подвалах особняка Алексея Толстого, где после его отъезда разместился Дом литератора, есть уголь, но этот дом я обходил, чтобы не столкнуться со знакомыми. Все знали, что в Ленинграде умирают и едят друг друга, но никто не понимал, почему в Пушкине умирают и едят — он же не блокирован, а как бы сам блокирует?

Хотел бы, кстати, спросить Вас, Корней Иванович, что Вы думаете об искренности тов. Померанцева в литературе. Не успел *чудесный грузин*, по выражению толстовца Энгельмахера, *откинуть салазки*, как «Новый мир» возжелал искренности. Декабрем того же года, а статью тов. Померанцеву наверняка заказали на полгода раньше, еще и башмаков не износив по производственному циклу. Я думаю: ТАК ВОЗВРАЩАЕТСЯ РАПП. В свое — в мое — время требовалось разоружиться перед партией и в течение двух недель доложить Авербаху или Ермилову. В Ленинграде — Чумандрину или Берковскому, который видал *профиль смерти*. Но самые большие Начальники сказали тогда: чей хлеб ешь, тому и отчет давай. И устроили Союз писателей и Сталинские премии трех степеней. Теперь же Чумандрин и Берковский снова хотят, чтобы *им* докладывались и чтобы никакой неискренности, а то трудно разобраться. Теперь, Корней Иванович, спрос с вас, с советских писателей, станет двойной: Партия и Правительство будут желать от вас искренности — как и всегда желали, в награду за свою любовь и заботу, но и Прогрессивная общественность, т. е. вы сами, будет ее от вас требовать. В результате разовьется такое двуличие, какого и при генералиссимусе не было. Еще точнее говоря, выведется особая порода Беллетристов, которые что ни напишут, всё будет совершенно искренне. Вроде Сейфуллиной. Впрочем, это так, игра ума. Экономистов-статистиков это всё не касается. (*Текст этого абзаца написан на отдельном листке из школьной тетради в косую линейку. Крест-накрест зачеркнуто. — О. Ю.*)

Я много раз записывался на эвакуацию в тыл, о котором рассказывали Легенды, что там есть дрова и еда, но всякий раз эвакуация отменялась. Только девушек куда-то увозили, но не всех, а лишь красавиц. Тем не менее, людей в Пушкине становилось всё меньше: они убывали естественно. Улицы стали пусты, если не считать голых мертвецов на обочинах, дубы и липы срубили на обшивку окопов, парки заминировали. Из культурных учреждений действовал дом терпимости для германских военных. Провинившихся барышень собственноручно порол комендатурский ефрейтор. Собирались открыть театр (кажется, не открыли). Кроме немцев были испанцы из Голубой дивизии — маленькие, черненькие, верткие, но возвышенные, как герои музкомедии. Самые страш-

ные люди, страшнее немцев, были эстонцы: резали ремни из живых и руками вынимали глаза. Лучше всего было быть финном, им немцы даже отдавали лошадей, списанных из артиллерии, — кушать и пахать. Хуже всего — евреем. Великороссом — как повезет.

В сорок втором году, в конце, вдруг начали вывозить, собирались весь Пушкин вывезти. Можно было поехать в Двинск (*двинуть в Двинск*, как бы сказал поэт Пастернак, падкий на случайные совпадения звуков), но очень не хотелось — какие дурацкие Рифмы! *Двинул* в Новгород. Новгорода уже почти не было. Поселили в Колмово (это пригород), в психиатрической больнице, освобожденной от безумцев — говорили, заведующая и ее сын, замначальника *русской управы* мосье Филистинский, собственноручно кололи им яд. Потом — Псков. Потом — Германия, Нейштадт-на-Винной-дороге, недалеко от (теперь уже снова) французской границы, дворником в городской гимназии. Потом Германские Начальники разобрались в моей высокой квалификации и перекинули меня в Рудные горы, на границу (и здесь теперь снова) с Чехословакией — бухгалтером на урановые разработки. Пришли американцы, жуя и с карманами, полными чулок для фройляйнов, за пару недель очулочили всех фройляйнов и ушли: поменялись с Красной Армией на несколько улиц Берлина: *махнули не глядя, как на фронте говорят*. До середины тысяча девятьсот сорок шестого года я так и служил на этой шахте, только уже в плановом отделе, потом поехал в Экибастуз. А оттуда в тысяча девятьсот пятьдесят третьем — в совхоз «Шушары». Вот и весь мой скромный анабазис, Корней Иванович. Ничего эксцентричного. А Вам как пришлось в эти годы? Что Коля, Лида? Как, позвольте узнать, поживает Мария Борисовна? Думаю, вы все испытали множество Приключений с хорошим концом — хотелось бы узнать о них.

Жду ответа, как соловейчик отпуска, по выражению Фаины Александровны (она урожденная Соловейчик; в отпуск ездит, положила Мери в коробочку, в Одессу, *прибраться на Сёминой могиле*).

Пожалуйста, Корней Иванович, не забудьте поспрашивать о Шурке, МНЕ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Ваш слуга Л. Добычин
с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. S. (Ноября 3-го, 1958 г.) Дорогой Корней Иванович, совсем уже собрался поехать со знакомым молоковозом в Пушкин и послать Вам это письмо заказным (чтобы не удивлять обратным адресом нашу зав. п/о мадам Прыжкину), но тут поэт Пастернак получил Нобелевскую премию. Всегда знал, что поэт Пастернак получит какую-нибудь Премию — или Нобелевскую, или Сталинскую 1-й степени. Но тов. Сталин *откинул салазки*, и поэту Пастернаку ничего другого не осталось, как получить Нобелевскую. Будьте любезны, Корней Иванович, передайте Б. Пастернаку, если Вы с ним знакомы, мое Гневное Негодование и Всенародное Возмущение: ну зачем же надо было оклеветывать общественный строй и народ, как вчера заявило ТАСС? Это вздорный каприз.

Ваш Добычин
с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. P. S. (Марта 31-го, 1962 г.) Новая — этим годом из техникума — библиотекарша Мила с пепельным шариком волос вокруг маленькой круглой головы спросила меня, угощая мармеладом, привезенным из Ленинграда: — Леонид Иванович! Как Вы думаете, что такое поэзия — развлечение или воспитание? — Я вспомнил, чему меня учили в Двинском реальном училище, и отвечал ей: — Мила, по моим сведениям, поэзия есть Бог в святых мечтах земли. — Ой, Леонид Иванович, а вы что, в Бога верите? — удивилась Мила

и даже отвела ото рта полмармеладки с блестящим темным откусом. — А хотите, я Вам выдам без очереди книги молодого поэта Евтушенко «Шоссе энтузиастов» и «Нежность»?

Дорогой К. И.! В честь Вашего восьмидесятилетия, о котором в приятном тоне известили «Известия Верховного Совета Народных Депутатов СССР» (у меня есть вырезка), позвольте обращаться к Вам отныне, как воронежский поэт-прасол Кольцов к Василию Андреевичу Жуковскому: *Ваше Превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт!*

Ваше Превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт! Сейчас всех реабилитируют. Меня реабилитировать было бы излишне — высылка моя в Экибастуз была мерой административной и судимости у меня нет, но не могли бы Вы, как Ленинский Лауреат, спросить у Начальников какие подобрае, что они знают о Шурке (Дроздов Александр Павлович, 1908 или 1909 (сам точно не знал) г. р., беспартийный, рабочий, русский, проживал до войны по адресу Ленинград, наб. Мойки, 62, кв. 8) — жив ли, погиб на войне или в блокаду умер? А может быть, РЕПРЕССИРОВАН — не за меня ли? Если Вы спросите об этом у добрых Начальников, то я буду Вам чрезвычайно признателен и тоже сделаю для Вас что-нибудь хорошее — хотите, подготовлю квартальный отчет?

Л. Д.

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. S. (Декабря 31-го, 1962 г.) Дорогой К. И., поздравляю с новым тысяча девятьсот шестьдесят третьим годом! И крошку-Колю, конечно, и малютку-Лиду, и неизвестных прочих Потомков.

Не знаю, как у вас в Москве, а нас в Шушарах уже получилась ноябрьская книжка «Нового мира» — вот какова у нас *научно-техническая революция*: московские журналы прибывают, как будто типография находится по соседству, за новым свиарником *на сто восемнадцать персон*, как выразился наш новый НачПЭО Дорогушин. Всё новое, за что ни схватись, но в новой книжке «Нового мира» Сочинение старого, по Экибастузу еще, знакомого: «Один день Ивана Денисовича» называется.

Понравилась ли Вам эта Драма, Корней Иванович? Напоминает Сейфуллину: много Правды Жизни. Если Вам такое нравится, то Вы очень переменялись за эти годы. Впрочем, покорный общему закону, и я, как нас учили в Двинском реальном училище, переменялся: может быть, надо Сейфуллину перечитать. Кстати, очень догадываюсь, Корней Иванович, о чем Вы меня давно уже хотели спросить, но, по свойственной Вам доброте, удерживались. *Удерживались бы*, если бы уже получили это письмо (но оно — увы! — еще не Готово). Теперь же, при сем удобном случае, конечно, не удержались бы и со всею присущей Вам строгостью спросили: — А Вы, Л. И., — Вы написали за эти годы что-нибудь, кроме статистических отчетов и годовых планов?

— Немного, Корней Иванович! — ответил бы я. — В 1943 году в Пскове для газеты «За Родину» очерк с Призывом ускорить Посевную Картошки, чтобы помочь Германской Армии освободить Русский народ от ига Жидо-Большевизма — под номдегером «Иван Ерыгин». Очень хотелось этой самой картошки. Получил аванс тридцать советских рублей и мешок сушеного гороху, но тридцать рублей пришлось вернуть: газетный начальник г-н Хроменко мое произведение Отверг за бездарностью и безыдейностью. Горох я отдавать отказался, демагогически аргументируя тем, что съеден в супе. Похожее было со мною в тысяча девятьсот тридцатом году в Брянске, когда я набрался нахальства и спровоцировал «Брянский рабочий» послать меня в колхозы (числом три) для освещения Сельско-Хозяйственной жизни. Съездилось хорошо, штучка сочинилась забавная, но аванс (интересным образом ровно те же тридцать советских

рублей, только без гороха) пришлось и тогда возвращать. Писать же не за деньги кажется мне Обидным. Пусть Л. Сейфуллина пишет бесплатно.

Не скрою от Вас, дорогой Корней Иванович, что по прочтении Ивана Денисовича затлелось и во мне пламя Соблазна: не написать ли в бракованный гроссбух Повествование, основанное на подлинном случае из экибастузской жизни: как два украинца, восточный и западный, съели на побеге китайца и русского. Захватывающий мог бы получиться Дивертисмент. Но что ж я с ним делал бы? Послал — кому, Вам? Чтобы Вы им соблазнили какой-нибудь Модный московский Орган? Несколько дней я приятно размышлял об этом плане, но потом понял, что Иван Денисович нужен только один, и Александр Исаевич тоже один, и больше их для преодоления культа личности Не Требуется — стоит ли навязываться?

В<аш> с<луга> Л. Д.
с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. S. (Января 9-го, 1964 г.) Позвольте препроводить при сем две вырезки из «Вечернего Ленинграда», по-простонародному *Вечёрки*. Не подумайте только, что я их вырезал из подшивки, пока библиотечка Мила бегала на Пушкинскую улицу приглядеть, как соседские близнецы Сережа и Эдуард, воссевши на крышки от мусорных баков, съезжают с обочины на проезжую часть. Ее попросили за ними поглядывать, пока близнецная мама, старший технолог-осеменитель Першина, ходит в народной дружине вокруг продовольственного магазина, ловит пьяниц, прогульщиков и хулиганов. Она кандидат в КПСС и отгул ей тоже нужен: *убраться, постираться, то-сё... дитям на неделю пельменей налепить*. Отгул — это, кажется, новое слово, К. И., — лихое какое-то, почти казачье!

Сказанное несомненно свидетельствует о материнской любви тов. Першиной, но волненья ее беспочвенны — по Пушкинской улице не ездят никакие авто. Иногда трактор «Кировец» проползет, но уж, конечно, не зимой. Зимой трактора спят в МТС, в солидоле.

Нет, К. И., и ту и другую газету я собственноручно купил за две копейки новыми в киоске «Союзпечать» у автобусной остановки. 29-м XI-м 1963 г. помечена Статья гг. Лернер, Медведева и Ионина «Окололитературный трутень», где некто И. Бродский, юный стихотворец, укоряется, что *любит-де родину чужую*, но не любит работать на строительстве Коммунизма. Вчера же, 8-го I-го с. г. за такое Поведение на вышесказанного стихотворца осыпались гроздь народного гнева. Как погляжу я с холодным вниманьем вокруг, Корней Иванович, всё в нашей родине чужой изменяется, вот и Шушар не узнать, везде растут агрохозяйственные комплексы, например новый свинарник на сто восемнадцать персон или комфортабельное хранилище для турнепса, датировано прошлым годом, — но, похоже, ничего не течет. Кроме крыши хранилища, конечно.

Трутень же сей представился мне внезапно неким Романтическим Пиитом на Первоначальном Свиданьи с Судьбой. «Голос Америки» и Бибиси делают ему Авансы, «Вечёрка» — козу. Может, и Вам он знаком? Тогда скажите ему, пожалуйста, если его всё-таки не посадят или когда выпустят: очень скоро он заметит — если еще не заметил — что жизнь его *шла, шла, шла*, как осень у Александра Ивановича, и вдруг *пришла* и свернула в какой-то карман, где всё происходит не так, как в настоящей жизни — в настоящей жизни ничего такого происходить не может. Совпадения, Предзнаменования, Повторы, Значительные События — всё это бывает в Романах и Фильмах, но никак не в настоящей жизни. У Милы, например, или у новой бухгалтерши Шурочки, или даже у Фаины Александровны Колобовой не бывает совпадений, повторов и предзнаменований, за исключением снов и народных примет, особенно у Веры Лесковой (поздравьте ее, она вышла замуж за ст. лейтенанта милиции Выпенчука и уехала с ним в Сыктывкар, с повышением). Если кого-то из родных или

знакомых посадят или расстреляют, то это само по себе — и связано не с собственной жизнью, а с Историческим Моментом. Так жил и я в Брянске, пока жизнь не свернула в карман: печатанье рассказов, книжки, переезд в Ленинград, комната, Шурка, собрание, Шушары и всё дальше. Это как сон, но это не сон, потому что проснуться нельзя. Жизнь может только вынырнуть из кармана и пойти, как до того шла: из Шушар в Шушары и на пенсию. Может ли она кончиться, я еще не знаю.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении этц.

Ваш Л. Добычин

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. S. (*тем же днем*). Простите за навязчивость, вспомнился в этой связи Многозначительный Эпизод, происшедший, когда меня везли из Берлина в Экибастуз. Поезд шел очень медленно (добрались месяца за два *с гаком*) — пропускали эшелоны с демобилизованными, махавшими из окон руками в наручных часах до локтя. Было бы уместно помахать им в ответ руками в наручниках, но, во-первых, наручников на нас не было, наручники надевают в изоляторах, да и то если *сильно выпендриться*, а во-вторых, и окон у нас не было, только щели, куда смотрели по очереди или покупая эту очередь за огрызок рафинада или папироску. Состав был не из *вагонзаков* (может быть, К. И., Вам лучше известно их другое имя — «столыпины»), а из обычных теплушек. Даже не перегороженных вдоль для безопасного прохода конвоя. Мы были не *осужденные*, а *административно-высланные*, нас не боялись. На нижних нарах спали сидя (лежа не умещались). Но одни нары были почти не заняты, в середине вагона, у самой печки-буржуйки. На верхней полке никого не было, а на нижней сидела, не двигаясь, какая-то женщина, хотя вагон был мужской. Лица ее было не разглядеть — всё в порезах и синяках и полузакрты сползшими со лба волосами. Рассказывали, она была любовницей начальника гестапо в каком-то западнорусском городе и выдавала ему евреев. Он даже взял ее с собой в Берлин, и после войны они держали в американском секторе нелегальный бордель. Кто-то узнал ее и известил *смерш*. Ее затолкали на улице в «виллис», перевезли через границу и отправили в Экибастуз.

Время от времени приходили свободные от дежурства конвойные и Входили к Ней, для чего укладывали ее на спину. Она ничего не говорила и не шевелилась — после Вхождения приходилось ее обратно усаживать и даже одевать и обувать. Конвоируемые к ней не Входили, не знаю почему, возможность такая была — например, ночью на остановках, когда конвой ходит снаружи, осматривая стенки и дно поезда. Но никто не попытался; может, брезговали — ею или конвойными? Я всё думал, а если бы кто-то всё же Вошел бы к ней и, войдя, вдруг увидел, что это его мать, или сестра, или дочь, как в каком-нибудь рассказе Мопассана и как, конечно, в Действительности никогда не бывает? Или какой-нибудь молоденький конвойный...

Стыдно признаться, но почти всю дорогу до Экибастуза я сочинял в уме Рассказ Мопассана — скучно же ехать, Корней Иванович, всё одно и то же: то едешь, то стоишь. Вообще, сидеть очень скучно, а ехать сидя — стократ.

Через месяц с лица женщины почти сошли синяки и порезы, и я ее узнал: актриса Брянского Гостеатра Голоскокова, инженерю. Матушка принимала у нее роды, на Пасху она всегда приходила с куличом и букетиком.

Я подошел к ней и спросил, не знает ли она, что с матушкой и сестрами. — Немцы сожгли в лесу, Леонид Иванович, — сказала она, глядя по-прежнему перед собой. Я сказал спасибо и отошел к себе.

Вот какой рассказ Мопассана получился, Корней Иванович. «Шумел сурово Брянский лес...»

Добычин

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. S. (Июня 19-го, 1964 г.) Автолавка привезла книгу «Гомер в русских переводах XVII—XIX веков», издательство «Наука», Москва—Ленинград, 1964, тираж 1500 экз., цена 1 р. 64 к., сочинение Егунова, из заядлых посетителей мосье Кузмина. Я его и его младшего брата-моряка неоднократно видал издали в 1942 году в Новгороде. Потом он тоже оказался в Германии, и тоже в Нейштадте, но в другом Нейштадте, на севере, под Любеком — Рифмы, Рифмы!

Новгород, кстати, — знали Вы это, Корней Иванович? — переводится на немецкий вовсе не Нейштадтом, а Нейгартеном. Об этом много писалось в газете «За Родину» — о старых ганзейских городах Плескау и Нейгартен и о их возвращении в объединенную Европу.

На латыни-то А. Н. Егунов-Николев объясняется, конечно, лучше меня, но и немецкого, по всей видимости, не забывал, поскольку везде служил переводчиком.

Я его встретил еще раз, в Берлине — осенью тысяча девятьсот сорок пятого года, когда ездил в полевое управление группы войск за новыми формами статучета: в вильгельминской гимназии, где размещалась финслужба, в одном из незанятых классов он преподавал немецкий язык артиллерийским офицерам. Я ожидал в рекреации, когда принесут формы, а у него была перемена: артиллеристы угощали его «Казбеком» и расспрашивали, как ему удалось избежать нейштадтского ада. Знаете ли Вы про нейштадтский ад, К. И.? В Любекской бухте, рассказывал Егунов, у Нейштадта Голштинского британские и американские аэропланы потопили в начале мая пароход «Полуостров Аркона» и еще один, поменьше, перевозившие заключенных концлагеря Нейенгамме, числом свыше семи тысяч. Другие заключенные, привезенные откуда-то из-под Данцига, на «Аркону» уже не попали. Охрана их разбежалась, и они пошли в Нейштадт искать пропитания. Обыватели нейштадтские, ходячие раненые из местного госпиталя и остатки полиции сбили их в кучу на ратушной площади и человек триста перестреляли. Меня мосье Егунов, по всей очевидности, не узнал (а я его сразу узнал, потому что он мужественный красавец, и отвернулся, будто смотрю в окошко на насквозь продырявленный закатом Берлин — в стекле отсвечивал желтоватый *профиль смерти*). Осталось не очень ясным, как ему удалось избежать нейштадтского ада — убежал, вероятно, когда стали расстреливать.

Гомер, впрочем, вышел вполне захватывающим Романом. У нас в Шушарах все привезенные экземпляры были тотчас раскуплены. Посылаю Вам в качестве сувенира Ярлык Контролера № 2, в каковом извещается, что *при обнаружении недостатков в книге просим вернуть книгу вместе с этим ярлыком для обмена*. Адрес 1-й типографии Академии наук СССР, если Вам интересно, Ленинград, В-34, 9-я линия, 12. Мне этот ярлык не нужен, крупных недостатков в книге я не обнаружил, за исключением разве что упорного употребления понятия *безрифменный александрийский стих*, противоречащего всем сведениям, полученным мной в Двинском реальном училище: если александрийский стих, то рифмованный, причем определенным способом. Нерифмованный александрийский стих есть *оксиморон*, как любили в свое время выражаться познавшие античность юноши, завсегдаи мосье Кузмина. Но сей недостаток искупается изъятиями из ранних переводов Гомера: *Начал говорить великий Аякс Теламонович: Ба! Теперь может и самый дурак познать, что Юпитер-отец троянцев прославляет. Или: О несчастливый Парид, краснолицен, бабин обманщик... или б холостой погиб!* Был бы я еще Беллетрист, писал бы лишь так.

Премило и предложение А. Н. Егунова поскандировать русские гекзаметры, чтобы убедить, что под них удобно вальсировать. Я попробовал у себя в комнате (у меня теперь своя, отдельная комната!), стукнулась Шуручка, соседка, спросить кипятильник — светлые косые глаза ее округлились, когда увидели, как я кружусь под гнев, о богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. — Л. И., с вами всё в порядке? —

Со мной всё в порядке, Шурочка. — Тогда прекращайте кружиться и идемте пить чай, я привезла из Ленинграда свежих баранок.

Баранки были превосходны.

Л. Д.

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. С. (Октября 23-го, 1965 г.) Какая-то сделалась мода на длинные названия, как у драматурга Островского, Вы не находите, Корней Иванович? Например: «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана» в «Литературной газете», сочинение А. И. Солженицына, знакомого по Экибастузу. Мой знакомый всегда норовил поучить всех и каждого, что им и как делать. Рудокопов — руду копать. Лесорубов лес рубить, нормировщика нормировать, фельдшера лечить рак, и даже вохровцев он учил правильно держать собак у ноги. А теперь обучает академика Виноградова языкознанию. Был уже некто, обучавший академика Виноградова языкознанию. Правда, там дело осложнялось, или блеснем лучше Модным словом: *усугублялось* тем фактом, что академик Виноградов, если верить «вражеским голосам», сáм написал *этому некту* наставление в языкознании (получается, в том числе и для себя самого). Теперь Вы меня ненавидите, Корней Иванович, потому что я оскорбил Вашего Кумира!

Л. Д.

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. С. (Ноября 8-го, 1965 г.) Только сегодня услышал по Ленинградскому радио, что четыре дня назад умер Коля Чуковский. ...Коля, птичка...

Знаю, всё знаю про Колю — и что он и как он, бедный малютка, писал, и как сделался маленький Начальник во писателях и как всего боялся от больших Начальников и ничего уже не хотел, но Коля, птичка... Помните, Вы читали Фета в тысяча девятьсот двадцать шестом году — Вы под одеялом, Коля — в валенках? Из слов я запомнил только: *Как воспоминанье*, но помню, что было очень хорошо... (*Зачеркнуто другими чернилами — сначала продольно каждая строчка, потом поперечно в несколько рядов. — О. Ю.*)

Многоуважаемый Корней Иванович!

Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашего сына Николая Корнеевича Чуковского.

Ваш слуга Л. Добычин

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. С. (Октября 29, 1969 г.) Дорогой Корней Иванович, а теперь газета «Правда» сообщает, что и Вы умерли. Это позволяет мне обращаться к Вам более по-товарищески — иногда мне кажется, что и я умер.

Л. Добычин

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. С. (Декабря 14, 1971 г.) Милый К. И., не можете ли Вы сказать Вене Каверину, чтобы он не печатал моих рассказов в своих произведениях. В библиотеке нашего Дворца культуры получена сентябрьская книжка журнала «Звезда», где на стр. 180, под титлом Каверинского сочинения «В старом доме» опубликован мой Отец. Разрешения на публикацию следовало спрашивать у меня, в случае же моего ненахождения, у моего наследника, Дроздова А. П., а для того его РАЗЫСКАТЬ. (*Продолжение текста на другой листке, школьная тетрадь в косую линейку, фиолетовые чернила. — О. Ю.*)

Корней Иванович, Вам не известен случайно такой писатель — Сергей Вольф? Он по Вашему ведомству: *писатель для малолетних преступников* или *герцог дет Гиз*, как он про себя пошутил. Выступал у нас в библиотеке по путевке обкома ВЛКСМ. Привели два класса *малолетних преступников*, к ним он отнесся весело-равнодушно. Они его за это полюбили и пошли бы за ним куда угодно. Но ему было неуютно их вести куда-либо (что, несомненно, с его стороны было чрезвычайно любезно, старший технолог-осеменитель тов. Першина не поняла бы, если бы кто-нибудь куда-нибудь увел ее близнецов Серезу и Эдуарда).

Прочитал много коротких рассказов и из книжек с длинными названиями — «Отойди от моей лошади» и «Кто там ходит так тихо в траве» — было бы похоже на «Встречи с Лиз», если бы Вы меня тогда приучили к детскому делу. Но кошка Клячке не понравилась, а Лешка оказался недетский, и герцога из меня не вышло. А жаль. Мог бы всю жизнь стричь купоны с детгизовских акций. (*Последнее предложение жирно зачеркнуто теми же чернилами.* — О. Ю.)

А вот к библиотекарше Миле детский писатель Вольф отнесся, напротив, сердечно-внимательно. Лицо ее заулыбалось. — Товарищ писатель, вы не пишете автограф для нашей библиотеки? — Она причесала пальцами волосы над покрасневшими щеками и побежала в общежитие, просить бухгалтершу Шурочку переночевать у Леонида Ивановича на раскладушке. Шурочка придет со своим стаканом в подстаканнике с крейсером «Аурора» и кульком печенья «Овсяное» и станет рассказывать про родню в Вологодской области. Радиоприемник придется на ночь выключить.

Малолетние преступники разбежались, гикая. С бывшим мичманом Шелушенко, тоже давно на пенсии и тоже библиотечный актив, мы перешли в «Настольные игры». Там на клетчатом столе всегда расставлены красные и белые шашки, библиотекарша Мила преисправно за этим следит. А на подоконнике матово-розовый, в белую полоску графин с двумя такими же стаканами. — Леонид Иванович, — сказал Шелушенко, расстегивая портфель. — Мне анекдот рассказали: Наша сила в наших плавках. Понимаете, в *плавках*?

Детский писатель Вольф, равнодушно-внимательно поглядывая по сторонам, пошел следом за Милой, красавец в маленькой шляпе. Кажется, длинные названия, состоящие из законченных предложений, по-прежнему в моде.

Плавками сейчас называют тесные купальные трусы, из которых выпирает *хозяйство*. Знали ли Вы это, Корней Иванович?

Сегодня узнал, что Любимая книга мичмана Шелушенки — Колино «Балтийское небо». *Мужчинский же роман*, говорит, ну *мореманский же!* Передайте Коле это приятное сообщение, только не забудьте, пожалуйста — пусть и ему будет радость.

Л. Д.

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. С. (Декабря 14, 1974 г.) В моем радиоприемнике «Sakta» производства Рижского радиозавода американский профессор Б. Филиппов читал сегодня я рожден в девяносто четвертом, сочинение поэта Мандельштама. Приходится думать, что сие, довольно-таки подхалимское, но весьма прочувствованное Сочинение, написано и обо мне — и я рожден в девяносто четвертом, хотя всяческих подвигов, описанных в этой Поэме, отнюдь не проделывал. И солдатом не был — 15 января 1915 года Двинское военное присутствие предоставило мне отсрочку до окончания образования в Петербургском политехническом институте. «Стихи о неизвестном статистике» было бы точнее.

Колготки — это тесные женские штаны под юбку, переходящие снизу в чулки; покойная Фаина Александровна называла их: *колготы* и знала раньше, *на Привозе ж толкали, а шо?* Со слов Отто, который говорит по-русски старательно, но стеснительно и всегда рад перемолвиться на родном, коммерческие наклонности приводят поляков к столкновениям с цыганками, проклинаящими их до четвертого поколения. Но поляки не боятся проклятий до четвертого поколения.

Немцы исправно толкут навоз, потом безостановочно пьют водку непосредственно из бутылок — обхватив горлышко губами: мелкими глотками в слегка запрокинутую голову: как пиво.

Советские — только пьют (стаканами). Свинарниками они брезгуют и стараются обходить их стороной. Народ наш весьма брезглив, Корней Иванович: германцы проиграли войну, когда выяснилось, что они могут пукнуть за едой или пописать в присутствии женщин.

Но гвоздики из парника пахнут не лучше свинарников. Девицы, там работающие, все пергидрольные блондинки под перманентом, рассказывал Отто, и везде пахнут химией, какой опрыскиваются цветы. Поэтому он бы предпочел кого-нибудь поумственной трудящегося — библиотекарьшу или, может быть, счетоводшу, — но брезгливые советские студенты девицами-цветочницами почему-то не брезгуют, даже под угрозой проклятий до четвертого поколения со стороны совхозной молодежи, приходящей вечерами к общежитию вызывать конкурентов на бой. Боя не устраивается, поскольку, зевая, выходит общежитский сторож Рифат и тихо свистит в милицейский свисток.

Я давно уже никуда не ходил, кроме библиотеки и магазина, но из левого окна моей комнаты вижу поля совхоза «Шушары» и отчасти соседнего совхоза «Ленсоветовский»: они покрыты бурой извилисто-морщинистой слякотью с белеющими в ней лысыми камнями. Эта земля родит камни: каждое лето из Ленинграда присылают школьников сносить их на обочины, и каждую весну камней не меньше, чем было.

Если долго смотреть в окно, то картина такова: свинарники и коровники — кирпичные и бетонные острова в сине-зеленоватом навозе, багровение химических гвоздик сквозь полиэтилен, пирамидальные горы камней на обочинах, темнеющие поля, от горизонта до горизонта в извилисто-морщинистой слякоти — вроде полей ада, залитых, как нам с Вами известно (*«нам с Вами» густо зачеркнуто. — О. Ю.*), полужидкими человеческими мозгами, продолжающими думать свои нелегкие мысли, отчего с полей поднимается пар, быстро и невысоко рассеивающийся.

Потом делается темнота, в небе над ней страшно ревет и мигают красным и зеленым вертолеты с Пулковских высот.

Спешу Вас обрадовать еще раз, Корней Иванович: по завершении очистки и ремонтных работ *свинокомплексы* будут оснащены *системой навозоудаления на самославе*. Это уже записано в проекте плана на тысяча девятьсот восьмидесятый год, который мне приносили на консультацию. Тогда наступит рай.

Ваш слуга Л. Добычин

с/х «Шушары» Пушкинского р-на г. Ленинграда

Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. Р. S. (*Июля 22-го, 1980 г.*) Не поверите, Корней Иванович, на день рождения в прошлом месяце совхоз подарил мне черно-белый телевизор «Гемп-7», списанный из библиотеки, — чтобы я не скучал на старости лет. Поэтому мы с главбухом Шурочкой и ее младенцем Робертом, оставшимся от гэдээровского стройотряда, смотрели на открытие Олимпиады.

У нас в Брянске тоже была одна купчиха (позднее нэпманша, еще позднее гардеробщица в Гостеатре) по имени Олимпиада Антоновна Кувшинникова.

жился. Не знаю, Важна ли сия История, но, может быть, кому-нибудь она что-нибудь скажет. Не знаю только кому.

Все уже умерли — и Фаина Александровна с собачкой Мери, и мичман Шелушенко, и библиотечарша Мила, и даже Шурочка-соседка (сын ее Роберт уехал в Германию), и хозяин АО «Тосненское удобрение» Дорогушин, и Мандельштам, и Вы, и Коля, и Шварц, и Гор, и даже Веня Каверин, от которого я этого совсем не ожидал, и только я всё живу и столько поучительного вижу, что если всё описать, *то весь мир не мог бы вместить этих книг.*

Вчера, например, приехала делегация японских городских, делиться опытом с нашим новым участко-

(Здесь, на переносе, рукопись обрывается, что говорит о возможности если не окончания ее, то продолжения. — О. Ю.)

Эту рукопись, точнее стопку разномастных страниц (в основном вырванных из ученических тетрадей и бухгалтерских книг и исписанных выцветшими фиолетовыми, синими и черными чернилами, а также обычных листов одиннадцатого формата, заполненных шариковой ручкой или простым карандашом), в папке с тряпичными завязками и бледно-голубым изображением адмиралтейского кораблика передал мне в прошлом году инженер автозавода «Опель» Отто В., работавший в 2007—2009 годах на сооружении сборочных цехов «Дженерал Моторз» в промзоне «Шушары-2». Когда начали заколачивать сваи, старые совхозные дома стали качаться и подпрыгивать, а в бывшем общежитии, куда поселили Отто В. (что интересно, в этом же общежитии, только в другой комнате, он жил в середине 1970-х годов, когда приезжал с интернациональным стройотрядом из ГДР ремонтировать шушарские свинарники), отвалился подоконник. В углублении за подоконником лежала папка с корабликом. Отто В. взял ее на память, по возвращении в Рюссельсхайм засунул куда-то, а через пару лет, при переезде в новый дом, случайно нашел в чердачном хламе. Кириллица давно уже почти высыпалась из его головы, поэтому он смог узнать только несколько имен, но имена показались ему важными — Толстой, Шолохов, Солженицын, Пастернак, Бродский, Сталин... Тут ему стало совестно. Поэтому он выглядел в сводной программе культурных мероприятий Рейнско-Майнского региона ближайшее (в обоих смыслах) мероприятие, связанное с Россией. Ближайшим в обоих смыслах оказалось мое выступление в Дармштадте. По его окончании Отто В. передал мне эту папку с просьбой оценить ее важность для русской культуры и распорядиться соответственно.

Довольно быстро выяснилось, что речь идет о неизвестном письме Л. И. Добычина К. И. Чуковскому, по всей видимости, неотосланном. Прежде считалось, что Добычин ушел из дому и, скорее всего, покончил с собой после собрания в Ленинградском отделении Союза писателей 25 марта 1936 года, посвященного борьбе с формализмом. На этом собрании он, автор трех крошечных книг, лишь за два года до того при помощи влиятельных друзей-писателей перебравшийся из Брянска в Ленинград, неожиданно для себя (и для большинства присутствовавших) сделался главным героем. Судя по всему, он был «принесен в жертву», удар по нему означал отведение главного удара от других, более знаменитых, более влиятельных, более укорененных в ленинградской литературной жизни «формалистов». Особенно поразили Добычина слова литературоведа Берковского о том, что профиль добычинской прозы — «это, конечно, профиль смерти». Добычин пробормотал со сцены несколько слов о своем несогласии с критикой, вернулся домой, на Мойку, 62, оставил паспорт с ленинградской пропиской, удостоверение члена Союза писателей и ключи, то есть всё, чем был обязан ленинградским покровителям, и ушел.

Теперь мы знаем, что недалеко.

Олег Юрьев
Франкфурт-на-Майне,
18 апреля 2012 г.

Р. С. Приятным долгом благодарности за неоценимую помощь советом, справкой и мнением я обязан друзьям и коллегам М. Н. Айзенбергу, В. А. Бейлису, А. Ф. Белоусову, И. В. Булатовскому, Д. М. Заксу, И. Е. Лошилову, О. Б. Мартыновой, И. А. Петрову и В. И. Шубинскому.

О. Ю.

ПАВЕЛ ШАРОВ

* * *

Достоевскому

Есть ли Бог или нет, ну какой же я штабс-капитан?! Я Кастальский не пробовал шнапс. Я Ничто, из которого Нечто выползает на свет, погружая во тьму мир, а я в нем живу, и на Нечто мне — тьфу! Есть ли Бог?.. Вот об этом и речь-то.

Есть ли Бог или нет? Да какой в этом толк, если жизнь мне дана под проценты и в долг?! Я рожден на Ивана Купалу. И для матери я — тот волшебный цветок, обманувший надежды: *За что меня Бог покарал?!* Мне бы штабс-капитану

глянуть прямо в глаза... Бога нет. Но Он есть. «Ну какой же я штабс-капитан?!» — это весть. Не вопрос, а ответ — Весть Благая. Только люди (и сам я — типичный пример) на горбах своих тащат одних лишь химер, спотыкаются, изнемогая.

Не посланье (ведь я не апостол) — стихи я пишу. Искупить не надеюсь грехи. Но надеюсь, хоть что-то исправил я в себе. Из криницы-кириллицы речь пью — никак не напьюсь. Мне бы душу сберечь. Бога нет? Ну какой же я Павел?!

Павел Петрович Шаров (род. в 1972 г.) — поэт, стихи публиковались в журналах «Волга», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «EDITA» (Германия), «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Урал-Транзит» и других изданиях. Автор трех книг стихов. Живет в Саратове.

* * *

А мы с тобою заняты друг другом —
и мир глядит с волнением и с испугом.
Какое дело до влюбленных нас
ему в вечерний предзакатный час
меж волком и собакой? На колени
он просится — в углах роятся тени, —
мир жметя к нам, боясь навек пропасть.
Не мы часть мира. Этот мир лишь часть
нас — и по праву первородства
мы в мире, как в ребенке, ищем сходства
с собою, ибо нами этот мир
рожден, и тем так дорог он и мил.
Но мы умрем — и мир родим загробный.
До нас с тобой лишь Хаос первородный
существовал, но появились мы —
и тьмы миров: Свет отделен от Тьмы.

* * *

Тебя тревожит тень былого —
давно утраченное слово,
как переход из мрака в свет.
Ты должен вновь велосипед
изобрести — пусть даже в ямбе
четырехстопном, лишь бы к лампе
стремился гений-мотылек, —
он так отчаянно далек,
ему не хватит жизни краткой,
чтобы к тебе — кто ты такой? —
слететь и, вспыхнув над тетрадкой,
лечь огнекрылою строкой.

* * *

Жизнь на горбу своем несу,
удерживая на весу
сознание между сном и явью,
старею, счет веду годам.
Но упаду в себя — представлю,
как мы — космический Адам
и Ева — с общей сердцевиной
сольемся навсегда, единой
Душою станем, что объяла
собой Вселенную, — конца
не будет ей, как нет начала, —
и в этом промысел Творца.

АЛЕКСАНДР БОГАТЫРЕВ

ЗА РЕКОЙ НАРОВОЙ

ПЮХТИЦЫ

— Ты, когда батюшка будет благословлять, голову не наклоняй.

— Почему? Все ведь кланяются.

— А ты не кланяйся. Не надо кланяться.

— Почему?

— А потому, что ты наклонилась, а благодать сверху и пролетела. Все головы наклоняют, а ты стой прямо. А когда батюшка благословит, закончит крестное знамение изображать, вот тогда и кланяйся.

— Но благодать ведь — не пулеметная очередь. Попал — не попал... Как это — сверху прошла?

— А ты не умничай. Сейчас все грамотные, а простых вещей не понимают. Это бес всех подучил. Сама подумай: когда кланяешься в то время, пока священник тебя крестит, ты же крест ломаешь. Вот так. Стой прямо. И не умничай. Поумней тебя люди знают про бесовские хитрости.

За моей спиной послышалось громкое шуршание, затем глухой стук: что-то упало на пол.

Я обернулся вполоборота и увидел сначала спину в синей куртке, а затем голову в тонком голубом платочке.

— Ух, — тихо выдохнула голова и снова исчезла, нырнув под мое кресло. Я опустил глаза и увидел на полу большое желтое яблоко.

— Вы не яблоко ищите?

— Яблоко, — тихо ответил робкий голосок.

Голова, ответившая мне, все еще пребывала внизу. Я наклонился и поднял яблоко. Но чтобы отдать его, пришлось встать и сделать шаг в проход. Кресла в сидячем вагоне были плотно придвинуты одно к другому, и развернуться, не вставая с места, было сложно.

Голова в косынке... скорее головка симпатичной девушки медленно повернулась в мою сторону. На меня смущенно смотрели большие голубые глаза. Через мгновение девушка опустила их. Ресницы у нее были длинные. И пальцы, которыми она взяла яблоко, были тонкие и длинные.

Александр Владимирович Богатырев (род. в 1948 г.) — переводчик, драматург, режиссер. В «Звезде» публикуется впервые. Живет в С.-Петербурге.

— Спаси Христос, — сказала она едва слышно. Эта редкая формула благодарения подсказала мне, с кем я имею дело.

— Вы старообрядцы? — спросил я негромко и посмотрел на соседку юной барышни. Это была пожилая женщина с довольно грубыми чертами и беспокойным взглядом. Она смотрела на меня с тревогой и даже страхом. До перестройки и изменения отношения к Церкви было еще добрых две пятилетки. Так что ее можно было понять. Ведь за хождение в храм была гарантирована суровая немилость у властей предержавших. Да и вопрос мой был довольно дерзким. К «никонианам» старообрядцы относятся известно как. Мое вопрошание смутило бы любого представителя древляго православия.

Бабуля молчала. Барышня сидела в напряженной позе, по-прежнему не поднимая глаз. Народу в вагоне было немного, и пассажиры, сидевшие через проход от нас, явно услышали мой вопрос и заинтересованно поглядывали в нашу сторону. Нужно было разрядить обстановку.

Я извинился за бестактность и решил пошутить:

— Один раз из-за яблока уже произошла история, которую до сих пор расхлебываем. — Я улыбнулся, но напрасно. Бабуля стала смотреть на меня с еще большим беспокойством. — Я имею в виду историю грехопадения наших прапродителей, — стал объяснять я и тут же понял, что делаю это напрасно.

Теперь бабуля смотрела на меня сурово и с неприязнью.

— Вы, наверное, живете в Латгалии или на эстонском берегу Чудского озера. — Я уже не мог остановиться и продолжал, не зная, как закончить мой безответный монолог. — Я бывал в ваших краях. Вот где старообрядцы сохранили подлинную Россию. Там даже иконы продолжают писать в каноне.

При слове «иконы» бабуля как-то крикнула и покосилась в сторону соседей.

— С чего вы взяли, что мы из Эстонии? Мы ленинградцы. А в Эстонию едем отдыхать. Купаться в озере... Здесь молочные продукты очень хорошие, и все здесь очень хорошо, — чересчур сладко проговорила бабуля и даже слегка кивнула в сторону соседей, говоривших друг с другом по-эстонски.

— Простите. Я просто услышал, как ваша... — я замялся, — внучка или попутчица сказала: «Спаси Христос!» А так теперь благодарят только старообрядцы.

— Ишь, умник, — проворчала бабуля. — Скажи спасибо, что поблагодарила.

Она двинула соседку локтем в бок. Довольно сильно. Та даже вскрикнула. Но глаз не подняла и осталась сидеть в прежнем положении.

— Другие теперь и спасибо ни за что не скажут, — продолжала ворчать бабуля.

Я еще раз извинился. Моя жена, сидевшая впереди меня, оглянулась и «сделала страшные глаза». Я наклонился к ней.

— Что ты пристал к людям... Сейчас наша остановка.

Я попросился с неразговорчивыми соседками, еще раз извинился, перекинул сумку через плечо, взял на руки сына и двинулся к выходу.

Наверное, они никакие не старообрядцы. Ведь бабуля говорила о том, как не надо кланяться при священническом благословении. В Латгалии и Причудьи живут «беспоповцы». Священников у них давно нет.

— Йыхви, пассажиры, выходим. Йыхви. Стоянка две минуты. — Навстречу мне шла по проходу высокая полная проводница. Пришлось вжаться в спинку кресла. Мы с трудом разминулись. — Йыхви, Йыхви, — громко объявляла она, продолжая следовать в конец вагона.

Йыхви... Удивительно устроена голова и то, что в ней происходит. Я смотрю на табличку, состряпанную моей приятельницей. На сером фоне большими темно-красными буквами написано: «Эх, ты!»

Это адресное обращение к ее мужу. С некоторых пор он перестал выходить из дому. Целыми днями сидит у телевизора, курит и пьет чай с часовым интервалом между чаепитиями. Его невозможно упросить прогуляться с собакой или спуститься в булочную, находящуюся в их же доме, рядом с соседним подъездом. Что-то стряслось с моим другом. Он не может переступить порога своей квартиры. Недавно смог. Его отвезли в больницу. Табличка с надписью «Эх, ты!» криво вставлена между томами Диккенса и Лескова на книжной полке в прихожей...

А мой духовник нередко произносил «Эх, вы!», глядя с укоризной на кого-нибудь в толпе исповедников. И многие думали, что батюшка вздыхал о них лично, и спешили вспомнить утаенные во время исповеди грехи. «Эх, вы!»...

«Эх, ты!» не очень похоже на Йыхви, но я вспомнил Йыхви и все, что связано с этой топографемой.

Йыхви. Странно звучит для русского уха это эстонское название. Но многим питерцам (бывшим ленинградцам) оно хорошо знакомо. С Балтийского вокзала на таллинском поезде ехали до этой станции православные граждане. От Йыхви до Куремяэ на автобусе. А в Куремяэ... Это нужно было видеть. Русские люди выпрыгивали из автобуса и начинали кланяться и истово креститься на Святые каменные ворота с деревянной звонницей, увенчанной крестом. А за звонницей видны кресты пятиглавого собора, возвышающегося над высокой каменной оградой.

Пюхтицкий монастырь не похож ни на какой другой православный монастырь. Все в нем построено в русском стиле, но с какой-то европейской прививкой. Какая-то мало объяснимая, но несомненная особенность была во всем: и в самой архитектуре, и в организации пространства, и в высоких подклетах из больших валунов, на которых стояли монастырские постройки. Даже цветочные клумбы (а они были повсюду) были необычными.

В конце семидесятых годов в коренной России было лишь два действующих монастыря: в Троице-Сергиевой лавре и в Псковских Печорах. В остальных монастырях были в лучшем случае музеи, а в большинстве — тюрьмы да психиатрические лечебницы. В Эстонии Пюхтицкий монастырь сохранился чудом. В тридцатые годы его миновала участь русских монастырей, поскольку Эстония была независимым государством и там церковью не ломали. А в хрущевские гонения на Церковь тогдашнему архиепископу Таллинскому и Эстонскому Алексию (будущему Патриарху) удалось сделать невозможное. Он оповестил мировую церковную и политическую общественность о планах коммунистов закрыть монастырь. Началась бурная протестная кампания, и Пюхтицкий монастырь отстояли.

Мы задержались на остановке. Справа возвышались двухэтажное деревянное здание и деревянная кладбищенская церковь, окруженная ухоженными могилами с одинаковыми крестами. Слева — за деревьями просматривалась поляна, обрамленная темной кромкой леса. Перед нами широкая грунтовая дорога, коротким извивом, вбегала в раскрытые монастырские ворота. А за воротами... Это еще предстояло разглядеть, но храм и море цветов были хорошо видны.

Наши соседки по вагону ехали дальше. У них была особая цель: добратся к отцу Василию в Васк-Нарву. Прощались они с нами, как с любимыми родственниками. Трудно было узнать в улыбавшейся пожилой женщине ту самую хмурую бабулю, которую я тщетно пытался разговорить в вагоне.

Она вышла с внучкой на той же станции Йыхви. Сначала они старались приотстать от нас, пока мы шли от железнодорожной станции к автобусной. Но как только бабуля разглядела нашего болящего сына, поняла, что совместное путешествие продолжится, и мгновенно переменялась.

— Так вы, наверное, к отцу Василию? — Она широко улыбнулась, засвидетельствовав большую нелюбовь к стоматологическому искусству. Сверху у нее сиротливо торчали, как у зайца, два желтых зуба. Снизу зубов было поболе.

— Сначала в монастырь. В Пюхтицы. А потом — к отцу Василию. — Я тоже улыбнулся.

— Вам к нему, а не в монастырь нужно, — решительно заявила она, кивнув на нашего сына. — Хотя окунуться в источнике неплохо. Окунитесь — и сразу к отцу Василию в Вак-Нарву. Это недалеко. Полчаса езды.

Уже сидя в автобусе, она рассказала нам о чудотворце-батюшке, к которому на отчитку приезжают бесноваты со всей страны. Они с внучкой едут к нему в третий раз. Она наклонилась ко мне и заговорщицки прошептала:

— У Оленьки моей испуг.

Признаться, я не понял, что она имела в виду. Но бабуля поспешила разъяснить. Она прочла мне лекцию о хворях, не поддающихся современному врачеванию, потому что дело не в болезни как таковой, а в бесах. Рассуждая о коварстве врага рода человеческого, она рассказала мне историю своей внучки. Заодно представилась: «Я — Марфа Марковна. Нынче таких имен не дают. Так что не спутаешь». Имя, действительно, достойно персонажа какой-нибудь комедии Островского. Но я стал пространно рассуждать об именах и о том, как красивы и благозвучны ее имя и отчество. У меня в классе было шесть Саш, восемь Вов, четыре Наташи и ни одной Марфы.

Марфа Марковна осталась довольна моими рассуждениями. А история ее внучки Оленьки такова.

Отец бросил ее с матерью — дочерью Марковны, — когда Оленьке не было и двух лет. Мать горевала недолго, а завела себе дружка. Тот оказался адептом какого-то восточного учения. Пожила она с ним год-другой и, по слову Марковны, «совсем улетела в глубокую лужу». С матерью вообще перестала разговаривать, сидела часами со стеклянными глазами, поджав под себя ноги, читала какую-то «Агнюгу» (очевидно, Агни-Йогу), а потом вообще исчезла вместе с внучкой. Лет десять не подавала о себе никаких вестей. Обращалась Марковна и в милицию, и к экстрасенсам. Наконец, узнала, что дочь с любовником живет на Алтае. Там несколько питерцев облюбовали себе тихие места и жили «в согласии с природой». С властями как-то ладили. Особых нареканий на них не было, но за ними поглядывали. Попытки увлечь местное население светом их откровения успеха не имели. Самых прытких хотели за тунеядство посадить, так они, оказывается, работали. Дочь в библиотеке устроилась, а хахаль ее — в колхозной конюшне. А он до лошадей сам не свой. В Ленинграде деньги платил большие, чтоб на конях покататься, а там и лошади бесплатные, да еще ему и платили. На письма дочь не отвечала, а два года назад Марковна узнала, что она умерла. Письмо пришло от незнакомой женщины. Она сообщила, что дочка Ларисина живет у нее и хочет вернуться к бабушке. Если Марковна захочет, то может ее забрать к себе. В тот же день Марковна полетела в Барнаул, а потом до Бийска и дальше в горы по знаменитому Чуйскому тракту. Нашла она нужный адрес. Село оказалось старообрядческим. Народ крепкий. Но доброта у них какая-то особая. Женщину эту, приютившую ее внучку, бабу Гликерию, даже на год от молитвенного собрания отлучили за то, что никонианское дитя в дом взяла. Да еще от матери-язычницы! Целый год земляки не общались

с бабой Гликерией. А потом вдруг словно опомнились, стали всем миром ей помогать. Оленьку полюбили. Она кроткая. Двумя перстами стала молиться. А читает псалмы — чистый ангел. Стала она им на их службах читать.

(Вот так объяснилось, почему она мне в поезде сказала: «Спаси Христос!»)

А претерпеть Оленьке пришлось немало. Сожитель ее матери стал к ней приставать. Убежала она от него среди ночи в одной рубашке по снегу. Забежала в избу к бабе Гликерии. Дай ей Бог здоровья! А того аспида так и не поймали. Исчез. А вот у Оленьки испуг начался: по ночам кричит, в обморок падает часто.

Слушая Марковну, я украдкой поглядывал на Олю. Ее время от времени передергивало — сильная судорога пробегала по телу. Она вытягивала вверх подбородок и шумно втягивала в себя воздух, словно кто-то сжимал ей челюсти.

— Вся надежда на отца Василия, — продолжала Марковна. — После его отчиток Оле лучше. На несколько месяцев. Но в городе такого нахватаешься... Батюшка говорит, что ей надо при нем жить с годик. А потом в монастырь, чтоб защита была на всю жизнь.

Признаться, до Марковны я подобных историй не слыхал. Она обвиняла человека, погубившего ее дочь, даже не в том, что он виновен в смерти Ларисы и посягал на ее малолетнюю внучку, а в том, что он «напустил бесов» в Оленьку. В те годы я знал многих любителей восточных учений. Даже в Извару — в имение Николая Рериха — как-то заехал. Сам я этим делом не увлекся, но и не осуждал рериховцев. Мне и в голову не приходило, что их можно заподозрить в контактах с бесами. Скажи мне тогда об этом — я бы, пожалуй, посмеялся над «суеверием православных, присвоивших себе монополию судить о неизвестных им духовных практиках». К религии я относился тогда скорее как к культурному феномену. Ну и политическому. За веру в Бога можно было пострадать. Организаторов религиозных объединений и распространителей христианской литературы сажали в лагерь. В 1980 году выслали из России Татьяну Горичеву, Татьяну Мамонову и Юлию Вознесенскую. Их отправили в ссылку за создание женского христианского движения и проведение на частных квартирах православных семинаров. Сам я на них не бывал. В церковь заходил редко: лишь по большим праздникам. Мои друзья вели беседы, далекие от религиозных тем. Рассказывали анекдоты про «Софью Власьевну» (так мы называли советскую власть), ходили по мастерским художников-авангардистов да обсуждали труды Солженицына, Варлама Шаламова и прочих авторов, записанных этой «Софьей Власьевной» во враги.

Так что монолог Марковны был мне в диковинку, и прослушал его я с большим интересом. Уже из отходившего автобуса Марковна крикнула, чтобы мы не задерживались в монастыре, а поскорее приезжали в Васк-Нарву к отцу Василию.

Так и получилось. Из монастыря мы уехали на пятый день. Но четыре дня, проведенные в Пюхтицах, — одно из самых ярких впечатлений моей жизни.

Распрощавшись с попутчицами, мы прошли через Святые ворота и оказались безо всякого преувеличения в ином мире. Мире поразившей нас красоты и гармонии. Великолепный храм, море цветов, монахини в длинных, до самой земли одеяниях. Молодые монахини передвигались с какой-то легкостью, будто не касаясь земли. Они не смотрели по сторонам и не разглядывали тех, кто шел им навстречу, а приветствовали встречных низким поклоном. Так же, не поднимая головы, отвечали на приветствия.

К нам подлетела, именно подлетела, девушка в ситцевом платье в мелкий цветочек и легкой белой косынке, ласково улыбнулась и сказала, что нужно прежде всего благословиться у матушки Варвары. Мы последовали за ней к дому настоятельницы.

Матушка-настоятельница сидела на скамейке с монахиней в белом апостольнике. (Название это, как и многие другие термины, не имевшие хождения в советской действительности, я узнал позже.) Обе монахини были неправдоподобно белолицыми. Человек в миру либо загорит, либо ходит с лицом, на котором зримо отпечатались следы греха, заморской косметики или долгого пребывания на улицах современного города. Лица же этих женщин свидетельствовали о *чистоте*. У настоятельницы было доброе, очень простое лицо. Вторая же показалась мне образцом женской красоты. Они сидели, словно сошедшие с полотна Нестерова посланницы Святой Руси.

Настоятельница спросила нас, откуда мы и чем занимаемся в миру, внимательно, с сочувствием посмотрела на нашего сына. Потом обратилась к девушке, приведшей нас к ней: «Танечка, отведи их на горку».

Эта Танечка сейчас Мать Серафима — настоятельница Иоанновского монастыря, где покоятся мощи Иоанна Кронштадтского, а монахиня, сидевшая рядом с матушкой Варварой, — матушка Георгия, настоятельница Горненского монастыря в Святой Земле.

Я до сих пор не перестаю удивляться тому, что первыми монахинями, которых я встертил в своей жизни, оказались такие замечательные подвижницы.

Танечка поклонилась матушке, и мы двинулись в сторону невысокого холма с храмом. Обошли храм, постояли у могилы князя Шаховского, принявшего большое участие в строительстве монастыря, и вошли в «дом на горке» с тыльной стороны. Нам предложили просторную комнату со сводчатым потолком и десятком кроватей.

Танечка пообещала, что соседей у нас не будет.

Четыре дня мы прожили в этом дивном месте, посещая утром и вечером монастырские службы. Службы были долгими. Нас поразило монашеское пение. Все было так непривычно: покойно, молитвенно и радостно. В тогдашнем Питере не было ничего подобного. В церквях помимо толчеи чувствовалось сильное напряжение. Можно было столкнуться с соглядатаями. Молодых людей в храмах было немного. И все они так или иначе были на заметке у органов безопасности. Однажды на Пасху в Спасо-Преображенском соборе к моей жене подошел ее студент — комсомольский активист — и заявил, что если она не поставит ему на экзамене хорошую отметку, то он донесет на нее декану.

В Успенском соборе Пюхтицкого монастыря можно было почувствовать свободу. Подлинную свободу во Христе и свободу в обычном, житейском смысле. Не было никакой нужды суетиться. Все, что нас окружало, свидетельствовало о высоком и прекрасном: повсюду были знаки горнего мира, а дольний прикровенно показывал, что Святая Русь никуда не подевалась. Я заметил двуглавых имперских орлов на хоругвях. Такое даже представить было невозможно: символы царской власти на 64-м году «Софьи Власьевны»! Казалось, что мы чудесным образом оказались в месте, где человек полностью защищен и где никто тебе не станет «шить политику» за то, что ты веруешь во Христа, а не в «дедушку Ленина».

Но, к сожалению, это было не так. И соглядатаи появлялись в монастыре, и целые бригады «ответственных товарищей» вламывались и в монастырь, и в близлежащие церкви для проверки и отлова «тунеядцев и сомнительных личностей». Этому мы вскоре стали свидетелями. Но в те дни наше монастырское житие было наполнено тихой радостью и сладкой иллюзией

пребывания в иной, нежели советская, реальности. Вот оно, истинное, полновесное бытие. Литургия воспринималась не как ежедневная служба с непостижимыми прекрасными символами, а как подлинное стояние на границе двух миров. Эта граница материи и духа виделась в иконах, а проходила она через сердце, трепетавшее от прикосновения к горнему миру. Прикосновение это было, к сожалению, кратковременным. Во время службы суетные мысли постоянно с небывалой настырностью возвращали на землю. И не просто на землю, а в какое-то смрадное хранилище дурных воспоминаний и непристойных мечтаний.

Но все же это был, хотя и очень несовершенный, опыт молитвы.

Паломников в монастыре было немного. В храме стояли в основном монахини. Несколько очень пожилых монахинь в схимнических облачениях, расшитых белыми крестами, ангельскими головками, обрамленными крыльями и трудноразличимыми славянскими письменами, сидели на скамьях у западной стены. Мне так и не удалось увидеть их лиц. Они сидели с низко опущенными головами и перебирали узелки четок. Справа, у солеи, под иконой Успения Божией Матери молились разновозрастные дети.

Было несколько девочек от трех до десяти лет и три отрока лет десяти-двенадцати. Один из них время от времени одергивал девочек, начинавших перешептываться и шалить. Иногда он выводил из храма устававших стоять неподвижно самых маленьких — «немного проветриться». Происходило это тихо. И взрослых эти передвижения хотя и отвлекали от молитвы, но, очевидно, не очень сильно. Во всяком случае, никто детям замечаний не делал. Нам с женой пришлось присутствовать в храме по очереди. Одному нужно было гулять с сыном. Стоять или даже сидеть на одном месте он долго не мог. Мы заходили с ним в храм, когда начиналось причастие.

Одна из девочек, после первой же литургии, подошла к нам, взяла нашего сына за руку и объявила, что проводит нас к источнику. Она рассказала, что зовут ее Аней, что мама ее иконописец и что они приехали из Москвы.

— Пойдем, Петя, — обратилась она к нашему сыну.

— Откуда ты знаешь его имя? — удивился я. Мы называли его по имени только при Танечке.

— Здесь все всё знают, — очень серьезно ответила Аня и кивком головы пригласила нас следовать за ней.

Мы обошли монастырь и спустились к рожице. Тропинка, петляя между сосен, вела вверх. Впереди шла пожилая женщина, тихо напевая «Богородице Дево, радуйся!». Неожиданно она упала на колени и, сделав земной поклон, стала целовать корень сосны. Потом быстро поднялась и продолжила путь.

— Это она стопочку Богородицы поцеловала, — объяснила Аня.

Мы остановились возле сосны. От ее ствола во все стороны по поверхности земли разбегались толстые корни. На одном из них было утолщение, очень похожее на небольшую женскую или детскую стопу. Оно было идеальной формы, ровно очерченное каким-то изящным орнаментом в виде кружочков, оплетенных тонкой жилкой.

Аня наблюдала за нашей реакцией.

— Ну как?

Я не знал, что ответить. На всякий случай произнес:

— Красиво.

— Папа с мамой не верят, что это след стопы Богородицы. Скорее всего, игра природы. А вот явление чудотворной иконы здесь было на самом деле, — убежденно заключила Аня. — Но если народ верит, что это стопа Богородицы, пусть верит. Это никому не мешает. Просто народ любит поклоняться каким-то реальным вещам.

Слышать подобные суждения от десятилетней девочки было странно. Я понимал, что этот выросший в церковной семье ребенок знает много такого, о чем я и не догадывался. У нее было чему поучиться. И главное, с ней можно было говорить как с абсолютно взрослым человеком. Другое дело — было стыдно за собственное невежество и незнание того, что этой девочке ведомо с пеленок.

Мы перешли по мостику ручей. На полянке, с трех сторон окруженной деревьями, находились небольшая часовня с Пюхтицкой иконой Божией Матери и деревянный сруб купальни. Возле него стояло несколько женщин и один старичок. Мы подошли к ним. В этот момент Петя стал вырываться и проявлять беспокойство. Нам предложили окунуться без очереди.

— Ишь, как благодать чувствует, — проговорил старичок и перекрестился широким крестом.

— Ну, я побегу, — объявила Аня. — Надеюсь, дорогу найдете.

Мы поблагодарили ее, и она резво припустила обратно к монастырю.

Женщина, шедшая по тропинке впереди нас, стала объяснять, как нужно окунаться в святом источнике:

— Минимум три раза — в честь Пресвятой Троицы. А сможешь, так двенадцать — в честь двенадцати апостолов. Перекрестись, сына перекрести и говори: «Во имя Отца! Аминь! И Сына! Аминь! И Святаго Духа! Аминь!» И обязательно с головой.

— А ты лучше сейчас перед окунанием обойди три раза часовню и прочитай Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!» — негромко посоветовала мне старушка, державшая под руку очень полную женщину с землистым лицом, туго перевязанным под подбородком косынкой.

— «Грешнаго» не надо говорить, — строго заметил старичок. — Господь и так знает, что грешный. «Помилуй мя!» — и все. Довольно.

— Ну не скажите, — стала перечить ему первая просветительница. — Господь-то все знает. Главное — себя грешником осознавать.

— Эт само собой. Осознавай. А к молитве ничего не добавляй. Ее так великие подвижники читали. И старцы...

Конца спора я не дослушал. Из купальни вышли четыре женщины. Я обернулся к жене:

— Полотенца-то мы не взяли...

— Какое полотенце! — сразу воскликнули несколько женщин.

— Вытираться нельзя ни в коем случае. Надевай одежду. Сразу высохнешь. Тело как в огне горит. Тут даже зимой не вытираются, — разъяснил премудрость купального делания старичок.

Вода оказалась ледяной. Первую молитву я прочитал не спеша и, прижав к себе Петю, присел, погрузившись в воду с головой. Петя громко закричал и стал вырываться.

— Исцели его, Господи! Верую, Господи. Помози моему неверию.

Я быстро окунулся еще два раза. Вместо крика раздался сильный кашель. Петя наглотался воды и, с ужасом глядя на меня, зашелся в кашле. Я быстро поднялся по скользким ступеням и надел на него рубашку. Он перестал кашлять, но начал дрожать всем телом, постанывая и издавая незнакомые звуки. Дело в том, что он с самого рождения не говорил и не смотрел в глаза, словно говоря нам: «На вас и глядеть не хочется».

В роддоме нам ничего не сказали о родовой травме, и мы упустили драгоценное время, когда можно было многое исправить. Отставание в развитии стало очевидным только через полгода. Врачи говорили, что так бывает, и уговаривали не беспокоиться. Петя был симпатичным ребенком. Когда был спокоен, то никаких следов болезни на его лице не было заметно.

Но это были редкие минуты. Он все время куда-то рвался, убегал и, если не остановить, мог бежать куда хватало сил.

Я поблагодарил народ за то, что нас пустили без очереди, и повел притихшего Петю в поле. Жена взяла его за другую руку, и мы пошли, прислушиваясь к Петиному бормотанью.

— Ты что сказал? — спросил я его в сильном волнении.

Он что-то снова пробормотал.

Мне показалось, что это был осмысленный ответ, что произошло чудо и Петя получил исцеление в святом источнике. Он все понимает и скоро начнет нормально говорить.

Я сел в траву и посмотрел ему в глаза. Он не стал отводить взгляда. Это было действительно чудо. Впервые за четыре года сын смотрел осмысленно и прямо в глаза.

Ежели бы на горящие угли его посадил, он бы еще и не так смотрел. Он бы все, что о тебе думает, сказал, — это был ничем не заглушаемый голос сомнения. Что бы хорошее ни происходило в моей жизни, сразу же включался внутренний собеседник, ехидно высмеивавший то, что меня порадовало. Мне бы возблагодарить Бога да помолиться усердно, а я, сомневающийся и смущенный, вдруг вспомнил, что мы еще не завтракали, и почувствовал такой приступ голода, что чуть не потерял сознание.

Жена все же настояла, чтобы мы не торопились, а вернулись кружным путем. Впереди, на склоне холма, виднелись две цепочки жниц: девушки в легких длиннополых платьях косили траву. Это были молодые монахини и послушницы. Я лишь однажды видел косцов на лугу. Это было в Вологодской области. Отец с двумя сыновьями обкашивали высокий пологий берег Шексны. Они шли друг за другом, одновременно с разворотом посылая косу широким полукружьем. Звук косьбы — стали, срезающей траву, — походил на пение какой-то огромной птицы. Даже не пение, а стон от полученной раны.

Я стоял у воды, а косари, голые по пояс, мускулистые и широкоплечие, медленно двигались по склону, оставляя за собой холмики скошенной травы. Первым шел отец. Оба сына были на фоне зеленого склона, а торс отца, казалось, плыл по голубому небу. Над его головой завис жаворонок. Да простят меня орнитологи, если это была другая птица. Она часто трепыхала крылышками, и когда старший косарь уходил на несколько метров вперед, срывалась с места и каким-то нырком оказывалась вновь над его головой. Впереди Шексна широкой дугой уходила влево, скрываясь за кромкой противоположного берега. На нашем берегу чернели три избы. Весь этот пейзаж с рекой, ярким небом, косарями и жаворонком над ними являл собой такую радостную гармонию жизни, что хотелось запеть во всю мощь какую-нибудь раздольную песню и побежать, широко раскинув руки, пытаюсь обнять эту необъятную красоту...

Приближаясь к девушкам, я невольно вспомнил эту картину. Мы услышали пение кос. Платья из веселенького ситца какого-то старорежимного кроя ярко горели на фоне зеленого поля. На всех были белые косынки. Девушки легко в такт взмахивали косами. И хотя была пройдена добрая половина огромного поля, в их движениях не было заметно усталости. Эта не женская работа, предполагающая молодецкую удаль и силу, исполнялась с какой-то необъяснимой красотой и изяществом. Косарь не имеет женского рода. Косами всегда косили мужики. А женщины жали серпами и назывались жницами. Эти барышни-косари не были могучими бабами, в ком легко было представить сильных работников. Напротив. Все они были худенькими, изящными. Оттого-то и была удивительной легкость, с которой они исполняли свою работу. Эх, красота! Еще бы белую лошадь для полноты этой венициановской картины.

И только я подумал о белой лошади, как она, родимая, медленно вышла из-за кустов...

Трапезы в монастыре были скромными. Во всяком случае, те, что проходили на горке. Широкий стол едоков на двадцать стоял под открытым небом. Кто-то приносил из кухни кашу или щи. Иногда появлялась картошка в мундире. Ржаной хлеб был собственной, монастырской, выпечки и казался невероятно вкусным. Ели молча. Богомольцы были пожилыми людьми. Лишь одна дама, в ком без сомнения угадывалась интеллигентная столичная штучка, была нашего возраста. Мы «поиграли в общих знакомых» и сразу же подружились. Это была замечательная поэтесса Олеся Николаева. Я горевал, что мы не обменялись координатами. Через день ее уже не было. Но той же осенью мы снова встретились. Уже не в Пюхтицах, а в Печорах, куда она приехала со своим мужем — Владимиром Вигилянским. И встретились мы как старые знакомые, знавшие друг друга целую вечность. Но это было намного позже...

В Пюхтицах в это время находился приятель и соавтор моего однокурсника — известный литературовед Николай Котрелев. Эта встреча была особенно радостной. Я не знал о том, что Николай — церковный человек. Вольномыслие и безразличие моего однокурсника и его соавтора к «христианской проблематике» были настолько сильны, что было трудно представить верующего человека в числе его друзей.

Николай жил в одном доме с нашей юной перевозчицей Аней. Ее мать — иконописец Ксения Покровская, а отец — физик Лев Покровский. Они открыто исповедовали православие и в то время, когда интеллигенция перестала размножаться, не желая «плодить солдат коммунистам», подарили родине пятерых граждан. (Кстати, у Николая Котрелева к сегодняшнему дню около двадцати детей и внуков.)

С Николаем и Покровскими мы имели возможность общаться днем и после вечерней службы. Я почерпнул много полезного из этих бесед. Они были в Пюхтицах старожилами. Ксения писала для монастыря иконы, а Николай, если мне не изменяет память, работал с какими-то документами в монастырском архиве.

В Пюхтицах останавливались на денек-другой те, кто направлялся в Васк-Нарву к отцу Василию. Мы решили покинуть гостеприимную обитель и ехать с ними. Но Танечка уговорила нас остаться: ждали Таллинского владыку Алексея. Она почему-то решила, что мне нужно непременно попасть к нему на беседу, и обещала меня представить ему. Остаться-то мы остались. И на службе архиерейской помолились, но после службы уехали на дневном автобусе в Васк-Нарву. Мне, конечно, хотелось пообщаться с владыкой. Да и архиерейский обед предполагал кое-что отличное от картошки в мундирах. Но понимание своего недостойнства все же пересилило.

ВАСК-НАРВА

Об отце Василии из Васк-Нарвы я узнал от Саши Лиговского. Настоящей фамилии Саши я не знаю. «Лиговский» — кличка по месту его проживания на Лиговском проспекте. Саша был мужичком небольшого роста лет сорока, с длинной нечесаной бородой. Ходил он, как ему казалось, в «православном прикиде»: зимой в дубленом зипуне, а летом в широких штанах и льняной рубахе навывпуск. Свой старенький зипун Саша очень любил и говорил о нем с великим почтением: «Этот наряд Государя Императора помнит». Это походило на правду. Уж больно был старый зипун. В его маленькой камерке в коммунальной квартире можно было встретить самых

неожиданных гостей. С ним знали и священники, и господа ученые, и семинаристы, и соседняя гопота, которую он иногда угощал «белым винцом». Дело в том, что у Саши можно было приобрести все, что имело отношение к православной вере, вплоть до древних рукописей, старинных икон и нательных крестов домонгольского периода. Помимо древностей у него водились современные книги по богословию, издаваемые русскими эмигрантскими издательствами в Америке и Западной Европе. Можно было даже приобрести энтээсовскую периодику. У него оставляли товар скупщики, приезжавшие к нему с Севера, Новгородчины и Псковщины.

Продавал он принесенное с небольшой наценкой: ценные вещи предлагались за гораздо более скромную сумму, нежели в антикварных магазинах. Пока он был жив, не было проблем с подарками для верующих людей. Когда его отпевали в Князь-Владимирском соборе, храм был полон. Люди, не знавшие покойного, говорили: «Священника отпевают. Не иначе!»

Саша был ценен еще и тем, что знал всех священников Северо-Запада. Часто ездил на богомолье в монастыри. Хотя он и называл свой бизнес «нужным делом», но все же время от времени каялся в том, что торговал святынями. Больших денег у него никогда не было. Его можно даже назвать «минималистом». В комнате был лишь старый узенький диванчик, низкий стол для неперменного чае- или винопития, два табурета да вешалка, прибитая к внутренней стороне двери. Иконы и книги он держал в угловом шкафу. Некоторые иконы для скорейшей реализации развешивал по стенам.

Он с легкостью судил о «благодатности» и особых дарах у знакомых ему батюшек и настоятельно рекомендовал к ним съездить, объясняя, как к ним добраться. Некоторые служили на глухих приходах, и попасть к ним без подсказки было непросто.

Он настоял на том, чтобы я с сыном непременно съездил в Васк-Нарву к отцу Василию.

— Можешь и в Печоры к отцу Адриану съездить. Но там стремно. И стукачей навалом, и наместник свирепый. А в Васк-Нарве потише. Все же Эстония. И живут там приезжие скопом. Всех не шуганешь. Сам увидишь.

А увидели мы развалины церкви да толпу странных людей. Крошечная главка с крестом на месте отсутствовавшего купола должна была свидетельствовать о том, что четыре стены с зияющими дырами — не просто полуразрушенный дом, а храм Божий. Он был построен в начале девятнадцатого века в честь пророка Ильи. Я приобрел у Саши для отца Василия высокий фарфоровый стакан для напольного подсвечника с изображением вознесения пророка Ильи на небо на огненной колеснице.

Отец Василий подарку обрадовался. Пригласил в свой домик и стал потчевать чаем с сушками.

В комнату, где мы чаевничали, постоянно заглядывала помощница батюшки Галина — девица лет 25-ти — и сообщала какие-то новости и чьи-то просьбы. Батюшка на каждую реагировал буйно. Он как-то вскидывался и быстро-быстро что-то проговаривал. Я не мог ничего разобрать, но помощница кивала головой в знак согласия, время от времени отпуская короткие комментарии.

Я с любопытством разглядывал батюшку. Был он лыс, с абсолютно белой бородой и редкими тонкими седыми прядями, спускавшимися от лысины до плеч. Голубые глаза лучились и казались смеющимся даже тогда, когда он начинал кипятиться и выражать неудовольствие. Его молодежавое лицо постоянно меняло выражение: то он чему-то радостно улыбался, обнажая беззубые десны, то сердился и хмурился, трясая бородой и призывая меня в свидетели.

— А ты вот что, молился постоянно и не надейся на чудо. Тебе чудо повредит. Терпи, а надо будет, Господь и чудо сотворит, и даст все, что нужно.

Этим напутствием завершилась наша беседа. На сей раз он говорил не так быстро, и я все понял. К его скороговорению было несложно привыкнуть.

Батюшка вызвал Галину и приказал устроить нас.

Во дворе нас поджидала Марковна. Она бросилась к нам, троекратно облобызала и заявила Галине, что места для нас уже забронированы. Галина возмутилась: «Тут батюшка на все благословляет. А вам нужно сидеть тихо и не командовать».

Марковна извинилась, ухмыльнулась и подмигнула мне: «Давай, Галюнь, пойди найди».

Это оказалось делом непростым. Батюшкино хозяйство представляло собой нечто вроде монастырька, окруженного стенами из крупных камней. Стены эти были наполовину разрушены, и часть народа была занята на их восстановление. Помимо храма в ограде разместились четыре небольших домика из силикатного кирпича и маленькая часовня. Но это была не часовня, а старая церковь — крошечная комнатка в одно оконце, но с настоящим престолом. В ней несколько раз в году служили литургию. Дома стояли вплотную. В них было по две жилые комнаты, а на просторных чердаках настилались в два ряда матрацы. Здесь спали батюшкины пасомые. Утром матрацы убирались на случай проверок. Народ расходился на послушания. Дел было много: строительные работы в храме, восстановление стен, несколько женщин работали на кухне, девицы «ходили по ягоды» — собирали чернику. Мужчины с ведрами и тачками бродили вдоль реки и озера в поисках камней для стройки. Кто-то постоянно дежурил у ворот. В случае тревоги народ врасыпную устремлялся в лес или к озеру изображать дачников-купальщиков. Местные власти нередко устраивали рейды и схваченных нарушителей паспортного режима отвозили в районный отдел милиции, а оттуда депортировали: отправляли на все четыре стороны. Но для страдальцев, приехавших к отцу Василию, этих четырех сторон не было. Была лишь одна сторона. Все захваченные нарушители снова оказывались в Васк-Нарве. По закону каждый гражданин Советского Союза был обязан встать на учет по прибытию в любое место, где он не был прописан. Если его гостевание превышало трое суток, нужно было оформлять временную прописку. Дело это муторное и долгое. Но главное — такой прописки власти попросту не давали. Во всяком случае, для паломников и людей трудившихся для Церкви. Церковь была для коммунистов объектом приложения слабеющих сил. С классовыми врагами покончили, но бороться с Богом не переставали вплоть до крушения системы. Позволить священнику разместить при храме несколько десятков человек было просто невыносимо. Даже рабочие, трудившиеся на восстановлении храма, считались нелегалами. Сейчас даже трудно представить, какой подвиг взял на себя отец Василий. Его постоянно штрафовали, отвозили в милицию для составления протоколов, грозились изгнать из Васк-Нарвы. Но Господь берег его. Батюшка бесстрашно заявлял властям: «Изгоняйте. А бесноватых лечите сами. Размещайте в своих квартирах, кормите, ухаживайте за ними, слушайте их вопли. А если они вас растерзают, то никто не будет виноват. Чего с них взять, с бесноватых». От таких речей красные товарищи сами начинали бесноваться, но, пообещав разобраться с отцом Василием по всем строгостям советского закона, на какое-то время оставляли его в покое. Но потом снова устраивали облаву. Нужно ведь отчитываться перед вышестоящими начальниками. Батюшка искренне жалел своих гонителей. Улов их был всегда невелик, а сил и бензина они тратили много. Об одной такой облаве я расскажу позже.

Итак, мы с Марковной и Галиной отправились искать себе пристанище. Марковна придержала два места для моей жены и сына в женском домике и одно для меня — в мужском. Но такой расклад был невозможен. Жена моя

не могла справиться с Петей без моей помощи. Да и с таким количеством соседок он бы вовек не уснул. Нужно было найти место, где бы мы могли разместиться втроем. Единственным незанятым оказался закуток в кочегарке без окон и электричества. Но с несомненным достоинством — отсутствие соседей. Мы выгребли несколько ведер мусора и устроили рядом с котлом лежбище из трех матрацев. В нашем жилище было пыльно и душно, но это еще не самое большое испытание.

На следующий день, в воскресенье после литургии проводилась отчетка. Впервые в жизни я оказался в компании мнимых и настоящих бесноватых. Во время службы то в одном, то в другом углу храма раздавались лай, хрюканье, громкие вопли, рычание, целые тирады. Пожилой мужчина, не по сезону одетый в ватную фуфайку, через каждые четверть часа начинал мотать головой и выдавать громкие текстостки: «У Василища — Божия силища. И откуда ты взялся на нашу голову». Потом он долго кашлял, а перестав, снова выдавал какой-нибудь текст. Compliments насчет великой духовной силы отца Василия сменялись угрозами: «Погоди, мы до тебя доберемся. Повесим тебя за бороду и язык вырвем, чтобы не произносил таких страшных слов. Со всем замучил своими молитвами».

Человек этот явно блажил и переигрывал. Все, произносимое им, походило на декламацию. Он исподтишка поглядывал на меня, стараясь определить, какое впечатление произвел на новенького. А после службы подошел ко мне и громко сказал на ухо: «Во мне легион. А в этих, — он презрительно кивнул в сторону товарищей по несчастью, — это так, вшивота. Шелупонь. Неча делать».

Но делать было что. Настоящих бесноватых в храме собралось предостаточно. Одному молодому человеку, приехавшему на день раньше нас и еще не бывавшему на отчетках, мать дала святой воды — запить таблетку. Нужно было видеть, как его выворачивало и как он выл от боли. А когда после службы батюшка вынес крест, то у соседки Марковны неожиданно начала вращаться голова, будто сломанный пропеллер. Потребовалась помощь двух молодцов. Они с трудом удерживали ее голову, чтобы она смогла приложиться. Батюшка протянул ей крест, и как только ее губы его коснулись, она издала такой вопль, что все невольно заткнули уши.

Между литургией и отчеткой был часовой перерыв. Батюшка отправился отдохнуть. Народ потянулся в трапезную. Но трапезничали не все. Многие в день отчетки не ели до самого вечера: постились, чтобы легче было «сокрушить врага».

Трапезная — дощатый сарай с длинным столом. Приходилось кормить болящих в две-три, а то и четыре смены. Еда была самая простейшая: зеленые щи да каша пшенная или рисовая. Иногда варили суп из снитки. Некоторые женщины делали из сныти салат. Предлагали всем, приговаривая: «Сниткой батюшка Серафим Саровский питался. Сныть — самая ценная в мире трава. Голод начнется — со сниткой не пропадем». Но охотников питаться ценной травкой находилось немного. Несколько раз в течение месяца, который мы провели в Васьк-Нарве, местные рыбаки приносили рыбу. Однажды принесли щуку длиной около двух метров. Мужики с трудом поднимали ее на палке, продетой между жабр. Хвост щуки лежал на земле, а голова — вровень с головами рыбаков.

На первую отчетку мы пошли, позавтракав. Нам — любителям хорошего чая — было трудно избавиться от этой слабости. Если до полудня не выпьешь крепкого чая, то на весь день гарантирована головная боль. Здесь пили настой из трав. Мы кипятили воду походным кипятивильником в стеклянной

литровой банке и украдкой заваривали нормальный чай. Украдкой, потому что местный люд объявил нас «чифирщиками» и даже кто-то сообщил народу, что пристрастие к чаю я приобрел в зоне. И жену свою приучил. Марковна потребовалась целая неделя на то, чтобы развеять слухи о моем уголовном прошлом. А одной шибко активной «рабе» она даже дала пощечину за то, что та говорила, будто Петина болезнь — следствие моего разбойного жития.

В тот день, выпив чаю с куском черного хлеба, мы отправились на отчитку. Белый хлеб здесь считался роскошеством и был объявлен «не постным».

Народу на отчитке собралось много. Помимо «стационарных», поселившихся надолго, на один воскресный день подъехал народ на своих машинах из Питера, Таллина, Нарвы и прочих городов и весей. Марковна пристроила Оленьку на табурете у левой стены и очертила вокруг себя «мертвую зону», ожидая нас. Для Пети она припасла еще один табурет. Оленька чувствовала себя скверно. В тот день она дважды падала в обморок.

Марковна этому обстоятельству только радовалась: «Бес батюшку почуял. После отчитки станет получше». И действительно. Вечером Оля читала в храме вечернее правило. Все молитвы она знала наизусть и читала по памяти. Читала замечательно. Ее тихий голосок был отчетливо слышен во всем храме. А в казавшемся монотонным чтении на одной ноте чувствовалась большая духовная сила и молитвенная энергия.

Отчитку батюшка начал с небольшой проповеди. Он встал на амвон, держа обеими руками крест, оглядел народ, несколько раз подмигнул старым знакомым. Все притихли. Общее напряжение, казалось, уплотнило воздух. Кто-то всхлипывал. Батюшка задорно вскинул голову:

— Кто там нюни распустил? А ну прекрати. Ничего не бойтесь. Пусть бес боится. Стойте, молитесь. Он ведь хулиган. А с хулиганами как надо? По ушам — и в кутузку. Вот мы его сейчас и отхлестаем. И не думайте, что он сразу выйдет. Вы даже не просите Бога об этом. Если из вас бес выйдет без всякого вашего старания, то вы погибли. Сразу на танцы побежите да на блуд. Бес же — это ваш помощник. Вроде советского милиционера. Он вас от зла удерживает. Вот это премудрость Божия. Господь попустил бесу войти, чтобы этот злодей удерживал вас от большего зла. Так что не бойтесь. Пусть он трепещет.

К сожалению, я не помню многих деталей чина отчитки. Помню лишь, как батюшка читал отрывки из Евангелия и обильно кропил святой водой болящих. Вой стоял ужасный. В разных углах бесноватые кричали на все лады. Поначалу я подозревал многих в симулянтстве, но вскоре мне стало жутковато. Оленька время от времени хватала меня за руку и шептала, что ей страшно. Я поглаживал ее руку и старался, как мог, успокоить. К великому удивлению, Петя вел себя довольно спокойно. Когда раздавался особенно громкий вопль, он усмехался и одобрительно кивал головой. Похоже, происходившее ему нравилось. Наблюдая за публикой, я старался отличить настоящих бесноватых от тех, кто в бесноватых играл. Мнимые фальшивили и переигрывали. Было видно, что настоящие действительно испытывали сильные страдания от прикосновения к святыне. Рядом с батюшкой стояла худенькая, как тростинка, барышня ростом не более полутора метров, с тонкими ручками и острым личиком, заточенным, как топорик, с глазками, сведенными к переносице. Ее ласково называли по имени, Любушкой. Когда батюшка стал читать первое Евангелие, глаза ее побелели и, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Во время второго Евангелия она закашлялась. Кашель ее был хриплым и грубым, как у пропойного мужика. После третьего Евангелия она начала биться и завалила четырех здоровенных парней, державших ее за руки и под руки. Батюшка поднес к ее губам крест, и лицо ее в одно мгно-

вание покрылось крупными каплями пота. Любушка завизжала, заплакала, стала умолять отпустить ее и не жечь раскаленным крестом. А когда с батюшкиного кропила на лицо ее упали капли святой воды, из недр ее хрупкого тельца вырвался такой громкий хриплый рык, что стоявшие рядом с ней невольно отшатнулись, заваливая стоявших за ними. Непонятно, как и чем это маленькое существо издавало такой нечеловеческий звук.

Вот тебе, мил друг, и психосоматика...

Поразительно то, что практически все к концу отчитки чувствовали невероятный упадок сил. А отец Василий — наоборот. С каждой минутой силы в нем прибавлялись. Лицо его становилось вдохновенным и восторженным. Он был подобен отважному воину, увлеченному битвой с падшими духами.

Он буквально летал между рядами болящих, обильно кропя их святой водой. Некоторых даже хлестал кропилом по лицу. Толпа то подавалась вперед к амвону, то отступала назад. Потом начиналось кружение и движение во все стороны по маршруту передвижений батюшки. В этом кажущемся хаосе, оказывается, был свой порядок. У отца Василия помимо помощников, готовых в любой момент подхватить падавших без сознания страдальцев, присутствовали на каждой отчитке врачи. Они никогда не надевали белых халатов, чтобы не выделяться и не смущать остальных, и делали свое дело проворно и молча. Приводили в чувство, успокаивали, в случае нужды делали уколы.

Мнимых бесноватых я научился отличать довольно скоро. Многие сами подходили и рассказывали свои истории. В основном это были люди с поврежденной психикой. У одних повреждение серьезное, у других — едва заметное. Они верили в то, что в них сидит бес. И переубедить их было невозможно. Многие редко покидали психиатрические больницы. Несколько человек из мнимых частенько устраивали другим проверки. Дают святой воды вновь прибывшему и смотрят за реакцией. Если прошло без последствий, это мнимый бесноватый. Просто такой же, как они, чокнутый сачок. А если от святой воды человеку становилось плохо, то тут дело ясное — бес в нем заправдашний. Проверятьщики тут же бегут доносить батюшке на сачков. Очевидно, доносчики полагали, что таким образом можно убедить батюшку в том, что они-то подлинно одержимые. Но он и так чувствовал настоящих клиентов и не нуждался ни в каких проверках. Этих активистов, как и прочих самозванцев отец Василий не прогонял. Вернее, терпел, но не бесконечно. Он знал, что имел дело с душевнобольными людьми, и не хотел их обижать. Некоторых в шутку даже обещал поощрить: «Давай-давай, Маруся, старайся. Выявляй врагов народа. Я тебе за это особый колпак велю сшить. Чтоб за версту видать ударницу». Маруся была довольна и всерьез ждала обещанного.

По вечерам после общего прочтения вечернего правила всем храмом пели: «Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам. Трепещит бо и трясется...» Эту же молитву пели и во время отчитки. А батюшка приговаривал: «Во-во! Пусть трясется и трепещит. А нам нечего бояться. С нами крестная сила и сам Господь!»

Завершал общую вечернюю молитву батюшка проповедью. Вернее, беседою. Если был в духе, то мог несколько часов говорить. Тут было все: и серьезные богословские рассуждения, и назидания в виде притч и историй из его жизни, и «разборы полетов», после чего он мог устроить крепкий разнос провинившимся и даже изгнать особо дерзких или ленивых, не желавших вместе со всеми работать. Лентяев он очень не любил. А тех, кто особенно старался на храмовых работах, отличал и поминал громко на ектеньях. О себе он говорил: «Пописка я так себе. А вот строитель ого-го!»

Почти каждый вечер батюшка просил народ не считать его чудотворцем и не отчаиваться от того, что бес не оставляет их.

— Нынче в мире не найти таких сильных мужей, как прежде. Чтобы им бесы повиновались. Я же только молюсь, чтобы облегчить ваши страдания. И вы молитесь. Не валите все на меня. Я ведь старый и слабый. Помогайте мне. Старикам даже пионеры-безбожники помогают. А вы не хотите мне помогать. Молитесь крепко вместе со мной. Не ленитесь. Господь дает по стараниям, по трудам, по подвигам, а не по пустым просьбам. Он знает, что нужно для нашего спасения. Ты думаешь, ай как быстро я долечу куда надо. А самолет — бултых и разбился. Тебе надо было пешочком или на лошадке. Нет, ты модный, современный. Тебе самолет подавай. Ты ведь спешишь... Никуда не спешите, дорогие мои. Все само придет. Я вот никуда не спешил. Ко мне сами, кому надо, приходили: и немцы пришли в войну, хоть я их не звал. И красноармейцы, и милиционеры опять скоро придут, их я тоже не очень жду. Так что сидите на месте, молитесь, кайтесь в грехах своих и молитесь за родителей ваших: они наломали дров — на пять веков топить хватит. Молитва — главное дело для православного человека... А вы говорите, чем заняться, как спастись. В Евангелии все сказано. Соблюдай заповеди, и не надо ничего выдумывать...

Тех, кто выдумывал, батюшка изгонял. Одного молодого человека — петерского Володьку, собравшего вокруг себя целую секту, изгонял при мне. Этот новоявленный ересиарх утверждал, что все в Церкви плохо, что все архиереи продались большевикам и даже отец Василий молится неправильно.

— В Евангелии Господь говорит: «Аминь-аминь глаголю вам...» А потом говорит притчей. А кто из попов говорит «аминь-аминь»? В этом вся беда. Как два раза скажешь «аминь», так сила в два раза и прибавляется. А попы даже после проповеди не то что дважды, и один раз «аминь» не скажут. Потому столько болезней и беснований...

Этому открывателю причин беснования батюшка устроил прилюдную взбучку. Диспут был краток. Вовка на грозное батюшкино требование объяснить суть его «учения» промяукал что-то про двойное «аминь».

Батюшка покраснел от гнева.

— Что ж ты суешься, куда не смыслишь. Два «аминя» ему подавай. А я тебе три даю. Аминь-аминь, глаголю тебе. Пшел вон отсюда. Аминь!

Вовка исчез не сразу. Время было теплое. Ночевал он где-то на чужом сеновале. Днем купался в озере, собирал ягоды.

Уезжать ему не хотелось. Место райское. Храм стоит на берегу широченной реки Наровы. Она вытекает из Чудского озера в ста метрах от храма. Широкий песчаный пляж. Вода теплая. Лес полон ягод. Начинается лес от пляжа и тянется на десятки километров вширь и вглубь. Чего еще желать!

В монастырьке нашем оставалось несколько сторонников Вовкиного «учения». Они тайком носили ему еду. По вечерам в отдалении жгли на берегу озера костер. И Вовка, пламенея от вдохновения, вещал, озаренный пляшущими языками пламени, о скорых бедах и страшных наказаниях за то, что православные изменили «двойному аминю». Один раз я набрел на эту живописную группу. Говорилось там о многом. Вовка рассказывал всякие небылицы о батюшке. Но главное, Вовка готовил бунт.

Бунт не удался. В дело вступил мордвин Сережа. А Сережа этот был из тех, о ком Лесков говорил: «Увидеть его означало испугаться». Вовка испугался. Стоило Сереге взять его за руку, как тот присел до земли от боли. Тут же все понял и побежал вприпрыжку к автобусу, оглядываясь и отмахивая рукой, испытывавшей дружеское Серегоно рукопожатие.

Другое изгнание обошлось без Сереги. Изгонялась странница Пелагея с «ученицей» Натальей. Изгонялась по-тихому. Два дня она собирала народ и рассказывала басни о своих дарах исцеления и чудотворения.

Она обошла пол-России и будто бы исцелила несколько сотен людей. С бесами она тоже лихо управлялась.

Батюшке она заявила, что готова помогать своей сверхмощной молитвой. Отец Василий посмеялся: «Не надо мне, мать, твоей помощи. Как бы тебя самые бесы не потрепали. Помолись и ступай себе с Богом!»

Вечером она под села к нам в трапезной и предложила помолиться с нами. Говорила, что благодать на нас изольется преизобильно и мы забудем о наших бедах. Обижать ее не хотелось. Я пригласил ее в нашу «келию».

Мы к тому времени протащили к себе шнур со стоваттной лампочкой и могли читать и не набивать себе шишек в темноте.

Пелагея пришла без ученицы. На ней были черный подрясник и черная шапочка — чистая монахиня. Петя наш спал. Пелагея окрестила все углы, опустила в пузырек с широким горлом конец четок с крестом и стала энергично окроплять водой из пузырька все вокруг. Затем она упала на колени, прочла «Царю Небесный», «Трисвятое», «Отче наш» и начала читать принесенный с собою затертую Псалтирь, всю утыканную записочками.

— Читать будем до утра, — объявила она. — Нужно все двадцать кафизм прочесть.

Мы с женой обменялись жалобными взглядами, но по велению Пелагеи опустили рядом с ней на колени. Жена зажгла свечу перед бумажными иконами Владимирской Божией Матери и мученика Трифона.

Я пытался вслушаться в слова псалмов. Читала Пелагея как-то заполошно, проглатывая слова и чересчур торжественно произнося «Славу». «Аллилуйю» она проговаривала с каким-то взвизгиванием, долго протягивая концовку: «ййййяя». На второй «Славе» это «ййййяя» меня сильно смутило. Словно железом по стеклу. Я почувствовал, что долго не выдержу. Но, памятуя о кознях вражиих, решил терпеть. В конце третьей «Славы» Пелагея стала неровно дышать. Прочитав молитву после первой кафизмы, она вдруг широко раскрыла рот и с громким стоном зевнула. За первым зевком последовал второй, затем третий. Каждый раз Пелагея быстро крестила рот, приговаривая: «Вот искушение!» Вдруг она легла на спину и тихо залепетала: «Простите, спину ломит. Не могу терпеть. Вот вражина дает. Как тут молиться?»

Мне стало жалко старушку. Я предложил отложить ночное бдение до следующего раза. Она радостно согласилась и чересчур бодро вскочила, не взяв протянутой ей руки. От моей помощи она отказалась и провожать себя не позволила.

На следующий день батюшка служил литургию и отчитывал. Пелагея на отчитку не осталась, а на литургии перед чашей что-то стала выговаривать отцу Василию. Батюшка рассердился и на весь храм грозно приказал: «Чтобы духу твоего здесь не было».

Оказалось, что она пеняла батюшке за то, что во лжице для нее было мало причастия. А перед службой она прилюдно просила его причастить ее как-то особенно, потому что бесы на нее ополчились с невероятной силой. Причастившись, она громко объявила, что отец Василий не захотел ей помочь, потому что она великая молитвенница и тот ей завидует. Уехала она со своей ученицей на попутной машине, на прощание выкрикивая в адрес отца Василия страшные угрозы.

Эту Пелагею вместе с Натальей я встретил лет через пять возле Знаменской церкви в Москве. Они раздавали богомольцам какие-то брошюрки. Я поздоровался с ними. Они сделали вид, что меня не знают. А еще через несколько лет я попытался унять братьев из «Богородичного центра», проповедовавших в плацкартном вагоне поезда Петербург—Москва. Они дерзко говорили о безблагодатности Православной Церкви и о том, что в их среде

живут настоящие святые и чудотворцы. Фотографию одной недавно скончавшейся «святой» они стали раздавать желающим. Я поглядел на художественное фото, сделанное под икону. На меня лукаво смотрела старая знаколица. На этой фотографии Пелагея была в схимническом одеянии. Взгляд ее говорил о великой победе: «При жизни вас дурачила и с того света буду баламутить».

Самое тихое изгнание было в начале нашего васк-нарвского жития. Батюшка приказал своей самой страстной поклоннице ехать домой к детям. Звали ее Надеждой. Она уже в пятый раз обрушилась на батюшку. Не давала ему прохода. Пела ему здравицы, объяснялась в любви и с утра до вечера рассказывала каждому встречному о том, каким великим старцем является отец Василий. Надоела она ему чрезвычайно. Он собрал всех в церкви и сказал:

— Вот мать двоих детей. Бросила своих чад и валяет дурака. Я — понятное дело — дурак. Но больше валяться не хочу. Нечего тебе тут делать. Тебя дети ждут. У тебя перед ними и перед Богом обязанности.

Надежда рыдалась:

— Никуда я, батя, от тебя не поеду. Не нужны мне ни дети, ни муж окаянный. Только ты.

— Ах так, — рассердился батюшка — Дети тебе не нужны. Так и мне такая дурная мать не нужна. Детей бросить — нет страшней преступления.

— Это бес меня к тебе, батя, гонит.

— Нет в тебе никакого беса. И совести в тебе нет. И любви нет. Одна дурь. Глаза бы мои такую противную бабу не видели.

Тут Надежда взвыла и бросилась из храма. Где-то пробродила всю ночь, а утром, притихшая и зареванная, пришла просить у батюшки прощения. Батюшка ее простил, но выпроводил.

Были и другие изгнания. Особенно лютовали при депортации мнимые бесноватые. Некоторые повторяли коммунистические наговоры на батюшку и злобно угрожали ему.

Говорить дурно о батюшке могли лишь очень больные люди либо большие негодяи. Ильинский — это уже третий храм, который отец Василий восстанавливал из руин. При большевиках такое было немислимим. Как ему это удавалось — одному Господу Богу известно. Да, пожалуй, ближайшим друзьям. Как он получал разрешения на строительство в то время, когда по всей стране храмы закрывали, рушили или превращали в склады и клубы?! Богатых спонсоров тогда не было. В церковь ходили в основном люди простые и далеко не богатые. Питерские батюшкины друзья жертвовали из своих скромных окладов да привозили то, что удавалось собрать у таких же небогатых знакомых. Дело потихоньку продвигалось еще и благодаря тому, что находились трудники, готовые работать во славу Божию. Несколько каменщиков и плотников приезжали на весь отпуск. Один из них — питерский Ваня — с радостью говорил, что такой отпуск лучше всякого черноморского санатория.

— Я утром искупаюсь, и в обед, и вечером. Загорать не люблю. Без дела не могу валяться на солнце. Проплыл — и за работу. Кормежка на столе. Воздух свежий. Красота!

Стол у них был получше, чем у болящих. Они не постились. Работа была тяжелая. Один раз в неделю выходили в ночное — на рыбалку. По желанию могли и чаще, но совесть не позволяла. Работали не менее десяти часов. Но, как правило, больше. Смеркалось поздно. Иногда стук молотка был слышен и в темноте.

Ваня знал отца Василия много лет. Приезжал к нему и на бывшие приходы. От него я узнал некоторые сведения об отце Василии. У него была жена

и двое детей. Но они давно «махнули на него рукой». Кому нужен неугомонный старик, предпочитавший бесноватых родной семье! Семья жила в Эстонии. Название городка я забыл. Батюшка навещал их редко. Такое беспокойное хозяйство не оставишь. Отчитываться он начал давно. Из-за этого с властями всегда проблем хватало. Составляли целые комиссии с начальниками и психиатрами. Какие бесы, когда их нет! Что это за чудачество и шарлатанство.

В стране борьба с религиозными предрассудками, а тут деревенский батек дурачит строителей коммунизма.

Когда начались хрущевские гонения, отца Василия арестовали.

«Должно быть, хотите меня как последнего попа показать по телевизору», — шутил батюшка.

Даже в больницу клали на принудительное лечение. Однажды зимой повезли его, арестованного, в рейсовом автобусе. Он попросил шофера остановиться на минуту. Тот остановился. Батюшка выпрыгнул и побежал по полю. А снега было по пояс. Милиционеры поглядели на глубокий снег, да и полезли обратно в теплый автобус.

А вообще-то отца Василия защищал владыка Алексей. Тот был большим дипломатом и знал, как вести себя с властями. Он батюшку любил и ценил. За отцом Василием числилось еще два прихода. Священников не найти, а этот и по-русски и по-эстонски служил. Русских священников, знавших местный язык, — по пальцам перечесть. Эстонские начальники уважали русских, говоривших на их языке. В конце концов они решили, что отца Василия нужно считать большим чудачком и местной достопримечательностью. Во всех смыслах ценный кадр. Но проверять его и отчитываться о проделанной работе все равно надо. А вдруг к нему забредут опасные элементы — враги советской власти...

В одно, как говорят, прекрасное утро монастырек наш загудел-зашумел. К нам в котельную забежала Марковна.

— Быстро собирайтесь. Комиссия едет. Всё в сумки — и живо в лес.

По двору бегали встревоженные постояльцы. Что-то откуда-то вытаскивали и прятали в сарае. Я отнес наши матрацы в общее потайное место, и мы, что называется, с вещами побрели через песчаное поле к озеру. Оля с Марковной вскоре догнали нас. Справа, недалеко от дороги, за небольшим болотцем росли камыши. В них спряталась дюжина наших бабулек. Они составили первый эшелон обороны: молились, читали Псалтирь. На песчаном холмике лежали, глядя на дорогу, дозорные. Они должны были оповестить народ, когда появится проверка.

Мы добрались до озера, где, пугая дачников, устраивалась наша братия. Представьте, люди в шезлонгах, в купальниках и солнечных очках намазываются кремом для загара. И вдруг появляется толпа женщин в черных платках и черных до пят юбках, распеваящих: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!» Часть этой толпы небольшими группами по несколько человек устремляется в лес, но основные силы остаются на пляже. Молодые барышни разоблачаются до купальников, а пожилые залезают в воду в платьях и ночных сорочках. В тени устраиваются дежурные молитвенницы и начинают громко, чтобы заглушить музыку из транзисторов дачников, читать Давидовы псалмы. Картина в советской действительности редкая. Даже для вольнолюбивой Эстонии.

В этот день мы вдоволь накупались и собрали трехлитровое ведро черники. Я даже поймал руками небольшого сомика. Он метался по мелководью, и я как-то сумел его схватить. Никогда ни до ни после мне не удавалась подобная рыбалка.

В пять часов дали отбой. Народ потянулся обратно к храму. Свидетелей облавы оказалось немало. Несколько дней только о ней и говорили. Галя, имевшая право сопровождать батюшку как помощница, рассказала, что ожидание было долгим. Ждали с утра, а они только после обеда приехали. Оставшийся на хозяйстве народ истомился, уже и дозорный спустился с крыши, как вдруг возле храма остановились две «Волги». Главный начальник, не проверявший батюшку более двух лет, опешил, увидев новые дома на территории храма.

— Чего это ты, гражданин Борин, понастроил? — обратился он к отцу Василию.

— Как чего? Все, что нужно в хозяйстве.

— Какое у тебя хозяйство? Тебе разрешили дом для проживания построить, а ты целых четыре отгрохал.

— Никак нет. Один, а не четыре.

— Какой же один! А это что?

— Это гараж.

— Зачем тебе гараж? У тебя и машины нет.

— Зато у вас есть. Вот щас поставим, и никто не угонит.

— Не надо куда ставить. И так не угонят.

Проверяющие подошли ко второму дому.

— А это что за дом?

— Это, граждане начальники, не дом, а техническое сооружение — водокачка.

— Какая еще водокачка, когда жилой дом.

— Это только кажется. Мы водокачку так оборудовали, чтоб, к примеру, вам отдохнуть где было. Вот зайдете, мы вам чайку подадим. Попьете и отдохнете, как люди.

— Ты нам зубы не заговаривай. Мы не отдыхать приехали.

— А это что такое? — Начальники подошли к третьему дому.

— А это, дорогие мои, морг.

— Какой еще морг?

— Натуральный. Мертвецкая, значит. К примеру, помрете вы. Не дай Бог, конечно. Куда же я вас дену. А тут — пожалуйста. Красота. Лежи — не хочу. Я вас и отпою. На то я и поп. На то она и церковь. Всякий человек покойником бывает. Начальником не всякий. А покойником — извините, товарищи...

После этой тирады начальники, плюясь и чертыхаясь, завалились в храм. Оглядели обшарпанные стены, залатанные на скорую руку проломы в стенах и крыше и, не испытав никакого удовольствия от увиденного, пошли за ограду.

Отец Василий напрасно приглашал их чайку попить. На его счастье, матушка Варвара накормила их великолепным обедом в монастыре, куда они заехали по пути в Васьк-Нарву. Пить чай у отца Василия они отказались. Главный потребовал документы на новострой.

— Это вы, дорогой Валентин Степанович, у старосты требуйте. Я в этом ничего не понимаю.

Главный начальник в сопровождении самого въедливого чиновника, который все время что-то нашептывал ему на ухо, тронулись через песчаное поле к дому старосты. Остальные члены комиссии остались у машин курить.

Отец Василий забрался на каменную ограду и, крестя им спины напрестьольным крестом, стал в голос молиться.

— Господи, уйми Ты этих этих врагов Твоих. Не дай им порушить дело рук рабов Твоих. Нашли на них неразумие, чтоб они сами не поняли, чего ради сюда приехали.

Галина стояла рядом с бабушкой и потом рассказывала, как проверяющие взойшли на крыльцо. Открылась дверь и вышел староста. Он о чем-то с ними говорил. А те минут через десять развернулись и побрели по песку в сторону леса. Из машины, на которой они приехали, выскочил шофер и побежал в их сторону, что-то крича и размахивая руками. Проверяющие остановились, развернулись и пошли в его сторону. Так и уехали.

Вечером отец Василий рассказал после молитвы об этом происшествии. Он стоял на амвоне с крестом и смешно показывал, как крестил начальство и молился об умягчении их сердец и затуманивании их мозгов. Народ показывался со смеху. После отца Василия слово держал староста. Он рассказал о том, что произошло на крыльце его дома.

— Слышу стук в дверь. Громко стучат. Требовательно. Открываю. Вижу знакомые физиономии. Я поздоровался, спрашиваю, чем могу помочь. А они стоят и молчат, как пришибленные. Я спрашиваю, может, что случилось. Главный лоб наморщил — пытается что-то вспомнить. А второй стоит, молчит и на босса со страхом поглядывает. А тот вдруг как матюгнется. Развернулся, да и пошел в лес. Я кричу: «Храм в другой стороне». А они бредут как во сне. Может, выпили лишнего.

«Это сила бабушкиной молитвы», — заговорили со всех сторон.

Бабушка махнул рукой: «Подхалимов не люблю. Никто, как Господь. На сей раз отвел».

Публика в Васк-Нарве была настолько разная, что даже представить трудно. В основном это были люди простого, не умственного труда. Интеллигенты не задерживались. На кухне с неделю подвизалась одна дама из южного города. Она была в своем городе большой начальницей. Но старалась это скрыть. Скрыть не удалось — уж больно характерные у нее были повадки. Готовить она то ли не умела, то ли злоба ее постоянно душила. Есть ее стряпню никто не мог. Это было удивительно. Из тех же круп и картошки ее сменщица готовила очень вкусные каши и супы.

У этой начальницы погиб в автокатастрофе сын. Она рассказывала, что жил он распутно, на широкую ногу. Эту ногу обеспечивала ему она. Отец Василий сказал ей: «Забаловала до смерти, теперь отмаливай!» Не знаю, как уж она отмаливала, только хватило ее ровно на неделю. Уезжала она очень недовольной оттого, что «потратила много времени на придурков».

Бабушка после ее бегства часто говорил: «Вот вам и угольное ушко. Даже на храм денег жалко. А на пьянки сынка да на его грязную жизнь давала щедро».

Другая дама из «непростых» ходила вся в черном в старорежимной шляпке с вуалью. Она следила за собой. Ей можно было дать и сорок и все семьдесят. Однажды она подошла ко мне и на ухо прошептала: «Зря они его так все не любят. Он ведь хороший. Вдохновение нам дает». Нетрудно догадаться, кого она имела в виду. Эта дамочка тоже не задержалась. Жить со всеми в спартанских условиях она не могла — снимала комнату в поселке. Приходила днем и по вечерам. Поприсутствовала на одной отчитке. Но не до конца. Пришлось для нее отпирать двери. Бабушка обычно запирает храм. Ходила эта дама задумчивая, томно поглядывая на молодых мужчин. Особенно ей понравился двухметровый мордвин Серега. Ему она назначила романтическое свидание на берегу реки. Она сидела в чужой лодке, привязанной к мосткам, Серега пристроился на мостках. При свете луны она читала ему стихи. Романтик из Сереги получился неважный. Поэзию он попросту не понимал, но, когда услышал зарифмованные строки, в которых дамочка благодарила денницу за то, что он избрал ее для «счастья и вдохновения», кое-что все же понял. Что с ним случилось, он и сам не мог объяснить. Только дамочка оказалась в воде, а он, оглашая окрестности громкими стонами,

помчался к батюшке исповедоваться. Наутро «завуалированная» романтическая особа исчезла. По ее поводу батюшка тоже много чего сказал. Такие персоны вынюхивают, что делают те, кто борется с их кумиром.

Самому врагу нечего вынюхивать. Он и так все знает. А вот его адептам для чего-то надо появляться там, где его пытаются изгнать.

Была в нашем монастырьке настоящая монахиня. Очень мрачная. Она пыталась удерживать язык: болтливость была главной страстью, с которой она боролась. Но почему-то все знали ее тайну. Ее по ночам посещал вражина. Когда она рассказывала об этом, создавалось впечатление, что она этим хвастает.

Обо всех вспоминать нет нужды. Многие серенькими мышками пробежали через батюшкино владенье. Даже без особого писка. Другие сотрясали округу и оставляли после себя надолго недобрую память. Однажды появились два друга: один — однорукий, на деревянной ноге. Другой — при всех членах, но с большими потерями по психической части. Они проявляли такую свирепость, что даже мордвин Серега терялся и норовил куда-нибудь спрятаться. Как-то после трапезы безногий так отходил своего товарища деревянной ногой, что пришлось вызывать «скорую помощь». Заодно вызвали и милицию.

Событий за месяц нашего пребывания в Васк-Нарве произошло немало. На их фоне даже празднование престольного праздника — Ильи Пророка с приездом владыки Алексия прошло скромно. Безо всякой помпы. Владыка вел себя совсем не владычно. Со всеми поговорил, обошел батюшкины владения (даже на крышу хотел по шатким мосткам подняться, но его отговорили). Отслужил литургию, благословил всех. Детишек, да и кое-кого из взрослых, склонившихся под благословение, погладил по голове. Всячески старался обласкать болящих. После службы в краткой проповеди просил народ побережь батюшку: «Он ведь не только пастырь добрый и молитвенник о вашей здравии, но еще и храмостроитель. Он у нас один такой на всю епархию».

Точно не помню, но, кажется, отец Василий учился в питерской семинарии год или два одновременно со своим будущим архиереем и Патриархом.

Об отце Василии говорили, что за ним постоянно приглядывали стукачи. Он пытался молиться по ночам, но ему запретили под страхом изгнания из семинарии. Часто он пропускал трапезы, чтобы остаться наедине и помолиться Богу.

Так он начинал свое служение. Подвиг, который он взял на себя в зрелые годы, был под силу большим подвижникам. Ему пришлось воевать не только с духами злобы поднебесной, но и с бесами во плоти. И от начальства доставалось отцу Василию, и от бесноватых. Кое-кто даже бивал батюшку. Но он не отчаивался. Все терпел. Часто юродствовал, понимая, что только так можно отбить атаки коммунистов. И сам говорил об этом: «Пусть лучше они думают, что дурачок с дурачками тешится. А если всерьез, то не жди пощады. Разгромят всерьез».

Я благодарен батюшке за многое. Я увидел настоящего, бескорыстного и бесстрашного воина Христова. В свои семьдесят лет он без сна и отдыха занимался людьми, от которых отказались и родные и общество. Он утешал и заботился о совершенно отверженных людях. Никому до них не было дела, кроме него. Это было особое проявление мужественной любви. Без внешней демонстрации. Без сюсюканья и желания понравиться, без старания получить что-нибудь для себя. Власти распускали об отце Василии всякие слухи. Будто бы забота о бесноватых приносит ему приличный доход.

Доход выражался в посылках с крупами, сухофруктами и сахаром. Их присылали для прокорма больных такие же больные. С продуктами тогда

были проблемы, и уезжавшие от батюшки присылали что могли. Когда я впервые попал в кладовку, где хранились припасы, меня поразила всеохватная география адресов. На посылках были адреса отправителей из Сибири, Владивостока, Камчатки, Кубани, городов Центральной России и северных областей. Почему-то особенно много было посылок из Украины, особенно Донбасса. К батюшке приезжали с Кавказа. Он всем был рад, со всеми находил общий язык, со всеми вел себя ровно, никого не производя в любимчики. У него, конечно, были духовные чада. Им он уделял немало времени.

Приезжавшим просто отдохнуть он по апостольскому правилу позволял три дня побездельничать и покупаться. Но потом посылал на послушания. Если кто-то неоднократно нарушал заведенный порядок, изгонял, несмотря ни на какие проклятия и угрозы.

В Васк-Нарве я получил первый серьезный урок практического богословия. Убедился в том, что Бог есть, что Он рядом и всегда готов помочь. Стоит лишь сделать шаг навстречу Ему, как Он сделает десять шагов навстречу тебе и, как любящий Отец, все простит, утешит и исцелит. До Васк-Нарвы я получал другие уроки: ходил в семинарский храм и слушал по средам замечательные проповеди ректора епископа Кирилла (нынешнего Патриарха).

В Васк-Нарве я узнал, что есть и другая проповедь. Жизнь отца Василия — сама действенная проповедь христианского служения.

А его ежевечерние беседы и рассказы тоже были своеобразной проповедью: бесхитростными и мудрыми. Он просто рассказывал о том, что видел, чему был свидетелем, на какую мысль его навел тот или иной случай. Он учил народ приглядываться ко всем проявлениям жизни:

— Смотрите вокруг внимательно и читайте Книгу, написанную самим Господом Богом. Только внимательно читайте. У меня вот нет времени смотреть по сторонам. Только ваши физиономии вижу. Но и от вас многому учусь. А вчера наблюдал за мальчишкой с удочкой. Сидит, на поплавок смотрит. А что такое поплавок? Это же мне подсказка, что поп должен быть ловок. Ловким. Господь первыми призвал рыбаков. И чудеса у него были многие связанные с рыбной ловлей. И статир из рыбы достали. И сто пятьдесят и три больших рыбин по глаголу Его вытащили апостолы. А ведь без Него трудились впустую. И рыба («ихтиос») была тайным знаком христиан. Вот и каждый священник тоже рыбак: из моря греха вылавливает погибающие души и должен вести их ко спасению. Так что мне, попу, на роду написано сидеть у Божией реки и следить за поплавком.

Отец Василий показал, что духовный мир реален. И главное, что вера и любовь живы в нашем безлюбом, катящемся в пропасть мире. И только эта вера удерживает нас от окончательной гибели.

Я был у отца Василия пять раз. Дважды гостил у него по месяцу. Один раз привозил к нему двух священников из Омской епархии. С ними я познакомился во время съемок фильма о Сибири. В последний раз навестил его с одной знакомой. Она хотела привезти к нему больного сына. Мы сидели в его каморке. Нам подавала чай молоденькая девушка с очень приятным, кротким лицом.

Когда она вышла, батюшка спросил меня:

— Не узнал?

— Кого?

— Любушку.

— Какую Любушку?

— Ту самую, которая десять мужиков заваливала.

— Десять — не видел, а четверых точно валила, как малых деток. А где она? Что с ней?

— Да вот же она.

В комнату снова вошла миловидная барышня. Она улыбнулась:
— Не помните меня? А я вас помню. И за Петю вашего молюсь.
— Ну, конечно, помню, — сказал я не раздумывая.

Но поверить в то, что это та самая Любушка с лицом топориком и глазами, сведенными к переносице, никак не мог. У этой девушки и лицо было как лицо: худенькое, но не остренькое. И глаза на месте. Даже довольно широко расставлены.

— Вот, — сказал торжествующе отец Василий. — Пожила со мной годик, помолилась — и гляди: враг оставил. Причащается спокойно. Никаких приступов. Красавица! Я ей и женихов подыскал. Не хочет. Говорит, Христова невеста.

Оленька тоже выздоровела. Подвизается в одном из монастырей. Марковна вскоре умерла. Перед смертью позвонила мне, сказала, что просит прощения и скоро «уйдет домой». Я жалею, что почти с ней не общался. Иногда встречал ее в питерских храмах на престольных праздниках. Время от времени вижу батюшкиных пасомых. Ведут они себя в храмах тихо.

Когда Эстония отделилась от России, несколько раз собирался навестить батюшку. Да так и не собрался. Один раз с гдовской стороны Чудского озера долго смотрел на крест восстановленного отцом Василием Ильинского храма. Хотел подъехать поближе к берегу, но не пустили пограничники: запретная зона. Граница. Грустно.

ПОСТСКРИПТУМ

Об отце Василии Борине и о том, как жилось в его неординарной обители, я хотел давно написать. Хотел, но побаивался. Духовник Пюхтицкого монастыря архимандрит Гермоген вообще не советовал без нужды появляться в Васк-Нарве. Для людей без серьезного духовного опыта общение с батюшкиными постояльцами чревато большими опасностями. И все же я дерзнул и взялся за электронное перо.

Портрет священника всегда будет неполон, если не почувствуешь его сердца, не поживешь под его водительством. Я не уверен, что несколько теплых бесед с отцом Василием и сравнительно долгое наблюдение за ним позволило мне описать его абсолютно верно. Да простят меня отец Василий (Царство ему Небесное!) и те, кто был ближе меня к нему, если я согрешил против истины. Мои реконструкции его речей, конечно, не расшифровка диктофонных записей. Воспроизвел, как запомнил. Я старался передать атмосферу и запомнившиеся факты. Многого не стал описывать. Да и нельзя это поверять ни бумаге, ни компьютеру. По неофитской прыти мне хотелось скорейшего выздоровления сына. Но этого не произошло.

Батюшка с самого начала предупреждал меня, чтобы я умерил свои желания и не досаждал Богу преждевременными просьбами.

С Петей все же произошло определенное чудо. Он был неконтактен. Весь в себе. Никто ему не был интересен. Теперь — наоборот. Он всех любит. С ним очень трудно гулять: со всеми встречными здороваются и подают руку. Некоторых норовит поцеловать. Был мрачен и угрюм. Теперь всегда улыбается. Его трудно было причащать. После Пюхтиц и Васк-Нарвы его трудно удержать: расталкивает народ, чтобы первым подойти к Чаше.

«Дух прав обновился в утробе его». Я благодарен Богу за это. У Пети своя миссия. Он показывает, как нужно радоваться при встрече с людьми тем, кто и с соседями не здоровается.

Я попросил нескольких человек, кто в разное время побывал в Пюхтицах и Васк-Нарве, поделиться воспоминаниями об отце Василии. К моему удив-

лению, все опрошенные помнили лишь атмосферу и общую картину. Один архимандрит рассказал о беседе с отцом Василием. Тот приказал ему (тогда молодому иеромонаху) никогда не заниматься отчиткой. И еще он сказал, что не надеется по своей немощи изгнать из человека мучителей-бесов, а лишь просит Бога облегчить страдания бесноватым. Ну а если удастся помочь кому-нибудь полностью избавиться от «квартирнта», то никогда успех не приписывает себе. Никто, как Господь. Не дай Бог почувствовать себя великим праведником.

Моя приятельница, однажды посетившая Васьк-Нарву, рассказала следующее.

Как только батюшка запер двери, со всех сторон стали раздаваться стоны, крики и, как она выразилась, «звукоподражания котам, петухам, собакам и прочим тварям». Батюшка громко приказал: «А ну тихо! Кто тут у вас главный бес?»

И вдруг сублильная дама, стоявшая рядом с ней, громоподобным басом проревела: «Ленин». Это было и смешно и страшно. В конце семидесятых годов так не шутили. А если и шутили, назвав Ленина бесом, то прямехонько попадали в мордовские лагеря для политических.

Батюшка иногда рассказывал о войне, но мне не пришлось услышать эти рассказы. Знаю только, что его, как и всех более или менее здоровых молодых людей, живших в Эстонии, немцы призвали в армию. Но служил он в каких-то вспомогательных частях и в боях не участвовал.

Расспрашивать о войне эстонских жителей было небезопасно. Одну часть успела забреть в солдаты отступавшая Красная Армия, другая попала в немецкие войска. Некоторые даже служили в СС.

Несколькими годами раньше, до приезда в Васьк-Нарву, я проехал по старообрядческим деревням с моим другом — сотрудником древлехранилища Пушкинского Дома Глебом Маркеловым. Он надеялся найти старообрядческие рукописные книги. Улов оказался скромным. В одной из деревень мы встретили поэта Евгения Рейна, сопровождавшего своего приятеля — собирателя икон и живописи. Рейн рассказал о постигшей его спутника неудаче. Тот накануне их поездки в Эстонию приобрел две картины Куинджи. Оказалось, что этот «Куинджи» живет в городе Изюме Харьковской области и выдает в день по несколько шедевров.

С этим коллекционером и Рейном мы провели вечер в каюте стоявшего на приколе катера. Они пытались разузнать у хозяина плавсредства, у кого есть ценные древности. Достали водку. Вскоре подошел еще один потенциальный информатор из местных русских. Насколько я понял, ничего путного узнать от них не удалось.

Зато после третьей выпитой честной компанией бутылки мы стали свидетелями старой «разборки».

Один из потомков блюстителей чистоты веры неожиданно обратился к своему земляку:

— А помнишь, как мы вломили вам под Великими Луками?!

— Зато мы вам... — далее шло название неизвестного мне местечка.

Оказалось, что один из них служил в Красной Армии, а другой — в войсках вермахта. Им было что вспомнить.

Так что о войне я отца Василия не расспрашивал. Зато был свидетелем одной беседы с молодым человеком, приехавшим к отцу Василию за советом. Этот девятнадцатилетний товарищ надумал жениться на тридцатилетней женщине с двумя детьми. Они уже год как живут вместе, а муж при этом не дает жене развод.

Батюшка выслушал рассказ влюбленного юноши и говорит:

— А что ты от меня хочешь? Благословения на прелюбодеяние?

— Да нет. Духовного совета.

— Так беги от нее без оглядки. Вот тебе мой совет.

— Но мы любим друг друга. Я без нее жить не могу. И она без меня.

— Да она ж без тебя уже двоих родила от законного мужа. Значит, может и без тебя жить. Сейчас тебя любит. Завтра другого полюбит.

— Нет. У нас — это на всю жизнь.

— А чего ты ко мне тогда приехал, если знаешь, что у тебя будет на всю жизнь. Это мне тогда надо у тебя советов просить, если ты такой прозорливый.

Юноша смутился и молчал.

— Беги от нее. И телефон ее забудь. Она тебя через три года съест — и только перья от тебя останутся.

— Да как вы можете о ней так говорить?! Вы же ее не видели.

— Я тебя видел.

Через три года я встретил этого молодого человека на Невском проспекте. Он и вправду был съеденным — не съеденным, но каким-то обглоданным. За три года он страшно постарел и в двадцать два года выглядел на все тридцать пять.

Вместо кудрявого блондина передо мной стоял человек с плешью до середины головы. Как говорил батюшка, «только перья останутся». Прическа его действительно походила на остатки оперения. Он производил впечатление не только обглоданности, но и общипанности. Пророчество батюшкино сбылось.

А тогда он переправился с помощью местного «Харона» со своей дамой сердца на другую сторону Наровы и отправился по местному «Золотому кольцу» в поисках старца, который бы благословил его на воделенный брак. Он собирался добраться в село Каменный Конец к отцу Василию Швецу, а если тот не благословит, то в Печоры к отцу Иоанну Крестьянкину.

Тщетно я пытался убедить его послушать отца Василия и не искать по миру старца, который исполнил бы не Божию, а его волю. Боюсь, что он все же нашел и уканючил какого-то батюшку...

А маршрут он избрал прекрасный. Отец Василий рекомендовал своим «неодержимым» гостям после трехдневного пребывания в Васк-Нарве отправляться на богомолье в Печоры, по дороге заходя в то, что осталось от нескольких обителей. Прежде всего — в Спасо-Елиазаровский монастырь, где родилась столь любезная многим сердцам формула «Москва — третий Рим». По пути можно посетить Кобылье Городище — древний погост неподалеку от места Ледового побоища. Доплыть до острова Залита, где подвизался старец Николай Гурьянов. Потом храмы и монастыри Пскова, Изборска, дивная церковь в Малах. Такое паломничество для новоначальных было великим пособием для постижения тайны и сути Православия. Так что батюшка Василий был еще и просветителем и благодатным «турагентом».

Похоронен он у алтаря восстановленного им храма Ильи-Пророка. Я узнал о его кончине только через месяц после его похорон. А храм вместе с постройками превращен стараниями матушки Варвары и пюхтицких сестер в скит Пюхтицкого монастыря. Батюшка говорил матушке Варваре: «Для тебя скит выстроил».

Мало кто из сестер верил в это. От России их отрезали. Кому еще скит понадобится?! Но понадобился. Стоит. Говорят, очень красивый. И это батюшкино пророчество исполнилось.

ДМИТРИЙ РУМЯНЦЕВ

ОМСК. ВОКРУГ ПЕРВОЙ ЛИНИИ¹

Здесь Достоевский мыкал муку,
сходил с ума...

Теперь здесь есть
автобус тихого маршрута —
66-й, везущий друга
в рейс — до палаты № 6.

Кривая, в общем-то, дорога.
Свихнись, начни считать убого —
и Зверя сложится число.
Сюда несчастных занесло,
утративших надежду... Бога?..
и человечье естество.

В маршрутах линий на ладони
сечется линия ума.
Стоят с решетками дома.
Зима белеет на иконе.

И я кривым своим умом,
когда иду здесь волей буден,
припоминаю Горний дом.
Кто первым будет там, кто будет
последним?

¹ На Первой линии в Омске находится клиническая психиатрическая больница.

Дмитрий Анатольевич Румянцев (род. в 1974 г.) — поэт, автор стихотворных сборников «Жребий брошен» (Омск, 1999), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011). Лауреат Всероссийской премии им. В. П. Астафьева (2006). Дипломант Международного литературного Волошинского конкурса в Коктебеле (2007). Живет в Омске.

ИНТЕРНЕТ

Как Льстивый искушал Христа,
возвел на Храм и молвил: «Иди!» —
даль мониторная пуста.
За ней — туман. И путь невиден.

И в Интернет, как в интернат,
мы входим сиротами. Ищем
запас тепла, сердечной пищи...
...игры ума, земных усад.

Ворота мира широки,
и только тот, кто не всеяден,
узнает Божьи островки
сквозь этот черный свет тоски
и копошенья мерзких гадин.

В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ

Ночь мину́ла, день начат молитвою.
Храм — ответ на проклятый вопрос:
у Оранты и у Одигитрии
на груди большеглазый Христос.

Было трудно, но чудо случается,
а о главном пока умолчим.
В каждом сыне замешано таинство,
и однажды сбывается — сын.

Здесь и смерть — музыкальная пауза
в листопадном хорале аллей.
Немота — только глупая кляуза
на бессмертие воли Твоей.

Если мы — слепок света, подобие —
дольний мрак тает в точке свечи.
Хромосомный набор, как мелодия,
и за нами в потомках звучит.

К 200-летию БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ

ВЛАДИМИР ЛАПИН

ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ «ВЕЛИКОЙ ГОДИНЫ»

17 января 1904 года в Московском Художественном театре состоялась премьера драмы А. П. Чехова «Вишневый сад». В уста Леонида Андреевича Гаева, брата помещицы Раневской, автор вложил следующие слова: «Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки как-никак книжный шкаф». Почтенный возраст мебели даже вдохновил Гаева на следующую речь: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания». Есть все основания предполагать, что в тот момент в зале раздавались аплодисменты и смех. Что же так веселило публику? В начале XX столетия Россия пережила череду празднований памятных дат, которую с полным основанием назвали юбилееманий.¹ Начиная со 100-летия рождения А. С. Пушкина (1899) и до Первой мировой войны страна ежегодно с большой помпой отмечала двухвековые, вековые и полувекковые годовщины событий, занявших заслуженное место на страницах энциклопедий. Внимание к прошлому достигло такого градуса, что отмечались трехлетия артелей и семилетия женских гимназий. Разумеется, наибольшего внимания удостоивались значительные вехи в истории России: 200-летие Полтавской битвы и основания Петербурга, 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина и смерти А. В. Суворова, 50-летие отмены крепостного права и обороны Севастополя. Финалом стало помпезное празднование 300-летия дома Романовых в 1913 году. Однако самой яркой сценой грандиозного спектакля, который мы рискуем назвать «Память России», следует признать 100-летие Отечественной войны 1812 года.

Это было действительно национальное и государственное торжество — победа над Наполеоном, титаном, покорившим до того всю Европу, а с учетом представлений начала XX столетия о мироустройстве — покорившим

Владимир Викентьевич Лапин (род. в 1954 г.) — доктор исторических наук, зав. отделом новой истории Санкт-Петербургского Института Российской истории РАН. Автор книг «Семеновская история 16—18 октября 1820 г.» (Л., 1991), «Петербург. Запахи и звуки» (СПб., 2007), «Армия России в Кавказской войне XVIII—XIX вв.» (СПб., 2008), «Цицианов». Серия ЖЗЛ (М., 2011) и др. трудов по русской военной истории. Живет в С.-Петербурге.

весь мир! Напоминаем, что императора французов в 1807 году официально именовали Антихристом, то есть существом, способным бросить вызов самому Всевышнему! Православное воинство сокрушило военную мощь «латинян», которым удалось дойти до Москвы, до самого сердца державы и осквернить национальные святыни. Воздаянием за это стало вступление русской армии в Париж в 1814 году.

Принципиальным отличием Отечественной войны 1812 года от прочих вооруженных конфликтов России с другими державами было вовлечение в нее гораздо более широких кругов общества, нежели это наблюдалось ранее. И вовлеченность здесь понимается не только как прямое действие, но и как персональное сопереживание. Важным стало и усиливавшееся после изгнания Наполеона представление многих россиян о личном участии в историческом событии мирового масштаба. Все это привело к формированию совершенно особой, практически непрерывной линии увековечивания «Великой години». Одним из первых и самых значительных достижений на этом пути стало открытие 25 декабря 1826 года, в день памяти изгнания полчищ Наполеона из России, Военной галереи Зимнего дворца. Празднование ее 100-летия в 1912 году можно рассматривать как своеобразное подведение итогов векового процесса складывания образа Отечественной войны 1812 года в национальном сознании.

Имена героев, названия мест, где происходили судьбоносные для страны или нации сражения, обычно составляют символический ряд, который обозначает контуры картины прошлого в том виде, в каком его воспринимает массовое историческое сознание. Такой «военно-патриотический» блок исторической памяти включает в себя набор из нескольких десятков событий, имен и топонимов, образующих более или менее стройный иерархический ряд. Отечественная война 1812 года в целом и ее детали занимают важное место в сознании россиян. Бородино, Кутузов, Багратион, Барклай, партизан Давыдов, Василиса Кожина, пожар Москвы, Малоярославец, Березина — все это стало символами, объединяющими нацию, поскольку абсолютное большинство воспринимает их пароллями отечественной воинской славы.

Празднование годовщин важнейших событий в истории государства превратилось в России XVIII — начала XX века в традицию, причем в традицию не выросшую из народного быта, а сформированную усилиями правительства на основе европейских образцов. Сценарии этих празднеств не имели особых отличий от того, чем наполнялись иные церковные и светские праздники (парады, фейерверки, высочайшие приемы, молебны, крестные ходы, установка памятников, изготовление медалей, награждения и милости, народные гуляния и пр.). Юбилеи занимали свое место в календарях, оказывая заметное влияние на формирование представлений об «организации времени». Правительство этими пышными юбилейными торжествами преследовало вполне определенные политические цели, предлагая подданным забыть о недавних поражениях в Русско-японской войне и потрясениях последовавшей за ней революции.

Представления памяти о былых победах как о средстве «клиотерапии» в однотипных формулировках «гуляли» в 1912 году по страницам популярных изданий: «В славных страницах нашей истории, запечатлевших событие 1812 года, мы можем найти успокоение в дни тревог и невзгод, можем почерпнуть надежду на славное счастливое будущее нашего отечества».² Событийная сторона истории Отечественной войны 1812 года не вызывает особых споров между историками, поскольку действия обеих враждующих сторон отражены в огромном количестве документов разного характера и происхождения. Полемика ведется вокруг трактовки явлений и персон. Уже вскоре после изгнания Наполеона Бонапарта из России участник похо-

дов и сражений Федор Глинка в самой сжатой форме указал линии, по которым пошел процесс увековечивания «Великой години» (скорее всего — без постановки такой цели). Он писал: «Война 1812 года неоспоримо называться может *священной* (курсив автора. — В. Л.). В ней заключаются примеры всех гражданских и всех военных добродетелей. Итак, да будет История сей войны <...> лучшим похвальным словом героям, наставницей полководцев, училищем народов и царей».³ Слова авторитетного военного писателя о том, что история Отечественной войны 1812 года является «наставницей полководцев», — ключ к пониманию причин столь пристального внимания к ней со стороны военных историографов. В пять месяцев уместилось несколько разнотипных военных операций. Здесь и отступление с висящим на плечах противником (отход 1-й и 2-й армий), и отказ от идеи обороны с опорой на укрепленный лагерь (Дрисса), и бой при крупном городе-крепости (Смоленск), и попытки контрударов (июльские операции русской армии), и генеральное сражение небывалых ранее масштабов (Бородино), и действия на второстепенных театрах (Рига, Полоцк, Луцк), и широкомасштабная малая война с активным участием в ней населения, и стратегическое контрнаступление, сопровождавшееся серьезными боями (Малоярославец, Красный, Березина). Кроме того, специалистов в области военного искусства не мог не занимать знаменитый маневр, позволивший Кутузову оторваться от противника, отгородившись от него Москвой. Но не только это тематическое разнообразие делало кампанию 1812 года благодатным учебным материалом. Она закончилась триумфальным успехом «за полным истреблением неприятеля». Разумеется, последнее знаменитое выражение Кутузова не было лишено доли лукавства. Как организованная военная структура была уничтожена только армия, вошедшая в пределы России летом 1812 года. К началу же следующего, 1813 года ресурсы Наполеона I превосходили ресурсы Александра I. Тем не менее разгром полумиллионной армии в течение полугода был бесспорным фактом. Российские военные специалисты испытывали особый душевный комфорт при изучении и преподавании истории Отечественной войны, поскольку в ней что ни страница — то бальзам для национального самолюбия. Победоносные войны со шведами — не тот масштаб, разгромы турок — не слишком показательны, ибо не европейцы. В истории Семилетней войны — ряд темных пятен, Крымская и Русско-японская войны — преобладание неудач.

Глинка назвал войну *священной* — ее живым героям и могилам героев поклонялись. Все, что ее касалось, придавался сакральный оттенок. Павшие на ней представлялись мучениками за веру, а главным символом стало изображение Всевидящего Ока. В этой связи обыгрывалось имя Кутузова — его представляли архистратигом Михаилом, повергнувшим воинство Антихриста. Даже автор серьезных исследований о войне И. П. Липранди считал необходимым отметить, что 26 августа среди старших военачальников русской армии пятеро носили имя грозного святого-воителя Михаила (Кутузов, Барклай де Толли, Милорадович, Воронцов, Бороздин) и дал в примечании выписку из 12-й главы Книги пророка Даниила: «В те дни возстанет князь Михаил и ополчится за люди своя».⁴ Принимая во внимание хорошее знание библейских текстов образованными людьми начала XIX столетия, можно смело утверждать, что имя главнокомандующего связывалось со святым Михаилом, среди деяний которого — уничтожение 185-тысячного войска ассирийского царя Синаххериба, спасение Новгорода от нашествия хана Батые в 1239 году. В православной церкви этого святого именуют архистратигом, поскольку он считается вождем воинства Господнего в его борьбе с силами тьмы. В Откровении Иоанна Богослова сказано: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его

воевали, но не устояли, и не нашлось для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».⁵

«Рука Всевышнего Отечество спасла» — это утверждение стало одним из важнейших тезисов и авторитетных ученых-историков, и литераторов-любителей. Один из них написал:

В тяжелое время великой невзгоды
Ты нас не оставил, о Праведный Бог!
О русскую силу разбились народы,
И Русь пережила годину тревог!⁶

При складывании российского исторического мифа в событиях 1812 года настойчиво искали примеры гражданских и военных достоинств. И сто лет спустя слава защитников Смоленска и Москвы являлась столь солидным капиталом, что их внуки и правнуки не жалели усилий для доказательства своего родства даже с рядовыми, «никому не известными» участниками боев с французами.

Магическое значение цифр всегда привлекало внимание людей. Отечественная война не стала исключением: многие усматривали в датах этой эпопеи разного рода предзнаменования, акцентировали внимание на различных календарных совпадениях и т. д. Нет, пожалуй, человека, сомневающегося в том, что 1812 год является переломной вехой в истории России.⁷ Этот тезис имеет двойное значение. С одной стороны, действительно события той поры оказали огромное влияние на дальнейшее развитие государства и общества. С другой стороны, само представление об этой «рубежности» стало важным элементом формирования российского исторического мифа. «„До француза“ и „после француза“ — это были выражения, которые мы постоянно слышали в течение не одного десятка лет, и все от тех, кто переживал сам эту эпоху», — вспоминал человек, детство и молодость которого прошли в окружении участников и современников войны 1812 года.⁸ Особое значение придавали самой цифре «12», оставляя за скобками показатель столетий, идущий от начала летоисчисления. Двенадцатый год представлялся как двенадцатый час, олицетворявший полдень, когда солнце находится в зените. Здесь сразу рождалась ассоциация с высшей точкой российского военного и политического могущества. В другой трактовке двенадцать часов — полночь, начало нового дня как символа новой жизни. Двенадцатым месяцем завершается год — важнейший для обывателя отрезок времени, тот самый отрезок, которым измеряется его жизнь, служба и т. д. В двенадцатом месяце двенадцатого года наполеоновское воинство было изгнано за пределы России. В любом варианте цифра «12» носит ярко выраженный рубежный и символический характер. В дореволюционной России на роль таких знаковых дат, понятных «образованным слоям», претендовали 19 февраля 1861 года — день освобождения крестьян от крепостной зависимости, 14 декабря 1825 года — восстание декабристов и 17 октября 1905 года — издание манифеста о политических свободах. В этот же ряд попало и понятие «двенадцатый год», не требовавшее объяснений и сходно воспринимаемое сторонниками различных политических систем. Появление таких «календарных» формулировок отчасти объясняется лингвистической практикой, допускающей сокращения лексических конструкций до пределов, обеспечивающих достаточность их понимания. В сочетании с «магическим» действием цифр в таких случаях от выражения в несколько слов остается только дата, играющая роль пароля.

Подобно тому как история Крымской войны постепенно превращалась в историю обороны Севастополя, история Отечественной войны 1812 года

испытывала угрозу превращения в историю Бородина, если бы не было пожара Москвы и радующего русское сердце изгнания Наполеона I из пределов России. Тем не менее композиционно и в объемах текстов, по данным библиографических справочников, Бородино явно является центром конструкции, увековечивающей событие. Прочие «места памяти» (Смоленск, Молево Болото, Клястицы, Полоцк, Рига, Луцк, Тарутино, Березина, Красный и пр.) не составляют ему даже малейшей конкуренции. Доказательство того, что Бородино являлось победой именно русского оружия, было важной задачей, поскольку это позволяло говорить о военной мощи империи. Это льстило армии. Противоположный вариант означал, что французскую армию уничтожил «генерал-мороз». Признание Бородинского сражения победой русских войск позволяло в нужном ракурсе рассматривать картину оставления Москвы. Найденный вариант: при Бородине была одержана нравственная победа, Москва — жертва. Ее занятие — апогей успехов Наполеона, после чего последовало катастрофическое отступление. Моральная победа русских предшествовала их победе военной.

О «первенствующем месте» Бородинского сражения в «шкале славы» России свидетельствует его роль в коллективной памяти. Боевой историей 16-го пехотного Мингрельского полка могла гордиться любая воинская часть. Сформированный в 1763 году под названием Орловский мушкетерский, полк сражался под командованием самого Суворова под Кинбурном, в 1799 году был вместе с великим полководцем в Швейцарском походе, дрался с французами на знаменитом Чертовом мосту. В 1810 году переименован в 41-й егерский полк и переведен на Кавказ, где уже под названием Мингрельского вписал свое имя золотыми буквами в историю Кавказской войны, Русско-турецких и Русско-персидских войн. Однако 27 августа 1912 года командир полка Н. Дедов «за товарищеской трапезой» назвал именно Бородинский бой событием, «которое дает право мингрельским гренадерам гордиться своей боевой службой Отечеству и Державным хозяевам земли русской». Хотя предыдущие подвиги полка и были помянуты, но они представлялись некой «подготовкой» к великому подвигу на Бородинском поле, где «егеря 41-го полка окончательно укрепились в сознании своей мощи, мощи великой русской армии и в дальнейших боях их победные знамена всегда грозно развевались пред врагом, соревнуя в славе с своими старейшими соратниками».⁹

Прославление Бородинского сражения, присвоение ему первенствующего значения среди битв, которые России пришлось пережить в своей истории, отчасти связано с тем, что оно символизировало достижение империей пика своего могущества. Те, для кого данное состояние связывалось с понятием «золотого века», с разной степенью откровенности писали об этом. Пример — передовая статья в юбилейном номере «Русских ведомостей». Отказывая в какой-то военной исключительности битве 26 августа 1812 года, редакция заявляла: «Но совершенно исключительным, не повторявшимся было то положение, которое тогда вслед за событиями 12-го года заняла Россия среди Европейских держав; никогда военное могущество наше не проявлялось с такой силой; никогда международное влияние не достигало такой высоты. Это был кульминационный пункт, достичь которого стало потом надеждой многих, но надежда так и осталась несбыточной мечтой».¹⁰ Придание бородинским торжествам характера юбилея всей войны объясняли тем, что в коллективном сознании россиян 26 августа 1812 года был предрешен не только исход кампании, но и всей истории начала XIX столетия: «На Бородинском поле он (Наполеон. — В. Л.) увидел закат своей „счастливой звезды“». Вполне естественно поэтому соединить со столе-

тием Бородинского боя празднование юбилея всей Отечественной войны. С этого дня гибель Наполеона явилась неизбежной. Спасения уже не было...»¹¹

Одной из заметных линий как в историографии, так и в коллективном историческом сознании была идея скифской войны. Во-первых, автоматически снимался вопрос о военной инициативе Наполеона: получалось, что великий полководец шел туда, куда его «заманивал» противник. Во-вторых, отступление из маневра, сомнительного по части сохранения воинской доблести, превращалось в целенаправленное волевое действие. Подтверждением целесообразности такой стратегии являлась гибель наполеоновской армии. В-третьих, признание существования «скифского» плана подкрепляло тезис об особой роли народных масс, дополнительно героизировало партизан. Привлекательность этому варианту придавало и то, что россиянам было лестно считать себя потомками скифов, с такой симпатией описанных античными авторами. Устанавливалась связь (трудно сказать, насколько осознанная) с древним миром, традиционным источником положительных и отрицательных примеров. Можно здесь разглядеть и намек на историческую глубину корней жертвенности России. Смоленский помещик Энгельгардт, узнав о триумфальном шествии прусских войск во время Франко-германской войны 1870 года, в своих записках пообещал в случае пришествия неприятеля на его землю «все сжечь», а негорючее зарыть, спрятать и побросать в колодцы. Восторг россиян по поводу знаменитого стихотворения Александра Блока — еще один веский довод в пользу привлекательности скифских мотивов. О привлекательности такого способа ведения войны для широкого круга россиян свидетельствует опубликованное в «Русском знамени» в 1912 году стихотворение Михаила Румянцева «Сто лет назад».

Собралась деревня... Галдят мужики:
«Как быть, православные, наши полки
Уходят... и нам не пристало здесь ждать,
Не хлебом же с солью французов встречать!
Избави нас Боже! Повадки такой
Во век не водилось на Руси святой,
Не так-то податлива наша земля:
Недаром костями белеют поля!

Оружия нету, так встретим дубьем,
Деревню покинем, в лесу проживем...
Ну, с Богом, родные, добро забирай,
Что взять не под силу — в землю зарывай...
А как же с деревней? Ужли оставлять
Нам, братцы, квартиры для ихних солдат?
Сожгем! Все на ветер! Не им и не нам!
Ни хлеба, ни крова не будет врагам!»¹²

Скифская идея переплеталась с символами жертвенности и очищения огнем. Собравшиеся 1 сентября 1912 года для освящения музея-часовни на месте военного совета в Филях услышали в одной из речей: «Присутствуя здесь, мы вспоминаем, как лилась кровь защитников Отечества под стенами Смоленска, как от громов смертных трепетали поля Бородинские, как западные полчища, бряцая саблями и громохая орудиями, подходили к Москве, и как наши предки собственными руками зажгли свою столицу, и она, дымясь, воспламенилась, как огненное море, а сами удалились в леса и говорили: „еще далеко до победы“».¹³

Вопрос о «народности» Отечественной войны 1812 года был дискуссионным с момента своего возникновения по различным причинам. До того вре-

мени военные операции вела исключительно армия, поскольку на территорию России нога вооруженных иноземцев не ступала со времен Смуты. События Северной войны можно оставить за скобками: шведские отряды проникали только в редконаселенные приграничные уезды Новгородчины, а Украина, куда вторгся Карл XII, еще не вполне воспринималась как интегрированная часть империи. Контакт с интервентами в 1812 году стал совершенно новым опытом для российского мирного обывателя. Впервые его имущество и сама жизнь подверглась реальной угрозе. Военное дело было полностью монополизировано государством, русский народ был совершенно демилитаризован (отсутствие навыков владения холодным и огнестрельным оружием, навыков военной организации, низкий статус отставного военного в обществе и т. д.). Для России начала XIX столетия мужик с мушкетом — гораздо большая невидаль, чем барин с вилами. Последний мог побаловаться с нехитрым инструментом в погожую погоду на сенокосе, а вот первого за шалости с ружьем могли серьезно наказать. В отечественной историографии недостаточно оценен сам радикализм этого явления — участие представителей податного сословия в организованном и при этом не контролируемом властями насилии, которое, повторяем, являлось тогда абсолютной монополией государства.

Народная война действительная и миф о народной войне породили действительных и мифических героев. Образ старости Василицы не мог родиться без своего реального прототипа — бойкой деревенской женщины, привыкшей брать на себя ответственность за решение сложных вопросов. В смоленском имении адмирала И. А. Шестакова местной знаменитостью стала ключница Надежда Семеновна, которая не побоялась схватиться в рукопашную с французскими мародерами, грабившими усадьбу, и заставила их ретироваться. «Вероятно, бездельники были остановлены прибытием начальника или страхом быть перенятыми нашими отрядами; но народ, склонный приписывать успех единственно силе, возвел Надежду Семеновну в богатыри, и с нею никто не спорил».¹⁴ Образ старости Василицы многозначен. Это не только дань уважения и памяти тем бой-бабам, которые действительно взялись за оружие в 1812 году. Не менее значимым является и символическое значение этого факта для тезиса о том, что поднялся весь народ, весь «мир», в котором, как известно, женщинам выделялись далеко не первенствующие позиции. Присутствие старости в рядах ополченцев подчеркивало тотальный характер мобилизации общества. Имеет право на существование и тезис, согласно которому образ женщины-воительницы и женщины-победительницы служил для унижения французов (их-де и баба бить может, когда осердится). Как известно, человек, обижаемый супругой, скатывался на самый низ социальной иерархии. Такое — не новость в военной мифологии. Так, в легендарную историю присоединения Кавказа прочно вошла легенда о штурме станицы Наурской 10 июня 1774 года, когда казаки кипящими щами отбили вражеское нападение. Участие женщин в защите своих очагов от неприятеля не вызывает сомнений, но на Тереке это событие стало средством морального воздействия на противника: казаки охотно напоминали кабардинцам, что те не сумели справиться с бабами.

Несмотря на то что дореволюционная история России богата сражениями, четыре из них имели особое значение для отечественного исторического мифа: Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтава и Бородино. Каждое из них носило в себе культовый смысл: разгром немецких рыцарей в 1242 году был непосредственно связан со святым Александром Невским, победа над ханом Мамаем в 1380 году — со святым Сергием Радонежским, уничтожение шведской армии в 1709 году — с Петром Великим.

Общим является то, что эти битвы отбросили в тень прочие события, связанные с отражением агрессии рыцарей, избавлением от татарского ига, с изменением геополитической обстановки в Прибалтике. Бой на льду Чудского озера был не первым и не последним столкновением русских с немцами и шведами на границах Новгородского княжества, ставших затем границами Московии. Полтава разделила практически пополам Северную войну, в которой только сражений, осад и штурмов с личным участием Петра I насчитывается более трех десятков. Если посмотреть на монархическую историографию, то нельзя не заметить попыток если не поставить Александра I в один ряд с вышеупомянутыми легендарными фигурами, то приблизить к таковым императора, желавшего слыть великим воином, но в том не преуспевшего.

К 1912 году уже накопился значительный опыт увековечивания военных событий. Можно смело утверждать, что 100-летие победы над наполеоновской Францией стало своеобразным подведением итогов в этой области. Прежде всего, в преддверии 100-летия было создано или обновлено большое число монументальных сооружений. Используя военные мотивы для создания метафор, можно уподобить устные споры об исторической сути того или иного явления пылким кавалерийским схваткам, письменные полемики о том же — упорным и затяжным сражениям пехоты. Возведение же памятника — устройству бастиона, означающего контроль за определенным символическим пространством. В войнах памяти монументальные сооружения — такие же осязаемые знаки победы (установка) или разгрома (демонтаж), как строительство крепостей в покоренной стране. К 1912 году практика увековечивания с помощью разного рода монументов уже стала распространенной. Наибольшее число памятников ставилось «от казны» (инициатором и главным спонсором являлось правительство). На Кавказе в эпоху М. С. Воронцова появилось несколько мемориальных сооружений, связанных с присоединением этого края к Российской империи. Примером «корпоративного» памятника (средства собирали по подписке в основном среди моряков) стал открытый в Ревеле в 1902 году мемориал погибшему в 1893 году броненосцу «Русалка».¹⁵ Были в России и монументы «приватные». Обер-штаблмейстер В. В. Долгоруков в 1842 году поставил в Симферополе памятник своему деду генерал-фельдмаршалу князю Василию Михайловичу Долгорукову-Крымскому.¹⁶

В преддверии 100-летнего юбилея по всей России была проведена своеобразная ревизия мемориальных объектов, связанных с 1812 годом. Наибольшее количество памятников было возведено в Москве и Петербурге. Именно столицы являлись местами репрезентации военной славы державы. В 1818 году в Царском Селе установили чугунные ворота по проекту В. П. Стасова. 18 августа 1834 года состоялось торжественное открытие Нарвских триумфальных ворот. Памятником Отечественной войны 1812 года стал построенный в стиле классицизма и освященный в 1811 году Казанский собор. В нем 13 июня 1813 года было погребено тело Кутузова. По проекту архитектора О. И. Бове у Тверской заставы в 1826 году торжественно открыли триумфальные ворота. 25 декабря 1837 года перед Казанским собором, на центральном проспекте Петербурга открыли памятники Кутузову и Барклаю де Толли. В 1837 году Дорогомиловский мост, по которому вошла в Москву после Бородина русская армия и потом французы, переименовали в Бородинский. В 1912 году было возведено новое сооружение по проекту архитектора Р. К. Клейна, украшенное военной арматурой. В дополнение к этим военным символам со стороны Дорогомилова были установлены два обелиска в память воинов, павших в битве при Бородине, а со стороны Смоленской улицы — две колоннады с триумфальными фигурами в память победы русских войск в Отечественную войну 1812 года.¹⁷ Сразу после изгнания

французов из России в Кремле хотели соорудить памятник из трофейных орудий. Все три предложенные проекта забраковали из-за их трафаретности («не соответствуют высокой и прекрасной мысли»). К этой идее вернулись в 1912 году, но строительство не было осуществлено.¹⁸ В 1830-е годы вдоль цоколя главного фасада Кремлевского арсенала установили 875 французских трофейных орудий, а у южной стены этого здания — пирамиды из трофейных ядер. Эти свидетельства былых побед сами по себе составляли впечатляющий мемориал, отношение к которому в «юбилейные» дни оказалось не «соответствующим моменту». Журналист «Русского слова» обнаружил, что молчаливые свидетели русской славы заросли бурьяном, в стволах пушек и мортир — пробки и окурки. Он вспомнил гоголевского городничего: «Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт знает откуда и нанесут всякой дряни!».¹⁹ Важным мемориальным объектом стал Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, стены которого были украшены мраморными досками с названиями полков и с именами георгиевских кавалеров. В этом же зале установили восемнадцать статуй, изображавших победы русского оружия.²⁰

В деревне Фили, расположенной в двух километрах от тогдашней Дорогомиловской заставы по Можайскому тракту, где 1 сентября 1812 года состоялся знаменитый военный совет, сохранялась «кутузовская изба». В 1868 году она сгорела, и из мемориальных предметов уцелела только деревянная скамья, на которой, по преданию, сидел Кутузов. Спустя пятнадцать лет группа офицеров гренадерского корпуса выступила с инициативой установить на месте избы памятный знак, и 8 ноября 1887 года там появился пятиметровый четырехгранный обелиск, обнесенный оградой. В том же году в день Бородинской битвы по инициативе Общества хоругвеносцев Московского собора Христа Спасителя восстановили саму избу под наблюдением архитектора Н. Г. Струкова, не забыв на специальной доске отметить, кем восстановлено историческое здание. Исторический новодел напоминал типичный подмосковный дачный домик. Другим местом памяти стало Дорогомиловское кладбище, где в братской могиле покоилось около трехсот солдат. Во второй половине XIX века там были установлены гранитный обелиск, надгробия и возведена церковь.²¹ В нижегородском Спасо-Преображенском соборе хранились возложенные на гробницу гражданина Минина походные иконы и знамена Нижегородского ополчения. В новгородском Софийском соборе такое же почетное место было избрано для хоругви местного ополчения. В арзамасском Воскресенском соборе хранились знамена Арзамасской дружины. В честь победы над наполеоновскими войсками были построены соборы: Александро-Невский в Саратове, Успенский в Харькове, Воскресенский в Арзамасе, Владимирской Божьей Матери в Саранске. В 1827-м в Псково-Печерском монастыре освятили храм Михаила Архангела — патрона М. И. Кутузова. Особо примечательно строительство памятной церкви на средства одного человека: на погосте Миролубово Великолуцкого уезда Псковской губернии полковником Великопольским в 1813 году была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы.²²

В преддверии юбилея оживлялись стремления по закреплению в памяти имен героев Отечественной войны 1812 года. Еще в 1830 году на месте кончины генерала Кульнева, погибшего в сражении при Клястицах, по повелению Николая I был поставлен памятный знак. В 1832 году останки генерала по просьбе его брата перевезли в Ильзенбергскую церковь в Режицком уезде Витебской губернии. В 1893 году Гродненский и Клястицкий гусарские полки возобновили памятник в церкви на могиле Кульнева, установив там ядро, поразившее героя. В 1909 году 6-му Клястицкому гусарскому полку включили в наименование имя Кульнева. Спустя два года станция Межвиды, располо-

женная в нескольких верстах от мемориального места, была переименована в Кульнево. «Каждый русский, покидающий родину и возвращающийся обратно в Россию, иностранец, въезжающий в ее пределы, пускай вспоминают это имя, священное для каждого из нас; пока же станция Кульнево связала Варшавскую линию Северо-Западных железных дорог с славной памятью героя...» — писал по этому поводу А. Жолкевич в «Гражданине».²³

В преддверии 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года шло много споров о способах увековечивания памяти героев войны, о виде монументов. Некоторые авторы сознавали «раскол» в средствах увековечивания в сознании простого и образованного народа. Один из современников писал по поводу внешнего вида предполагаемого мемориала: «Бронзовые памятники, подобные Минину и Пожарскому не вполне выражают религиозно-патриотическое народное чувство, укрепляемое верой и молитвой. На бронзовые памятники народ неграмотный, незнакомый с историей, смотрит холодно; даже самый бородинский памятник называет столбом, говоря, например, от столба налево...» Выход из положения предлагался следующий: снаружи памятник должен был выглядеть как монументальное сооружение «с воинскими надписями», а внутри он должен быть приспособлен для моления.²⁴ От вопроса о конкуренции духовных и светских памятников не смог уклониться и Николай I, сказавший игумене Спасо-Бородинского монастыря: «Мы поставили памятник чугунный, а вы предупредили нас, поставив бессмертный христианский памятник».²⁵ Отсутствие в Москве места поминовения героев битвы 26 августа 1812 года полвека спустя после нее воспринималось как неуважение к памяти «родителей»: «Не всякий имеет средства и досуг ехать из Москвы за 112 верст до Бородина, но имея в Москве перед глазами христианский памятник Бородинской битвы, многие пришли бы к нему в день поминовения помолиться за своих родителей по-христиански».²⁶

Все понимали, что монумент, возводимый в связи со 100-летним юбилеем, будет иметь большую значимость для будущих поколений. Поэтому памятник героям Отечественной войне 1812 года рассматривался прежде всего как средство укрепления позиций власти: «Совершение такого памятника, великого не наружным величием, но внутренней силой воспоминаний, будет новой грозой врагам России и крамольникам, им сочувствующим...»²⁷ Судя по публикациям в прессе, многих занимал вопрос о монументальном закреплении памяти о войне 1812 года, причем во главе угла была символика, послание потомкам, зашифрованное в камне и бронзе. Остановимся на одной из публикаций в официальном органе Военного министерства — газете «Русский инвалид»: «Не повторяя уже высказанных другими доводов за один памятник, я позволю себе поставить вопрос: почему памятник на Бородинском поле будут сооружать лишь части, участвовавшие в этом сражении? Почему не вся армия? Почему не вся Россия? Разве под Бородиным наши предки не прикрывали своей грудью всю Россию? Разве не весь русский народ принимал прямое или косвенное участие в этой великой борьбе? В сооружении этого памятника следует принять участие всем русским людям. Пусть это будет памятник всего русского народа тем чудо-богатырям, о доблести которых разбились армии двенадцати языков. При едином памятнике все части войск могут получить достойное место. Я предложил бы такой памятник. Вершина — фигура императора Александра I. Несколько ниже — главные герои этого сражения с Кутузовым во главе. Это верхняя часть. Средняя часть должна представлять многогранник; число граней — по числу частей войск, участвовавших в сражении. На каждой грани с особой площадкой при каждой — выпуклое изображение доски с надписями; на площадках фигуры, бюсты и т. п. Нижняя часть должна окружать среднюю и изображать в фигурах участие всего народа в отражении изгнании двенадцати языков».²⁸

Примечательно, что при концентрации внимания на Бородине география установки монументов свидетельствовала о расширении зоны «места памяти». В деревне Студянке, на месте переправы французских войск через Березину, на средства И. Х. Колодеева по рисунку Н. В. Зарецкого, корнета 50-го драгунского Иркутского полка, были установлены памятники. На трехступенчатых постаментах в трехстах метрах один от другого возвышались два четырехгранных невысоких обелиска, обозначавших места, где наполеоновские саперы навели мосты через реку. 12 июня 1912 года в 100-летний юбилей вступления войск Наполеона в пределы России эти памятники Отечественной войны были торжественно освящены.²⁹ Юбилейные мероприятия начались в Ковне 12 июня 1912 года торжественным «возобновлением» в присутствии губернатора Веревкина памятника переходу Наполеона через Неман.³⁰ Примечательно, что для этого мероприятия выбрали не день переправы остатков французской армии, а день начала войны. Но если учесть характер восприятия войны в российском сознании как великого одоления, великого подвига, великой жертвы, то такой шаг выглядит вполне оправданным — это было начало всего великого.

О последствиях ухода из «территории памяти» свидетельствует история кавалерист-девицы Н. А. Дуровой. В 1820—1840-е годы она была всероссийской знаменитостью, ее образ стал важной частью мифа о войне 1812 года, она вместе со старостихой Василисой символизировала «женский сегмент» в символе «всего народа», поднявшегося на защиту Отечества. Уехав в далекую провинциальную Елабугу, единственная женщина России, выслужившая офицерский чин, постепенно как личность выпадала из общего внимания, тогда как ее героический образ жил и здравствовал в национальной исторической памяти. Дурова умерла в 1866 году всеми забытая, а ее могила на местном кладбище пришла в запустение и едва не была утрачена. Только в 1901 году офицеры 14-го драгунского Литовского полка (бывший Литовский уланский полк, где служила героиня) вспомнили о своем легендарном товарище Александрове (под этим именем Дурова числилась в полку) и при содействии граждан Елабуги И. И. и Ф. В. Стахеевых установили на могиле «приличный» памятник.³¹

С особой силой «соревновательность в славе» полков русской армии проявилась в установке монументов на Бородинском поле. К марту 1913 года там было установлено 34 памятника и определено место для еще одного — 23-й пехотной дивизии Бахметьева (37-й Екатеринбургский, 113-й Старорусский, 124-й Воронежский, 137-й Нежинский полки). Финансовые возможности создателей монументов и организационные обстоятельства привели к тому, что на мемориальном пространстве соседствовали памятники отдельным частям (лейб-гвардии Павловский, Волынский, Московский, Измайловский, Егерский, Казачий полки, 53-й пехотный Волынский полк, 21-й пехотный Муромский полк, 180-й гусарский Нежинский, лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада, лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада, лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада, 1-я батарея Гвардейской конноартиллерийской бригады, 2-я батарея Гвардейской конноартиллерийской бригады — всего 14 единиц). Кроме того, четыре гвардейских полка выбрали «бригадный» вариант памятников (Финляндский и Волынский, Кавалергардский и Конный). Из армейских полков по этому пути пошли только два (109-й пехотный Волжский и 4-й гренадерский Несвижский). Обращает на себя внимание то, что в этом списке гвардейцы, обладавшие большими финансовыми возможностями, заметно преобладают над армейцами. Два отдельных памятника были поставлены инженерным войскам и полевой конной артиллерии. Память об участии в Бородинском сражении большей части армейских полков была увековечена в «дивизионных» и «корпусных» монументах:

17-й пехотной дивизии Олсуфьева (полки Брестский, Бессарабский, Белозерский, Вильманстрандский, Рязский, Рязанский); 1-й гренадерской графа Строганова дивизии (полки Санкт-Петербургский гренадерский, 2-й гренадерский Ростовский, 6-й гренадерский Таврический, лейб-гвардии Гренадерский, лейб-гвардии Гренадерский Екатеринославский и др.) Кроме того, на Бородинском поле были поставлены так называемый Главный памятник, памятник французской армии и памятник Кутузову. На стенах церкви Спаса в монастыре были установлены памятные медные доски от целого ряда полков. В этом же соборе находились иконы, подаренные лейб-гвардии полками Семеновским, Измайловским, Преображенским, Московским.³²

Автор под псевдонимом Русс писал об этой стороне увековечивания 1912 года: «Надо положительно удивляться энергии войсковых частей, соорудивших эти памятники в необычно короткий срок; окончательно вопрос о памятниках был разрешен лишь в апреле. Большинство памятников помещено между монастырской флешью, монастырем и Николаевским монументом; здесь их 20; уже по этому можно судить о наиболее горячей битве именно на этом участке. Памятники в общем не поражают своей оригинальностью; видно, что большинство из них вышло из одной мастерской надгробных памятников; некоторые даже прямо некрасивы; больше всего нам понравился памятник 3-й дивизии (Коновницынской) в ограде монастыря, против Тучковой церкви <...>. Затем очень просты, но изящны — серые, небольшие полированные колонки с золотыми флангами гвардейских конных батарей. На них прекрасная, достойная памяти надпись: „ДОБЛЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ — НАСЛЕДИЕ ДЕТЕЙ. ВСЕ ТЛЕННО, ВСЕ ПРЕХОДЯЩЕ — ТОЛЬКО ДОБЛЕСТЬ НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗНЕТ. ОНА БЕССМЕРТНА“. Красив и богат памятник кавалергардов и конной гвардии; оригинален л.-гв. 3-й артиллерийской бригады».³³

Монументов на Бородинском поле планировалось поставить еще больше. По данным печати, Юбилейная комиссия при Военном министерстве дала разрешение на 120 памятников. Не трудно догадаться, что такое количество сооружений вызвало недоумение у трезвомыслящих россиян. Художник В. В. Мазуровский в беседе с корреспондентом «Петербургской газеты» заявил следующее: «Таким образом, Бородинскому полю суждено покрыться лесом памятников, по существу своему мизерных, не отвечающих ни величине события, ни чувствам. Получается нечто невообразимое до абсурда <...> Будет очень прискорбно, если Бородинское поле усеется какими-то тумбочками и крестами. Должна быть разница между кладбищем и полем сражения, тем более таким грандиозным, как Бородинское». Он сослался на неудачный опыт «обустройства» поля Полтавской битвы, где места расположения войск оказались обозначенными какими-то «кочками». Художник напомнил, что возможны недоразумения из-за «неработанности» истории некоторых полков, что на памятных досках в храме Христа Спасителя в Москве оказалось немало ошибок (внесены названия частей и фамилии людей, не имевших отношения к обозначенным событиям). Мазуровский предложил последовать примеру немцев и поставить один грандиозный монумент, подобный тому, какой возводился в Лейпциге к юбилею Битвы народов.³⁴

При всем уважении к героям-бородинцам, а также всем, кто участвовал в установке монументов, с критическими замечаниями трудно не согласиться. Только некоторые сооружения имеют заметные отличия от кладбищенской архитектуры. Памятник гвардейским егерям и Морскому гвардейскому экипажу создавался по проекту и чертежам гражданского инженера Альберти (бывшего офицера Несвижского полка) «при деятельном участии председателя по постройке памятника Несвижского полка подполковника Волкова». Более всего он напоминает солидный родовой склеп.³⁵ Такая ассоциация

вовсе не является обидной для участников боя на реке Колоче. Символ военной семьи, боевого братства — важная часть военной субкультуры. Некоторые памятники следует признать удачными в художественном отношении. Отсутствие специального художественного образования не помешало бывшему офицеру лейб-гвардии Литовского полка составить проект запоминающегося монумента, удачно символизировавшего один из эпизодов сражения, когда эта часть вместе с измайловцами отбивала бешеные атаки французской кавалерии. Монумент представляет собой гранитный прямоугольный массив (имитация построения пехоты в каре, ее каменную стойкость), об один из углов которого разбивается французский орел (неудачные налеты неприятельской конницы).

Проект памятника 7-й пехотной дивизии также составил не профессиональный архитектор — штабс-капитан 11-го пехотного Псковского полка А. В. Дроздовский. Это соединение стояло за ручьем Стонец, сдерживая атаки французов, не смущаясь тем, что время от времени оказывалось в полном окружении. В книге Ашика без указания источников сказано, что проектировщик ставил перед собой три задачи: «1) Чтобы памятник этот был в стиле самобытного, чисто русского зодчества, так мало знакомого и мало-помалу исчезающего. 2) Чтобы он являлся выразителем шири, стойкости и силы русской, о которые разбилась натиск двенадцати языков. 3) Чтобы памятник не терялся в широком просторе Бородинского поля».³⁶ Подходящий образ Дроздовский нашел в виде приземистой старорусской крепостной башни. «В этих широких, простых и мощных башнях, охранявших от врага и народ и князя, служивших и охранявших спокойствие, жизнь, а не одну только власть, сказывалась вся сила, ширь и могущество русского народа; они, являясь полной противоположностью узких башен феодальных замков, охранявших лишь одно лицо, как нельзя более отвечают основной идее памятника на Бородинском поле — дать воплощение мощи, стойкости и русской шири необъятной».³⁷ Названия полков 7-й дивизии написаны русской вязью. Вместо надвратной иконы — изображение подвига этого соединения и под ним выдержка из рапорта Баркляя: «Неприятельская конница, получив подкрепления своих резервов, зашла совершенно в тыл 7-й дивизии, но сия бесподобная пехота, немало не расстраиваясь, приняла неприятеля сильным огнем и неприятель был расстроен».³⁸ В зубцы башни вмурованы эмалевые изображения полковых юбилейных знаков в двадцатикратном увеличении. Во втором ярусе башни — точная копия иконы Смоленской Божьей Матери. На красных мраморных досках, вмурованных в боковые стены, указаны фамилии девяноста пяти офицеров, убитых и раненных при Бородине. На задней стене — громадный черный крест, на втором ярусе — золоченый орел, готовый к взлету. «Помещен он в воспоминание известного эпизода во время прибытия Кутузова к войскам».

На полу площадки перед башней размером около четырех квадратных метров изображен план Бородинского сражения между одиннадцатью и часом дня 26 августа.³⁹ Таким образом, памятник 7-й пехотной дивизии оказался перегружен символикой, в которой причудливо переплелись церковная, историческая и идейно-политическая составляющие.

Общим для всех памятных надписей является четкое разделение по служебной иерархии и социальному принципу: все раненые и погибшие офицеры перечислены поименно, а нижние чины — указаны только общим числом. Осознание боевого братства подтолкнуло создателей памятника 1-й артиллерийской бригады добавить слова «...и нижние чины имена их ты Господи веси». Справедливости ради следует сказать, что перенесение полного списка потерь на монумент встречало ряд препятствий. Прежде всего в таком случае небольшая площадь обелиска превращалась в трудночитаемый бук-

венный узор, поскольку некоторые части потеряли огромное число людей. Это было дорого и технически сложно.

Памятники на Бородинском поле являлись одновременно и мемориальными знаками, и надгробиями, поскольку устанавливались на месте деяний, но одновременно на месте гибели людей и даже в ряде случаев, возможно, на месте их захоронения, поскольку данных о точном расположении мест кремации и погребения останков солдат не сохранилось. «Комбинированный» характер бородинских памятников определяется и тем обстоятельством, что они посвящались как погибшим в той битве однопольчанам, так и оставшимся в живых 26 августа 1812 года, встретившим свою смерть в дальнейших боях и походах или умершим своей смертью в преклонном возрасте. Поскольку за сто лет многие части были переименованы и даже расформированы, надписи на монументах служили своеобразным пояснением по наследованию славы. Посетители мемориала узнавали из них, почему такой-то полк считает своим долгом особо почтить память определенного войскового соединения, отличившегося в великой битве.

Надписи на памятниках были краткими, что соответствовало размерам площади, для них выделенной, а также традициям эпитафий. На обелиске 1-й гренадерской дивизии генерал-майора графа Строгонова читаем: «Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши». Другие надписи: «Славным предкам 17 дивизии благодарные потомки», «Доблестным предкам 1-я Его величества батарея гвардейской конно-артиллерийской бригады 26 августа 1912 года», «Доблестным предкам 4-й пехотной дивизии принца Виртембергского, стяжавшим в Бородинском сражении вечную славу отечеству и русскому воинству», «Бессмертной дивизии Неверовского героям Шевардина и семеновских флешей», «Богатырям и пионерам благодарные потомки инженерные войска 1812—1912», «И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой», «Муромцы своим предкам-героям», «Доблестным героям Бородина потомки 3-й пехотной дивизии генерала Коновницына. Слава погибшим за Русь Православную», «Доблестным предкам кирасирам 2-й дивизии генерала Дуки», «Измайловцы славным предкам, сражавшимся под Бородиным 26 августа 1812 года», «Героям предкам за веру, Царя и отечество живот свой положившим. Лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада», «Славным предкам, сражавшимся на сем месте 26 августа 1812 года, лейб-гвардии Московский полк, именованный до 1817 года лейб-гвардии Литовским».

Кроме посвящения в эпитафии использовались цитаты из документов той эпохи. На памятнике лейб-гвардии Измайловского полка мы читаем: «Из рапорта генерал-лейтенанта Коновницына главнокомандующему князю Голенищеву-Кутузову: „Полки Измайловский и Литовский в достопамятном сражении 26 августа покрыли себя в виду всей армии неоспоримой славой“». А авторы памятника лейб-гвардии Московского полка выбрали такую надпись: «Я не могу с довольной похвалой отозваться Вашей светлости о примерной неустрашимости, оказанной весь день полками Лейб-гвардии Литовским и Измайловским — прибывши на левый фланг непоколебимо выдержали они наисильнейший огонь неприятельской артиллерии — осыпаемые картечами ряды их несмотря на потери, пребыли в наилучшем устройстве и все чины от первого до последнего, один пред другим являли рвение свое умереть прежде нежели уступить неприятелю. Три большие кавалерийские атаки неприятельских кирасир и конных grenадер на оба полка сим отражены с невероятным успехом, ибо несмотря что кареи, устроенные оными полками были совсем окружены, неприятель с крайним уроном был прогнан огнем и штыками. 3-й батальон Измайловского полка и полк Литовский, кои особенности имели в виду прикрывать бывшую правее бата-

рею, исполнили сие во все время как нельзя лучше уничтожая совершенно все покушения на оную. Одним словом полки Измайловский и Литовский в достопамятном сражении 26-го августа покрыли себя вечной славой».

Как и на многих других воинских монументах, на памятниках Бородинского поля наиболее часто представленным аллегорическим символом был орел. Эта птица была эмблемой отваги, дальнорзости, силы. Кроме того, двуглавый орел являлся основой государственного герба Российской империи. В большинстве случаев скульптурное или рельефное изображение двуглавого орла дополнялось короной. Функция надгробного камня требовала изображения креста. Кроме того, крест символизировал торжество «христоролюбивого воинства». Поэтому именно этот знак христианства «конкурировал» по частоте с изображением орла. Одной из традиций устройства надгробных памятников было указание на сферу деятельности покойного с помощью изображения характерных предметов. На памятниках инженерным войскам, павшим под Бородиным, кроме уставной эмблемы инженерных войск мы видим традиционный знак саперов — два скрещенных топора, а для придания этой композиции большей воинственности в нее включили пылающее ядро. На тумбах вокруг памятника 2-й гренадерской дивизии Карла Мекленбургского и 2-й сводной гренадерской дивизии генерал-майора князя Воронцова установлены ручные гранаты — то самое оружие, от которого происходит слово «гренадеры». Ядра использованы и для украшения памятника лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде.

Поскольку главными событиями в Бородинской битве были бои на левом фланге и в центре, именно в этих местах и сгруппировались памятники частям — их участникам. Монументы — материализованное доказательство того, что полк не просто бился с французами 26 августа 1812 года, но сражался в самой горячей точке. В этой связи можно предположить, что отсутствие памятника Петровской бригаде (Преображенский и Семеновский полк) объясняется нежеланием видеть его «в тылу». Эти полки находились в резерве, им не пришлось скрестить свои штыки с французскими, но они понесли большие потери от артиллерийского огня. Трудно объяснить отсутствие памятника финансовыми проблемами — в обеих частях было достаточное количество состоятельных людей.

Армия тяжело переживала разгром в Русско-японской войне, и юбилейные торжества 1912 года имели двойственное психологическое воздействие. С одной стороны, память о былых победах имела ранозаживляющее действие. С другой стороны, современники проводили невыгодные для тогдашних вооруженных сил сравнения. Следует помнить одно важное обстоятельство: в Маньчжурии потерпели поражение полки, не являвшиеся прямыми наследниками «бородинцев». Поэтому «славные потомки» соратников Кутузова и Багратиона могли без особого смущения праздновать годовщину сражения, подразумевая, что в случае их участия в боях с японцами ситуация под Мукденом и Порт-Артуром могла складываться иначе. Можно даже предположить, что памятниками на месте исторической битвы измайловцы, нежинцы и павлоградцы как бы отгораживали свое не тронутое поражениями символическое место.

Установка памятников на Бородинском поле в определенной мере была продолжением давней дискуссии об исходе сражения 26 августа 1812 года. Само количество «русских» монументов, установка их на всем пространстве, где происходила битва, создавало впечатление нашего превосходства над неприятелем. Французский монумент был только один, и располагался он возле села Шевардино, захват которого русской стороной и не оспаривался. Если рассматривать историческое пространство как шахматную доску (а схемы-указатели на такое сравнение наталкивают!), то заметна одинокая «чер-

ная фигура», хотя и претендующая на роль ферзя, и целый строй разнообразных «белых фигур», окружающих белого ферзя (главный монумент). У человека, не обремененного хорошим знанием событий того дня, сам вид мемориального комплекса, сложившегося в 1912 году, не может вызывать никаких сомнений в торжестве именно русского оружия. Важным является и то обстоятельство, что все памятники установлены там, где «бородинские» полки занимали позиции или в начале боя, или там, где они *успешно* отражали атаки наполеоновских войск. За Семеновским оврагом, куда отошли русские части после падения Багратионовых флешей и батареи Раевского, никаких мемориальных объектов не появилось. В ходе битвы реальной русская армия отступила со своих позиций, в битве памяти — нет.

Отсутствие в программе юбилея открытия «фундаментального» памятника героям 1812 года не могло не создавать ощущения некоторого морального дискомфорта. Это ощущение вполне могло сыграть свою роль в попытках «соединения» памяти об Отечественной войне с памятью о событиях, связанных с восшествием на престол Михаила Романова в 1613-м и победой на Куликовом поле в 1380 году. В. М. Васнецов заявил об этом на заседании комиссии по установке народного памятника патриарху Гермогену и преподобному Дионисию: «Возможность сблизить и объединить эти три эпохи в одном воздвигаемом монументе так, чтобы русский народ, вспоминая великого „неподвижностоятеля“ за родину и страстотерпца патриарха Гермогена, в то же время вспоминал о своем спасении и в другие эпохи. При таком естественном расширении идеи памятника патриарху Гермогену сама собой приходит мысль и еще одна, подобно означенным тяжелая и тоже грозившая гибели России эпоха, — вспоминаются великий князь Дмитрий Донской, его время и сподвижники в Куликовской битве (в 1380 г.), когда при помощи Божьей молитвами и благословением преподобного Сергия положено было благое начало избавления русского народа от векового ига монгольского. Таким образом, памятник патриарху Гермогену, без подвигов коего трудно и представить, как сложились бы условия нашего политического бытия, воздвигаемый в Москве в пору стечения величайших и однородных юбилеев, стал бы всенародным и историческим памятником *спасения России* в 1612, 1613 и 1812 годах, а также в 1380 году, близком по своему духу к празднуемым юбилеям. В знак победного избавления и спасения России помощью Свыше от зол, ее угнетавших и губивших в указанные эпохи, памятник сей, как мною было предложено и комиссии московского археологического общества, венчается статуей Георгия Победоносца на коне, поражающего змия, в коей народ привык чтить символ истории Москвы».

В прессе идея такого монумента нашла положительные отклики: «В одном монументе он (Васнецов. — *В. Л.*) хочет объединить память о четырех великих событиях, пережитых Россией: 1612 год — изгнание поляков из Москвы, 1613 год — воцарение Михаила Федоровича, 1812 год — изгнание Наполеона и 1380 год — Куликова битва. Эти четыре события спасли Россию от иноземного порабощения, почему свой проект В. М. Васнецов называет „памятником спасения России“». ⁴⁰ Однако сжатые сроки не позволили создать монумент, требовавший продолжительных скульптурных и архитектурных работ. Поэтому в конце концов остановились на варианте, позволявшем быстро смонтировать юбилейный монумент: «На повороте шоссе к Спасо-Бородинскому монастырю будет поставлен громадный обелиск в десять сажень высоты на гранитном постаменте. Обелиск будет сделан из пушек, перевитых металлическими гирляндами, и увенчан гербом Московской губернии, а по углам украшен двуглавыми орлами, сидящими на пушках. На обелиске будет сделана крупная надпись чеканными буквами: „Благодарная родина своим защитникам“». ⁴¹

Памятники, связанные с Отечественной войной 1812 года, как и многие другие увековечивающие ее объекты и действия, с одной стороны, являлись средствами закрепления мифа о войне. В камне и бронзе застыли легенды, слова приказов, имена, названия воинских частей и т. п. Можно сказать, что монументальная история великой эпопеи была дописана в 1912 году, хотя в этом завершении видна торопливость. В не затухающей до сих пор дискуссии о том, кто был победителем 26 августа 1812 года, столетие спустя была поставлена точка. Памятники русским полкам воздвигнуты там, где они занимали позиции в начале сражения, или там, где они сошлись грудью с французами. Монументы доказывают своим положением: русские не уступили ни пяди. Место французов — Шевардино, там, где на вершине обелиска расправил крылья французский орел.

Конструирование памяти о войне 1812 года в течение всего XIX столетия имело пролонгированный, практически непрерывный характер, тогда как Мамаево и Ледовое побоище, Полтава периодически исчезали из сферы общественного внимания. Эпопея 1812 года никогда не была в забвении, чему способствовало множество факторов. Постоянным напоминанием о войне явилось строительство храма Христа Спасителя — самого величественного сооружения в ее честь. После того как 25 декабря 1812 года Александр I подписал манифест о его строительстве, сама история собора давала множество мнемонических поводов для воспоминаний об изгнании Наполеона. Начать можно с неожиданного и потому интригующего результата конкурса проектов (1814 год), на котором победил никому тогда не известный Витали. Далее предметом разговоров москвичей и гостей столицы стала закладка собора 12 октября 1817 года в годовщину ухода французов из Москвы, сама огромная стройка на Воробьевых горах и колоссальный размер будущего мемориального комплекса (собственно собор, колоннада из трофейных орудий, пантеон воинской славы, памятники военачальникам). Затем живо обсуждались злоупотребления подрядчиков (расхитили огромную по тем временам сумму в 1 млн рублей), ссылка провинившегося архитектора, остановка стройки (1825 год). Наконец, в дни торжеств, посвященных 25-летию Бородинского сражения, заложили новый храм на новом месте по проекту архитектора Тона, и огромное здание год за годом росло над тогда еще малоэтажным городом. В значительной мере для осуществления такого масштабного строительства началась даже прокладка судоходного канала между Волгой и Москвой-рекой, чтобы на барках подвозить материалы. В 70-ю годовщину Бородинской битвы в стенах еще не освященного собора была впервые исполнена увертюра «1812 год» П. И. Чайковского, ставшая своего рода сигнальной мелодией для всех последующих торжеств, посвященных изгнанию Наполеона из России. В 1883 году после сорока четырех лет строительства (на четыре года дольше, чем знаменитое по продолжительности строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге) самый большой в России собор был наконец освящен. Таким образом, на протяжении четырех царствований (Александр I, Николай I, Александр II, Александр III) возводился колоссальный памятник, постоянно напоминавший самим своим динамичным состоянием о великой победе. На его стенах установили 177 мраморных плит, где в хронологической последовательности давались краткие описания сражений, а также в алфавитном порядке перечислялись части войск, командиры частей и воины, отличившиеся в боях. Кроме того, на досках собора были приведены тексты манифестов, приказов по армии.⁴² По нашему мнению, указанные нарративы играли важную роль в закреплении «трафаретных» представлений о войне 1812 года. Эти памятные надписи располагались в помещениях, предназначенных для крестных ходов. Мемориальный характер собора подчеркивался тем, что престольный

праздник храма Христа Спасителя отмечался как праздник победы над Наполеоном.⁴³

В царствование Николая I внимание к истории Отечественной войны 1812 года стало одним из направлений в правительственной политике. При этом заметно как целенаправленное разыгрывание «героической карты», так и привлечение «материала», связанного со славной эпохой, для решения различных вопросов, напрямую с изгнанием Наполеона не связанных. В 1830-е годы 1812 год становится предметом историко-философских споров. На оживление памяти о войне влияло формирование в 1830-е годы теории официальной народности, поскольку и ее сторонники, и ее оппоненты обращались к опыту минувшего. При этом участие крестьян рассматривалось не как народная самодеятельность, а как отклик на призыв царя. Монархия, опирающаяся на народную любовь, непобедима. Разыгрывалась «карта» победы над Наполеоном и родоначальниками российского национализма. «Историю новую с 1812 года не должно ли назвать историей возвеличения, возвышения России, спасительницы Европы, *усмирительницы* (курсив наш. — В. Л.) чуждых народов», — читаем мы в 1838 году в «Сыне Отечества».⁴⁴

О войне 1812 года россиян заставляли вспоминать и другие события XIX столетия. Восстания 1830—1831 и 1863—1864 годов в Польше давали повод говорить о характере формирования западных границ империи (читай — о Наполеоновских войнах), об участии поляков в походе на Москву, об их преданности Наполеону Бонапарту. «Никогда это воспоминание не было торжественнее как в прошлом 1863 году. Восстание Польши и дипломатическое нашествие трех могущественнейших держав Европы вызвали тогда живое патриотическое чувство на защиту Отечества от угрожавшего ему позора; Бородино вспомнулось тогда в многочисленных адресах к Царю из всех краев земли русской», — писал один из современников тех событий.⁴⁵ Венгерский поход 1849 года напоминал о стратегическом союзничестве Петербурга и Вены 1805—1814 годов. Революционные взрывы в Европе и готовность Александра I и Николая I посылать войска для восстановления незыблемости тамошних монархий также способствовали повышению внимания к временам, когда казаки поили лошадей из городских фонтанов в Италии, Франции, Германии и Голландии. Каждое обострение отношений со странами Западной Европы вызывало волны патриотизма, которые неизбежно сопровождалась волнами воспоминаний о том, как Россия ее побеждала и освобождала. Массу поводов для оживления памяти о борьбе с Наполеоном дала Крымская война. Вяземский писал по поводу обороны Севастополя: «А крепко начинает попахивать двенадцатым годом».⁴⁶ Подъем патриотических чувств, связанный с Русско-турецкой войной 1877—1878 годов и антироссийской позицией западных держав, вновь актуализировал воспоминания о войне 1812 года. Человек, оказавшийся по делам службы летом 1878 года в Можайске, счел себя обязанным посетить Бородинское поле: «В такие моменты чувствуешь всегда еще большую потребность в единении с памятью своего доблестного прошлого, и где же и место этому единению, как не на том самом месте, где прошлое увековечено навсегда присутствием множества могил, виновников этой доблести».⁴⁷

Хранителями памяти о войне оставались ветераны, число которых неумолимо сокращалось, причем в силу зависимости чина от возраста сначала покинули сей мир полные генералы, за ними последовали генерал-лейтенанты, генерал-майоры и полковники. В конце XIX столетия наступила печальная очередь тех, кто в 1812 году получил первый обер-офицерский чин. По свидетельству И. П. Липранди, из общего числа офицеров 6-го армейского корпуса в 1862 году в Санкт-Петербурге в живых оставалось пять человек, причем самый старший из них в «славную годину» был в чине капитана.⁴⁸

В июне 1888 года на 97-м году жизни умер в Калуге генерал-майор А. Я. Миркович, встретивший войну 20-летним гвардейским подпоручиком. А. Г. Тартаковский полагает, что это был последний ветеран Отечественной войны 1812 года. В 1890 году ушел из жизни 90-летний И. П. Липранди и 94-летний Ф. Н. Глинка, в феврале 1886 года — 93-летний М. И. Муравьев-Апостол. Немногим долее прожили те, кто видел войну в детском возрасте: в 1892 году закончил свой земной путь в 88-летнем возрасте Д. И. Завалишин (декабрист). В 1893 году скончалась 86-летняя поэтесса и переводчица К. К. Павлова, а в 1899 году — 91-летняя П. Н. Татлина, записавшие свои детские впечатления от войны и пожара Москвы.⁴⁹

Несмотря на столь заметный отрезок времени, отделявший само событие от его юбилея, власти организовали поиск участников и современников Отечественной войны, поскольку это считалось обязательной частью юбилейных торжеств. Удалось найти восемь человек, соответствовавших критериям: «ветеранов, очевидцев и современников событий». Аким Винтонюк (122 года от роду) служил в 53-м пехотном Волынском полку и считался единственным дожившим до столетнего юбилея комбатантом. Петр Лаптев (112 лет) был свидетелем следования войск Наполеона через городок Свенцяны. Гордей Громов (112 лет) видел еще мальчиком, как французская армия шла через город Красный. Максим Пятаченков (120 лет) помнил о пребывании неприятеля в городе Кирсанове. Евгения Жерносенкова (115 лет) значилась в этом списке не только как очевидец событий, но и как дочь их непосредственного участника-солдата. Степан Жук (110 лет) и Мария Желтякова (110 лет) ничего внятного вспомнить не смогли, и их по географическому принципу (жили в Белоруссии) записали просто: «очевидцы». Ефим Ковылин (109 лет) ничего и видеть не мог, поскольку в 1812 году жил в Поволжье. Его представляли «современником» — даже это было очень почетно. Ветераны были всячески обласканы властью. «На всех произвело трогательное впечатление, что старики сидели, тогда как государь император и великие князья стояли», — писал корреспондент столичной газеты.⁵⁰ «Кто мог подумать и представить себе, что среди нас еще живут целых 27 человек прямых участников этой богатырской эпопеи, все рассказы о которой не только теперь, но даже во время нежной юности нас, людей среднего возраста, носили какую-то заманчивую дымку сказки, чего-то далекого, исторического для ума и памяти и волшебного-сказочного для сердца и воображения», — умилялся корреспондент «Вечернего времени».⁵¹

Было бы странно, если бы таким повышенным вниманием к ветеранам и современникам Отечественной войны не воспользовались люди с авантюрной жилкой. 10 сентября 1912 года газета «Русское слово» напечатала заметку «Скандал с фальсифицированным ветераном 1812 года». Автор начал со слов: «Хлестаковы появлялись до сих пор в разных областях: то были ревизоры, то губернаторы, то прокуроры, то профессора. Теперь же, оказывается, существует Хлестаков-ветеран». Речь шла об уже упоминавшемся жителе городка Свенцяны Петре Артемьевиче Лаптеве 112 лет от роду. Он рассказывал о том, что лично беседовал через переводчика с Наполеоном, по его приказу повел французов от Свенцяны к Динабургу, но сумел бежать. Затем Лаптев, в котором бурлила казачья кровь, будто бы записался в ополчение и участвовал в боях. Ратное ремесло понравилось храброму мещанину, он добровольцем пошел на Крымскую войну, подавлял польский мятеж 1863—1864 годов, за что генерал-губернатор Литвы М. Н. Муравьев подарил ему кирпичный завод, конфискованный у повстанцев. Однако по данным архивов выяснилось, что Лаптев прибавил себе 19 годков, Наполеона не видел, ни в каких войнах не участвовал, никакой завод ему Муравьев не дарил, и даже о своих казачьих корнях «лжеветеран» солгал.⁵² Оппозиционная пресса

не упустила возможности поиронизировать о промахе организаторов юбилейных празднеств, клюнувших на обман лжеветерана.⁵³ Скандал приобрел тем больший резонанс, что удивительную историю Лаптева растиражировали многие газеты.⁵⁴ Т. Ардов в статье «Подделка нации» обрушился на лиц, которые беззастенчиво эксплуатируют древних «стариков-лжеветеранов», бойко рассказывавших в псевдорусском стиле «про хранцузов». Не меньший гнев журналиста вызывали священники с их повестями о чудотворных иконах в 1812 году и «предвыборной ложью», разумеется в пользу кандидатов в рясах.⁵⁵

Самым заслуженным считался 124-летний фельдфебель Винтонюк, который не просто был участником войны с Наполеоном, но и сражался при Бородине, был ранен, лежал во французском госпитале, вернулся в строй и дошел до Парижа. На юбилейные торжества он прибыл по специальному распоряжению бессарабского губернатора «в сопровождении для услуг старшего городского». Другой ветеран — Максим Пятаченков — в армии не служил, но бойко рассказывал о пребывании пленных французов в Кирсанове.⁵⁶ До юбилея, разумеется, никто судьбой ветеранов не интересовался и даже, скорее всего, об их существовании не задумывался. Единственный оставшийся в живых участник Бородинского сражения Винтонюк, по существу, находился на иждивении родственников, и только в 1912 году ему назначили специальную пенсию в размере 300 рублей. Очевидцам событий С. Жуку, Г. Громову, Е. Жерносенковой, М. Желтяковой, М. Пятаченкову, а также «современнику» Е. Ковылину никакого вспомоществования оказано не было.⁵⁷ Примечательно, что в официальном «Списке ветеранам, очевидцам и современникам Отечественной войны» указано, что все означенные в нем люди (А. Винтонюк, П. Лаптев, Е. Жерносенкова, Г. Громов, С. Жук, М. Желтякова, М. Пятаченков, Е. Ковылин) не могут прибыть в Москву по своей бедности.⁵⁸

Следует отметить огромную роль ветеранов в создании исторических мифов. Известно, что мемуаристы и участники событий, не оставившие письменных свидетельств, но делившиеся с современниками устными воспоминаниями, не могли избежать влияния установившегося «общего» взгляда на прошлое.⁵⁹

Имели место и другие коммеморативные инициативы. В Кружке ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года было предложено переименование железнодорожных станций в районе Москвы: Кунцево назвать Поклонная гора, Одинцово — Растопчинская, Кубинку — Гессенская, Тучково — Воронцово, Шелковку — Кутайсовская, Шаликово — Бахметьевская, Дровино — Коновницыно, Батюшково — Шевардино, Красицкую — Василисино, Серго-Ивановскую — Кутузово, Туманово — Царево-Займище, Мещерскую — Милорадовичево, Коляшино — Даву, Сапегино — Наполеоно-Бонапартовская и др. Имена исторические, по мнению кружковцев, в переименованиях не нуждались: Фили, Голицыно, Гжатск.⁶⁰ Но переименования произведены не были.

Главная причина выделения Бородинского юбилея из всех предыдущих заключалась не только в том, что он задумывался правительством как грандиозная прелюдия к «романовскому» юбилею. Одним из факторов следует признать откровенное доминирование евроцентричного вектора в сознании общества и государственных мужей.

Важным принципиальным отличием юбилея Отечественной войны 1812 года было то, что он отмечался буквально по всей стране. Празднование в большинстве мест проводилось в два дня. 25 августа в церквях проходила заупокойная литургия и всенощная служба. Тогда же проводилось мероприятие, обозначенное в рапортах как «Разъяснение нижним чинам значения Бородинского сражения». В некоторых гарнизонах (например, в Варшаве) такие

беседы с солдатами об Отечественной войне проходили 2, 8, 16 и 24 августа. В Волковском гарнизоне Гродненской губернии 25 августа «нижние чины ознакомлены были вкратце с началом основания Российского государства и событиями Отечественной войны». Кроме того, в некоторых частях в этот день в отчетах значилось «ознакомление со сказанием о Смоленской Божьей Матери Одигитрии», вечером солдаты получили «чай с фруктами». День 26 августа начинался с торжественного молебна на плацу, затем зачитывался высочайший приказ, после чего торжественная часть завершалась церемониальным маршем и исполнением национального гимна. Солдаты получали улучшенный обед, смотрели любительский спектакль «Партизан Энгельгардт». Затем начинался «народный праздник»: гимнастические упражнения, игры на призы, раздача портретов императора Александра I, Кутузова, Барклая де Толли, Багратиона. Завершался праздничный день улучшенным ужином и посещением кинематографа. Подобным образом проходил праздник и во всех гарнизонах от Либавы до Владивостока. Некоторое разнообразие в единообразные рапорты вносят данные о «туманных картинах», иллюминациях, танцах под граммофон.⁶¹ В тех губернских и уездных городах, где имелись мемориальные сооружения, именно они стали местом главных торжеств. В Николаеве состоялся крестный ход и возложение венков к памятнику — обелиску 1812 года. В Елабуге отслужили панихиду на могиле кавалерист-девицы Н. Дуровой и неподалеку от кладбища произвели салют. В лифляндском городке Венден возложили венки на могилу генерала Сиверса, в эстляндском Юрьеве провели крестный ход к памятнику Барклаю де Толли. В Гродно «возобновили» памятник на могиле героя Отечественной войны генерал-майора графа Ланского и установили на время Бородинских торжеств почетный караул. В городе Видзы открыли памятники императорам Александру I и Александру II. В Орле крестный ход прошел к могиле генерала А. П. Ермолова. В тех случаях, когда не оказывалось фундаментальных сооружений, власти устраивали «место памяти» с помощью установки бюстов Александра I, Кутузова и Барклая де Толли, и именно там проходили парады и крестные ходы.⁶² На станции Любань Николаевской железной дороги концертно-цирковое представление состоялось на площадке у вокзала. В паровозном депо, превращенном в театр, прошла опера Глинки «Жизнь за царя» с участием приглашенных артистов. Декорации для спектакля написал местный художник-любитель Жуковский. Праздник продолжили танцы с серпантинном и летучей почтой до утра. Все участники юбилейных торжеств, по свидетельству корреспондента «Русского слова», остались «крайне довольны».⁶³ В Шемахинской местной команде (Бакинская губерния) нижние чины развлекались так же, как и во все прочие праздники: перетягивали канат, бегали в мешках, с яйцом в ложке, ходили по бревну с поросенком в руках, без помощи рук ели булку, подвешенную на веревке и обмазанную вареньем. Кроме того, играли «в трещотку», «втемную», «журавля водили». Юбилейный характер празднику придавало только то, что вечером они смотрели солдатскую пьесу «Бородино» — сочинение М. Косовец.⁶⁴

В ряде губернских и уездных центров России появились топонимы, связанные со знаменательным событием столетней давности. При этом в одних случаях переименовывались уже существующие объекты, а другие рождались с юбилейным именем. Так, в Симбирске заложили городской сквер в память Отечественной войны, а в Киеве Институтская улица стала Бородинской и Банковая — улицей Фельдмаршала князя Кутузова. Из Павлограда сообщили, что местная мужская гимназия, «помещающаяся в доме, принадлежащем в начале прошлого столетия Кутузову, будет наименована его именем». В Екатеринбурге состоялась закладка городского училища в память Отечественной войны. В Полтавской губернии шестнадцати народным учи-

лицам присвоены названия в память героев и событий 1812 года. В Хвалынске женское училище назвали Кутузовским, мужское — Александровским.⁶⁵

Важным показателем формирования исторического мифа стало явление, которое с известным риском можно назвать «коммерциализацией памяти», когда символы исторических событий превращаются в товар. Это явление проявлялось и до 1912 года. Во второй половине XIX века приезжающие в Севастополь охотно оплачивали услуги экскурсоводов, рассказывавших о боях с осаждавшими город англо-французскими войсками. Туристы раскупали брошюры с рассказами о матросе Кошке и адмирале Нахимове, увозили с собой осколки бомб и пули, которые им предлагали предприимчивые горожане. В 1911 году в преддверии празднования 50-летия отмены крепостного права бойко шла торговля миниатюрными памятниками царя-освободителя Александра II. Немногочисленные посетители Бородинского поля и до 1912 года могли приобрести у местных крестьян разного рода сувениры — пули, пуговицы, ржавые штыки. Однако только юбилейный 1912 год стал временем, когда символика великой победы стала едва ли не обязательным украшением предметов, предлагавшихся покупателю не только в «памятных местах» (Бородино, Смоленск, Малоярославец, Вязьма и т. д.), но и там, куда никогда не докатывался гром французских орудий. По всей России продавались платки, спиртные напитки, парфюмерные и кондитерские изделия, посуда с изображениями Наполеона I и Александра I, с портретами генералов, с цифрой «1812», увитой лаврами, и т. д. Большим спросом пользовалась литература: от дорожных изданий с цветными гравюрами до копеечных книжечек «для детей и нижних чинов». Москва, где проходила важная часть юбилейных торжеств, также немало от них выиграла. Даже окна, из которых была хорошо видна церемония открытия памятника Александру I, сдавались внаем за баснословные суммы. Владельцы гостиниц утроили цены.⁶⁶ Газеты много писали о жадности, обуявшей крестьян, живших недалеко от Бородина, которые на замечания о «несусветности» запрашиваемой ими платы за ночлег, провизию и транспортные услуги отвечали: «Мы сто лет этого ждали».⁶⁷

Несмотря на то что в 1912 году так и не появилось какого-то громадного монумента, воздвигнутого в честь 100-летнего юбилея, активное «памятностроение» и обновление уже существующих мемориальных объектов создали сильное впечатление у современников. Те, кто рассматривал годовщину победы над французами как своеобразную увертюру к торжеству в связи с 300-летием дома Романовых, стали ощущать беспокойство. Наиболее чуткие личности уже подозревали, что «династический юбилей» может утонуть в предшествующих торжествах, что все формы празднования будут вызывать ощущение дежавю. Обоснованными были и опасения по поводу того, что предполагаемые монументы окажутся «одними из», что оскорбляло монархические души. В. М. Степанов в связи с этим опубликовал следующее письмо в «Гражданине»: «Надо не обычный памятник, переполненный фигурами аллегорическими и прочим, должно вылиться в общей форме — в форме грандиозного, превышающего все доньше существующие сооружения. <...> Надо, чтобы это славный памятник за сотни верст был виден каждому проезжающему и днем и ночью. <...> Вызолоченная колонна на гранитном пьедестале, ярко сияющая на солнце, или постройка в духе Эйфелевой башни, увенчанная шапкой Мономаха или Царской короной, сделанной из цветного хрусталя, и ночью освещаемая электричеством, неизмеримо большее произведут впечатление, нежели какой-либо другой памятник, испещренный скульптурными изображениями, фресками и т. п. мелкими украшениями».⁶⁸

Празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года — важнейший государственный акт начала XX столетия. Последовавшие за ним «романовские» торжества при всей пышности церемоний оказались несколько поблекшими на фоне предшествовавших событий. При всей прочности монархической идеи в тогдашней России юбилей «одоления Антихриста» был куда более понятен. К тому же люди, критически и скептически относившиеся к самодержавию или к правительству (не одно и то же!), на торжества 1913 года смотрели как на нечто чуждое.

В соревновании за наследство 1812 года, по нашему мнению, власть больше преуспела, пользуясь своим инструментарием, а также благодаря тому, что у нее было больше времени и возможностей «приучить» народ к «государственному» взгляду на предмет.

Оба языка — власти и общества — в равной степени были непонятны или малопонятны народу. Действия властей и действия общества простолюдными воспринимались так же, как воспринимаются фильмы «конкурсные» неискушенным зрителем, воспитанным на эстетике и языке массового кино. По счастью, режиссеры таких фильмов не беседуют с таковыми зрителями, иначе их одолевали бы суицидные настроения — насколько «превратно» истолкованы их творческие ходы. Но даже искушенная и, более того, тренированная публика теряет нередко в догадках по поводу той или иной аллегории. Торжественные церемонии 1812 года должны были по замыслам их организаторов в очередной раз подтвердить величие империи, мощь ее вооруженных сил, единение власти и народа в трудный час, величественность роли монарха как защитника Отечества. Стройные ряды войск, гром салютов, радостные лица обывателей во время празднеств, казалось бы, свидетельствовали о достижении поставленных целей. Однако те, кого принято было называть обществом, и те, кого называли народом, остались подданными, и когда в 1917 году (всего через пять лет после бородинского юбилея!) разразился глубочайший политический кризис, они активно или пассивно поучаствовали в обрушении громадной конструкции, именовавшейся империей Романовых. В негражданском обществе от аплодисментов до свиста — короткая дистанция, впрочем, и от свиста до оваций — тоже.

¹ См.: Цимбаев К. Н. Феномен юбилея в российской общественной жизни конца XIX — начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 11.

² Андрианов П. М. Великая Отечественная война. (По поводу 100-летнего юбилея) М. 1912. С. 6.

³ Сын отечества. 1816. № 4. С. 139—140, 161—164.

⁴ Липранди И. П. Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому и в какой степени принадлежит честь этого дня? М., 1867. С. 47. Паг. 2-я.

⁵ Откр. 12: 7—9.

⁶ Пясецкий Я. 1812 год // Кавказ. 1912. 26 августа. № 195.

⁷ См.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М. 1980. С. 15—17.

⁸ Боборыкин П. 1812 (Столетние переживания) // Русское слово. 1912. 24 июля. № 118.

⁹ А. Н. Я. Бородинские егеря // Кавказ. 1912. 28 августа. № 196.

¹⁰ Москва. 26 августа // Русские ведомости. 1912. 26 августа. № 197.

¹¹ Глинка С. Торжество народного духа // Земщина. 1912. 26 августа. № 1083.

¹² Русское знамя. 1912. 21 августа. № 188.

¹³ ГАРФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 151. Л. 11.

¹⁴ Шестаков И. А. Полвека обыкновенной жизни. СПб., 2006. С. 35.

¹⁵ П. Вульф. Контр-адмирал. Памятник по морякам, погибшим на броненосце «Русалка» 7 сентября 1893 г. в Финском заливе. Ревель, б. г.

¹⁶ Описание памятника, сооруженного с высочайшего соизволения в 1842 году в городе Симферополе на главной площади против Собора в честь князя Василия Михайловича Долгорукого-Крымского внуком его обер-штальмейстером Василием Васильевичем Долгоруковым. М., 1842.

- ¹⁷ Воробьев Т. И. Памятники Отечественной войны 1812 года в Москве и Ленинграде // 1812 год. К столетию Отечественной войны. М., 1962. С. 64.
- ¹⁸ Там же. С. 270.
- ¹⁹ Мамонтов С. Заветы городничего // Русское слово. 1912. 22 августа. № 193166.
- ²⁰ Воробьев Т. И. Памятники Отечественной войны 1812 года в Москве и Ленинграде. С. 270—271.
- ²¹ Там же. С. 270.
- ²² Кошкин П. Памятники Отечественной войны // Московские ведомости. 1912. 20 сентября. № 217.
- ²³ Гражданин. 1912. 29 июля. № 30.
- ²⁴ Воспоминание Бородинской битвы в 1864 г. и о Бородинском памятнике в Москве. М., 1864. С. 4.
- ²⁵ Оболюшев М. Бородинский бой и его памятники на Бородинском поле. Краткий исторический очерк с иллюстрациями. М., 1903. С. 119.
- ²⁶ Воспоминание Бородинской битвы в 1864 г. и о Бородинском памятнике в Москве. М., 1864. С. 3.
- ²⁷ Там же. С. 5.
- ²⁸ Цит. по перепечатке: О памятнике на Бородинском поле // Русское чтение. 1912. 22 марта. № 66.
- ²⁹ Петербургская газета. 1912. 13 июня. № 160.
- ³⁰ Россия. 1912. 13 июня. № 2018.
- ³¹ Сакс А. Кавалерист-девица штабс-ротмистр Александр Андреевич Александров (Надежда Андреевна Дурова). СПб., 1912 г.
- ³² Осткевич-Рудницкий А. Н. Указатель памятников на Бородинском поле. М., 1913.
- ³³ Русс. Бородинское поле перед юбилеем // Московские ведомости. 21 августа 1912 г. № 193.
- ³⁴ 120 памятников на Бородинском поле (Беседа с художником В. В. Мазуровским) // Петербургская газета. 5 марта 1912 г. № 63.
- ³⁵ Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память Императора Александра I. СПб., 1913. С. 352.
- ³⁶ Там же. С. 353.
- ³⁷ Там же.
- ³⁸ Там же. С. 354.
- ³⁹ Там же. С. 355.
- ⁴⁰ Вечернее время. 1912. 8 августа. № 172.
- ⁴¹ К столетию Отечественной войны // Вечернее время. 3 августа. № 169.
- ⁴² Воробьев Т. И. Памятники Отечественной войны 1812 года в Москве и Ленинграде. С. 272.
- ⁴³ См.: Мостовский М. История храма Христа Спасителя в Москве. М., 1882.
- ⁴⁴ Цит по: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 199.
- ⁴⁵ Воспоминание Бородинской битвы в 1864 г. и о Бородинском памятнике в Москве. М., 1864. С. 1.
- ⁴⁶ Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1886. Т. 10. С. 102.
- ⁴⁷ По полям Бородин. Очерк из путевых заметок и впечатлений. М., 1880. С. 6.
- ⁴⁸ Там же. С. IX. Паг. 1-я.
- ⁴⁹ Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 140.
- ⁵⁰ Гражданин. 1912. 2 сентября. № 35.
- ⁵¹ Поздновский А. Вековики // Вечернее время. 1912. 11 июля. № 150.
- ⁵² Русское слово. 1912. 10 сентября. № 249.
- ⁵³ Как делаются патриоты // Русские ведомости. 1912. 12 сентября. № 210.
- ⁵⁴ П. А. Лаптев (Ветеран 1812 года) // Вечернее время. 1912. 21 августа. № 228.
- ⁵⁵ Утро России. 1912. 14 сентября. № 212.
- ⁵⁶ Фельдфебель Винтонюк — 124 года // Петербургская газета. 25 августа. № 233.
- ⁵⁷ Современники Отечественной войны // Вечернее время. 1912. 23 августа. № 184.
- ⁵⁸ ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 409. Л.
- ⁵⁹ См.: Ветераны и живые участники войны // Утро России. 1912. 18 июля.
- ⁶⁰ Железные дороги и юбилей 1812 года // Утро России. 1911. 17 июня. № 138.
- ⁶¹ ОР РНБ. Ф. 1070 Ростакровский. Отд. 3. Т. 1. Сведения, полученные от уездных начальников. Петроград, 1915. Л. 6—7.
- ⁶² ОР РНБ. Ф. 1070 Ростакровский. Отд. 3. Т. 1. Сведения, полученные от уездных начальников. Петроград, 1915. Л. 21 об., 23, 24—25, 9—10, 33.
- ⁶³ Русское слово. 1912. 2 сентября. № 241.
- ⁶⁴ ОР РНБ. Ф. 1070 Ростакровский. Отд. 3. Т. 3. Л. 103—104.
- ⁶⁵ ОР РНБ. Ф. 1070 Ростакровский. Отд. 3. Т. 1. // Сведения, полученные от уездных начальников. Петроград, 1915. Л. 15, 20, 23, 28 об. — 31.
- ⁶⁶ Лавры героев // Петербургская газета. 1912. 4 мая. № 121; 24 августа. № 232.
- ⁶⁷ Голос Москвы. 1912. № 92, 108.
- ⁶⁸ Гражданин. 1912. № 24. С. 4.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ИГОРЬ АРХИПОВ

Ю. О. МАРТОВ: ТРАГЕДИЯ «МЯГКОГО» РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Юлий Мартов (Цедербаум) был одним из нескольких людей, кто обратился к Владимиру Ленину (Ульянову) на «ты»: однажды, в 1902 году, они даже выпили на брудершафт в мюнхенской пивной. Мартов и Ленин как ближайшие соратники создавали и редактировали «Искру», организовывали Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), сочиняли программу, формировали партийную идеологию. Но уже в 1904 году, после раскола на большевиков и меньшевиков, в разгар ожесточенной публицистической полемики, Мартов первым ввел в оборот понятие «ленинизм». И борьба с «ленинизмом», с политикой, которую проводил его бывший товарищ — в качестве вождя большевистской партии и руководителя возникшего в Октябре 1917-го режима, — оказалась для Мартова пожизненным бременем. Он был врагом большевизма, врагом не «злейшим», а убежденным...

В образе столь неординарной фигуры, как Мартов, воедино переплелись элементы и политической, и личной трагедии. Мартов выделялся среди российских социалистов блестящей европейской образованностью, эрудицией, талантом политического аналитика. Он был убежденным марксистом, идеологом рабочего движения, почитателем Великой французской революции и сторонником установления в России, в какой-то отдаленной перспективе, «диктатуры пролетариата». Но при этом Мартов искренне верил, что логика революционной борьбы и сопутствующая ей действительность могут органично сочетаться с идеалами справедливости и гуманизма. Для него были неприемлемы диктаторские замашки вождей, заговоры и насилие во имя личной власти, грязные и преступные методы достижения политических целей. Понятия морали и нравственности, к которым Мартов апеллировал чаще других лидеров социал-демократии, не являлись синонимами «буржу-

Игорь Леонидович Архипов (род. в 1971 г.) — кандидат исторических наук, автор монографии «Российская политическая элита в Феврале 1917: психология надежды и отчаяния» (СПб., 2000). Работы, посвященные различным проблемам социально-политической истории России конца XIX — первой трети XX вв., публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Эксперт Северо-Запад», «Вопросы истории», «Отечественная история», «Родина», «Русское прошлое», «Новый часовой», «Новое время», в газетах «Петербургский Час Пик», «Невское время», «Смена», «Время Новостей» и др., в сборниках научных статей, справочно-энциклопедических изданиях. Лауреат премии журнала «Звезда» за 2009 г. Живет в С.-Петербурге.

азных предрассудков». Идеализм и наивность Мартова очевидны, как, впрочем, и его политическая проницательность.

Однако в событиях русской революции 1917 года политэмигрант и литератор Мартов сыграл гораздо меньшую роль, чем ожидали и его единомышленники, и противники. В «Свободной России» он занимал обособленную позицию, а возглавлявшаяся им группа меньшевиков-интернационалистов не имела влияния на «большую политику». Но уже вскоре после октябрьского переворота Юлий Осипович возвращает себе положение признанного лидера меньшевизма, становится одним из самых авторитетных представителей демократической оппозиции большевизму.

ИЗ НИГИЛИСТОВ — В МАРКСИСТЫ

Юлий родился 12 ноября 1873 года в Константинополе, где в то время жил его отец — Осип Александрович Цедербаум. Преуспевающий служащий «Русского общества пароходства и торговли», Осип Александрович был человеком образованным, владел тремя иностранными языками, занимался на досуге журналистикой — его статьи публиковались в «Петербургских ведомостях» и «Новом времени». В 1870 году он женился на Ревекке Юльевне Розенталь — 16-летней еврейской девушке, которая была вдвое моложе его (она приехала из Вены, училась на курсах в Константинопольском католическом монастыре). Дома у Цедербаумов общались исключительно на французском и новогреческом — языке прислуги. С русским языком Ревекка Юльевна освоилась не скоро (и позже, когда приходилось писать детям письма в тюрьму, возникали проблемы — послания на французском не принимались). Юлий — второй ребенок, всего же в семье было семеро детей. Благодаря напряженной работе Осипа Александровича Цедербаумы жили в достатке и могли арендовать большую квартиру, нанимать прислугу и гувернанток. В 1877 году началась русско-турецкая война и пришлось эвакуироваться из Константинополя. Семья обосновалась в Одессе — отец продолжал служить в пароходстве, а в 1881 году Цедербаумы переехали в Петербург.

В столице уже десять лет жил дед Юлия — Александр Осипович Цедербаум — хорошо известный в среде демократической интеллигенции просветитель, один из первых издателей еврейских газет (они выходили на русском, иврите и идише). Александр Осипович пользовался расположением министра просвещения И. Д. Делянова, который не раз оказывал помощь семье Цедербаумов — помог решить проблему «черты оседлости», по его протекции Юлий был зачислен «сверх нормы» в престижную Первую петербургскую гимназию. В столице отец Юлия занимал ответственный пост в страховом обществе «Нью-Йорк», был управляющим типографией «Берман и К^о», являясь при этом почетным потомственным гражданином Петербурга и купцом второй гильдии.¹

В раннем детстве Юлий был замкнут и малоподвижен, оставаясь в стороне от игр со сверстниками. Когда мальчику было менее года, кормилица уронила его, перелом ноги не заметили вовремя, и хромота осталась на всю жизнь. Юлий рано пристрастился к чтению — особенно любил приключенческую и фантастическую литературу, книги по истории. В Петербурге, однако, во время учебы в первых классах гимназии его характер заметно изменился и примерным поведением он не блистал: прогулы, драки, разные проказы, словесные дерзости, подделки «бланков недельного свидетельства».² Когда у семьи возникли финансовые затруднения, родители решили, что старшие дети должны обучать младших, но будущему организатору марксистской пропаганды эта миссия не слишком удавалась. «Юлий был из рук вон плохим учителем, нетерпеливый, вспыльчивый, способный от нерешенной

задачи прийти в ярость, но при всем том очень много давший нам своими рассказами по истории, литературе и т. д.», — вспоминала сестра, Лидия Осиповна Цедербаум.³

Юношеский максимализм и демонстративный нигилизм (длинные волосы, бунтарский нрав, беспепелляциянность суждений, увлечение работами В. Г. Белинского и Д. И. Писарева) отразились на выборе, сделанном по окончании гимназии. Решив поступать в Петербургский университет, Юлий, несмотря на явную предрасположенность к гуманитарным знаниям, выбрал естественный факультет — хотелось, подражая базаровым, «резать лягушек»! Молодой человек считал, что на историко-филологический факультет должны идти «юноши геморроидального склада и почтенного образа мысли, от природы предназначенные стать „человеком в футляре“, чиновниками министерства народного просвещения», а юридический факультет незаменим для «будущих карьеристов и чиновников».⁴

Поступив в 1891 году в университет, Юлий (литературно-конспиративный псевдоним «Л. Мартов» закрепился за ним позже, на рубеже веков) включается в деятельность студенческих кружков самообразования. Он увлекается аскетическим христианством Л. Н. Толстого, народническими теориями и, наконец, открывает для себя марксизм (произведения его основоположников читал на иностранных языках). Революционный романтизм в сочетании с политическим радикализмом воззрений — вполне соответствовали тогда его психологическому настрою. «Страстный чтец всего, что можно было достать по истории революции, я обрел идеал революционера в Робеспьере и Сен-Жюсте, все речи которого хорошо знал, — вспоминал Юлий Осипович. — Из этого увлечения вытекало довольно простое, примитивно-бланкистское представление о задаче революции, которую я мыслил себе в виде торжества абстрактных, для всех времен годных принципов народовластия, воплощаемых в революционной диктатуре, прочно опирающейся на „бедноту“ и не стесняющейся в средствах».⁵

Вслед за обсуждением книг в кружках последовала «конспирация», попытки издавать или хотя бы распространять антиправительственные прокламации. И в начале 1892 года, на глазах ошарашенного отца и рыдающей матери, Юлия с наспех собранными вещами, с подушкой и одеялом, увозят из родительской квартиры на Шпалерную улицу, в Дом предварительного заключения. Но и в этом происшествии Мартов находил неповторимую романтику: «Увидав себя в старомодной громоздкой карете между двух самых настоящих жандармов, я, наконец, ощутил, так сказать, эстетическое удовлетворение». Вскоре Мартова освободили под залог в 300 рублей и исключили из университета. В том же году последовал новый арест, и после пяти месяцев заключения в «Крестах» его выслали в Вильно.⁶

В Петербурге Мартов появился в октябре 1895 года — за время высылки он излечился от экстремизма и ощущал себя правоверным марксистом. В это время он знакомится с В. И. Ульяновым (Лениным) и становится вместе с ним одним из организаторов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (скорее всего, Мартов и придумал это название).⁷ Мартову импонирует программное сочинение Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов» — от него «веяло подлинной революционной страстью и плебейской грубостью, напоминавшей о временах демократической полемики 60-х годов». Да и сам Ленин, будучи окружен равными себе в интеллектуальном отношении товарищами, «еще не пропитался тем презрением и недоверием к людям, которое, мне кажется, способствовало выработке из него определенного типа политического вождя».⁸ Сначала, в декабре 1895 года, арестовали Ленина, а затем, в ночь с 4 на 5 января 1896 года, — Мартова. Целый год Юлий Осипович провел в Доме предварительного зак-

лучения, а в феврале 1897 года его на три года выслали в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции.

Добравшись до Красноярска, он узнал, что местом ссылки для него по распоряжению губернатора назначен Туруханск. 1100 верст от Енисейска, 200 человек обитателей, 30 изб — в общем, «совсем гиблый город». Мартов приехал в Туруханск не по этапу, а как «вольный», с паспортом и за свой счет. Положенное ссылке пособие составляло 15 рублей. Впрочем, и цены в Туруханске были не обременительны для тех, кто не хотел самостоятельно заниматься охотой и рыболовством: утка стоила 1,5—3 копейки, пара рябчиков — 5 копеек, гусь — 10 копеек, по 2 рубля за пуд продавали осетрину и оленьё мясо (другого не было). Основной радостью считалась «почтовая цивилизация» — 9 раз в год привозили корреспонденцию, и каждый ссылочный получал сразу по несколько больших мешков книг, газет, писем, провизии.⁹ Мартов не очень жалел, что пришлось отбыть три года в ссылке, — в принципе, там были все условия для самообразования. В ссылке он написал несколько серьезных, по-марксистски ортодоксальных работ. Кроме того Юлий Осипович сотрудничал с сибирскими газетами, обличая местную администрацию в лице пристава, старосты и попа — за спекуляцию беличьими шкурками...

ИНЫМ ПУТЕМ

В начале 1900 года Мартов вернулся в Европейскую Россию. Встретившись в Пскове с Лениным, он вместе с ним наметил план издания за границей социал-демократической газеты. Затем, поселившись в Полтаве, Мартов занялся конспиративной работой, подготавливая схему нелегального распространения газеты по России. Значительную часть денег на издание «Искры» дала сестра Мартова — Надежда Осиповна Кранихфельд, пригодилось крупное наследство, полученное ее мужем. В марте 1901 года Юлий Осипович приехал в Мюнхен и сразу стал соредактором выходившей уже газеты «Искра». Мартов по праву считался ведущим публицистом «Искры»: в газете он опубликовал не менее 131 статьи, а Ленин — 52.¹⁰ В этот период он был самым близким соратником и другом Ленина. Н. К. Крупская вспоминала, что каждый день, после обеда, Юлий Осипович приходил на квартиру к Ленину и по 5—6 часов вел непрерывные разговоры. Поначалу Ленин пытался отгадать его от ежедневных визитов, обещая, что будет сам заходить на полчаса, но уже через несколько дней понял безнадежность этой затеи.

Раскол произошел летом 1903 года, на II съезде РСДРП. Споры разгорелись вокруг параграфа I Устава партии — о членстве в партии. Предложенный Мартовым вариант, в отличие от ленинского, не предусматривал такого обязательного условия, как участие в работе партии, — достаточно оказывать ей содействие, действуя под руководством одной из партийных организаций. Спор носил отнюдь не отвлеченный бюрократический характер. Фактически речь шла о том, быть ли партии жестко централизованной, конспиративной организацией, или все-таки стремиться к превращению в партию массовую, максимально использующую легальные возможности. Мартов был убежден, что вторая модель, соответствующая традициям западноевропейской социал-демократии, оптимальна. «Мягкие» условия членства предпочтительнее и с учетом главной задачи, стоящей перед российскими социал-демократами, — участие вместе с другими общественными силами в борьбе с самодержавием за установление буржуазно-демократической республики. Что же касается предлагавшейся Лениным структуры партии, то ее принятие означает курс на превращение РСДРП в организацию заговорщического типа, состоящую из «профессиональных революционеров» и ставящую сво-

ей задачей переворот с целью захвата власти. Но ведь это, согласно классическим марксистским схемам, неприемлемо — еще отсутствуют предпосылки для перехода к социализму!

В ходе дискуссии Мартов усмотрел гораздо более глубокие разногласия, за которыми стояли качественные различия менталитетов, понимания политических и просто нравственных ценностей. В ленинских подходах Юлий Осипович ощутил опасность установления партийными вождями диктатуры над партией, а затем — диктатуры этой партии «нового типа» и над рабочим движением. Последующие события подтвердили правоту Мартова, осуждавшего «ленинский деспотизм» и методы борьбы, которые предполагалось взять на вооружение. У Мартова вызывали отторжение и попытки Ленина загнать в узкие рамки внутривнутрипартийную демократию, свести к минимуму возможность свободного обмена мнениями. Ленин стремился подчинить собственному контролю не только руководящие органы РСДРП, но и редакцию газеты «Искра», исторически игравшую роль идейного и организационного центра партии. В этой ситуации Мартов отказался входить в редакцию «Искры», если из нее будет удалена изначально сложившаяся «тройка» — П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, А. Н. Потресов (их взгляды по многим вопросам принципиально отличались от ленинских).

Раскол в итоге привел к появлению, по сути, двух самостоятельных партий. По вопросу о пункте 1 Устава Мартов и его единомышленники (среди них был и Г. В. Плеханов) получили на съезде большинство голосов. Но возникновение понятий «большевики» и «меньшевики» было связано с исходом выборов в центральные учреждения партии, и особенно в редакцию «Искры». Итогом этой борьбы оказалось то, что Ленин и его сторонники стали называться «большевиками», а «мягкие» «искровцы», единомышленники Мартова и Аксельрода, — «меньшевиками». Мартов, как и предупреждал, вышел из редакции «Искры», и 6 номеров газеты было выпущено под редакцией Ленина и Плеханова. Однако конфликт между ними, связанный в том числе и с намерением Плеханова восстановить прежний состав редакции, привел в ноябре 1903 года к скандальному уходу Ленина. Возвратившись в редакцию «Искры», Мартов продолжал оставаться ключевой фигурой — идеологом, редактором, публицистом «Искры» вплоть до прекращения выпуска газеты в октябре 1905 года.

Размежевание двух течений РСДРП сопровождалось в эмиграции бурной газетно-журнальной полемикой, скандалами, сплетнями и т. д. В 1904 году Мартов впервые употребил в качестве политического ярлыка понятие «ленинизм», обозначив, таким образом, идеологию и практику сложившейся вокруг Ленина группы. Осуждая террор как таковой и, в частности, развернутую эсерами «боевую работу», меньшевики отказались участвовать в августе 1904 года в парижской Конференции оппозиционных и революционных партий (вместе с большевиками на ней присутствовали и некоторые либералы — будущие лидеры кадетской партии). Отказ был продиктован и появившимися у Мартова подозрениями, что в условиях русско-японской войны эта конференция организуется на деньги японского правительства, заинтересованного в усилении российского революционного движения.¹¹

Осуждая позицию «Искры» (в тот период, когда она была большевистским пропагандистским рупором), направленную на «развязывание революции», на развитие «бунтарских, заговорщических тенденций», Мартов, напротив, делал ставку на лозунг «революция самоуправления», на развитие инициативы легальных общественных организаций, в первую очередь профсоюзных. В полемике с Лениным он приветствовал активизацию накануне революции 1905 года либерального движения, рассматривая либералов как важнейших союзников по широкой оппозиционной коалиции.¹²

В конце октября 1905 года Мартов, как и многие лидеры социал-демократов и эсеров, вернулся в Россию. Он приехал по чужому паспорту, но жил в Петербурге легально, на квартире отца. Как вспоминала сестра Лидия Осиповна (к тому времени она была замужем за известным меньшевиком Федором Ильичем Даном), Осипа Александровича шокировало появление в их квартире В. И. Засулич. Знаменитая Вера Ивановна, тоже принадлежавшая к меньшевикам, ежедневно обедала у Мартовых-Цедербаумов.

Мартов сразу начинает работать в редакции легальной меньшевистской газеты «Начало», входит в Исполком Петербургского Совета рабочих депутатов, становится членом ЦК РСДРП и редактором «Партийных известий». В отличие от большевиков и эсеров, Мартов высказывается против бойкота выборов в I Государственную думу. Из восемнадцати избранных в парламент социал-демократов почти все занимали меньшевистские позиции, и Юлий Осипович курировал их деятельность.

Мартов никогда не претендовал на лавры митингового оратора и любимица толпы. Тем не менее Н. Н. Суханов отмечал своеобразность и талантливость выступлений Юлия Осиповича: «У него нет ни малейших внешних ораторских данных. Совершенно не импозантная, угловатая, тщедушная фигурка, стоящая по возможности вполоборота к аудитории, с несвободными, однообразными жестами; невнятная дикция, слабый и глуховатый голос <...> негладкая вообще, отрывающая слова, пересыпанная паузами речь; наконец — абстрактное изложение, утомляющее массовую аудиторию. <...> В иные моменты он поднимается на чрезвычайную, дух захватывающую высоту. Это — или критические моменты, или моменты особого возбуждения среди живо реагирующей, прерывающей, активно участвующей в обсуждении толпы. Тогда речь Мартова превращается в блестящий фейерверк образов, эпитетов, сравнений; его удары приобретают огромную силу, его сарказмы — чрезвычайную остроту, его импровизации — свойства великолепно разработанного художественного произведения. <...> В своих мемуарах Луначарский признал и отметил, что Мартов — несравненный мастер „заключительного слова“. Это может подтвердить всякий хорошо знающий Мартова-оратора».¹³

В России Мартов пробыл недолго. В мае 1906 года последовал арест и он был поставлен перед выбором: трехлетняя ссылка в Сибирь либо выезд за рубеж.

ЛЕГАЛЬНЫЕ «СЛАБОСТИ»

Состоявшийся в 1906 году IV съезд РСДРП формально восстановил единство партии, причем доминирующее положение заняли меньшевики. Но Мартов не переоценивал это «объединение», и, действительно, вскоре открытая борьба возобновилась.

Идейное противостояние было связано во многом с оценкой «текущего момента». Русская революция завершилась, и в стране установлена новая политическая система «третьеиюньской монархии». Юлий Осипович пересматривает меньшевистскую тактику, стремясь приблизить ее к сложившимся в России реалиям. Он убежден, что после 17 октября 1905 года Россия превратилась в конституционную монархию и нужно адаптироваться к легальным, цивилизованным формам политической деятельности. Мартов становится одним из идеологов «ликвидаторства». Его привлекает идея создания легальной «широкой рабочей партии», ставка на просветительскую работу в среде рабочих, на развитие профсоюзного движения. Среди меньшевиков были и более радикальные сторонники «ликвидаторства» — А. Н. Потресов и В. О. Левицкий (родной брат Мартова), предлагавшие полностью отка-

заться от подпольной работы, осудить насильственные методы борьбы, перенести основную деятельность партии в Россию. Мартов и Дан заняли компромиссную центристскую позицию, предостерегая от абсолютизации легальной работы, хотя, в целом, именно с нею связывались надежды. Мартов разворачивает масштабную журналистскую и издательскую деятельность в легальной российской печати. В 1909—1914 годах под его редакцией выходит 5-томная фундаментальная работа «Общественное движение в России в начале XX в.». Многие ее разделы написал сам Юлий Осипович.

Значительный общественный резонанс — и не только в эмиграции и социалистических кругах — вызвала в 1911 году брошюра Мартова «Спасители или упразднители?». В ней Мартов смело разоблачал методы большевистской деятельности, являющиеся не только вредными для партии, но и преступными с точки зрения уголовного права. Он говорит о «большевистском центре» — «тайной от партии организации», которая законспирирована и неподконтрольна органам формально «объединенной» партии. На конкретных примерах Мартов показывает деградацию большевистских лидеров, поощряющих неблагоприятные дела своих подчиненных. Прежде всего речь идет об экспроприациях (в частности, о вооруженных грабежах банков), о фиктивных браках с богатыми женщинами ради пополнения партийной кассы, о присвоении с помощью подлогов общепартийных денег, о превращении «анархо-бланкистских элементов» и дружинников-боевиков в группы самых настоящих уголовников. Мартов указывал и на причины, благоприятствующие провокации: «Чем больше „профессиональные революционеры“ большевистского центра замыкались в группу с самодовлеющими кружковыми интересами и обособлялись от наличного рабочего движения, чем более им удавалось превращать своих сторонников в угодливого клиентелу, лишённую элементарного демократического чувства, тем более они свои конспиративные способности применяли не в борьбе с полицией, а в борьбе с своими противниками в рабочем движении». Мартов ратует за «ликвидаторский» путь развития партии — это альтернатива «вырождению и одичанию официальной партийной организации», абсолютно оправданная форма борьбы «против кружковщины за переход к подлинной социал-демократической работе».¹⁴

После того, как в начале 1913 года, по случаю 300-летия Дома Романовых, была объявлена амнистия, Мартов возвратился в Россию для ведения легальной политической работы. В течение года Юлий Осипович занимался издательской деятельностью, редактировал меньшевистскую «ликвидаторскую» «Рабочую газету». Он входит в Организационный комитет меньшевиков, выполнявший в России функции ЦК, взаимодействует с думской социал-демократической фракцией.

Возможно, Мартов и Февральскую революцию 1917 года встретил бы в России. Но летом 1914 года он отправился ненадолго во Францию, где и остался после начала войны. Мартов оказывается на левом фланге меньшевистской партии и становится лидером меньшевиков-интернационалистов. Юлий Осипович, всегда являвшийся противником национализма, сразу занимает антивоенную, пацифистскую позицию. Он участвует в организации международных конференций социалистов-интернационалистов в Швейцарии в Циммервальде (август 1915 года) и Кинтале (апрель 1916 года). Редактирует интернационалистский журнал «Голос». Впрочем, в отличие от Ленина, интернационализм Мартова не простирался до лозунга «поражения своего правительства» в империалистической войне...¹⁵

В годы войны Мартов находился в непростом положении, поскольку резко сократились возможности публиковаться в легальной российской печати, что являлось главным источником заработка. Мартов еще до войны стал сотрудничать в издававшихся М. Горьким журналах «Современник» и «Летопись». Журналы были изданиями социал-демократической, по сути мень-

шевистской направленности, а с началом войны превратились в рупор интернационалистов. Немногие статьи Мартова допускались к публикации военной цензурой. В итоге Мартову приходилось зарабатывать на жизнь переводом беллетристики. «Не скажу, чтобы очень меня удовлетворяла такая работа, как перевод романов, но и то хлеб», — сетовал Юлий Осипович в одном из писем в декабре 1916 года.¹⁶

ТУПИК «ТРЕТЬЕГО ПУТИ»

В Россию Мартов вернулся одним из последних политиков-эмигрантов — 9 мая 1917 года. В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев появились в Петрограде пятью неделями ранее, при этом, как известно, их путешествие в «запломбированном» вагоне через Германию вызвало бурный скандал. Между тем план проезда русских социалистов через Германию принадлежал Мартову. Когда стало очевидным, что английские власти отказываются пропускать эмигрантов-интернационалистов, Мартов предложил вариант обмена на немецких военнопленных, но его отвергли представители Временного правительства. Месяц спустя после прибытия в Петроград первой группы эмигрантов (включавшей Ленина) Мартов, Аксельрод и другие социалисты направили в Петроградский Совет телеграмму, в которой предупреждали: «Отстраняя проект обмена, вы нас обрекаете оставаться здесь до конца войны. <...> Наша же обязанность при таких обстоятельствах — попробовать через посредство социалистов нейтральной Швейцарии получить разрешение проезда через Германию. <...> Соображения дипломатического характера, опасения ложного истолкования отступают для нас на задний план перед могучим долгом участвовать в великой революции. Ваша политическая обязанность защищать это решение».¹⁷

По прибытии в Петроград Мартов занял особую позицию. В раскладе партийно-политических сил возглавлявшаяся им группа меньшевиков-интернационалистов находилась между партийным меньшевистским центром и большевиками (и подчас Мартова и его сторонников называли «полуленинцами»). Он отстаивает свою политическую «самобытность» в меньшевистской среде. К примеру, отказавшись входить в редакцию партийного официоза «Рабочая газета», Мартов стал издавать «Летучий листок меньшевиков-интернационалистов», а затем газету «Искра», публиковался в газете Горького «Новая жизнь». Но при этом Мартов не допускал открытого партийного раскола.

Политический курс, который Мартов пытался проводить вплоть до Октября 1917-го, базировался на нескольких ключевых установках.

Юлий Осипович отвергал идею вхождения представителей социалистических партий во Временное правительство. В первый же день, отправившись буквально с поезда на Всероссийскую конференцию меньшевистских и объединенных организаций, Мартов раскритиковал принятое уже решение об участии меньшевиков и эсеров в коалиционном правительстве. «Соглашательство» с кадетами он считал опасным. Социалисты, разделив с либералами ответственность за деятельность власти и не имея возможности проводить политику в интересах рабочих и крестьян, оттолкнул от себя народные массы. Более того, это бросит их «в объятия ленинизма».

Отрицательное отношение к коалиции Мартов увязывал и со своим подходом к вопросу войны и мира. Лидеров меньшевиков и эсеров он критиковал за то, что они, сделав ставку на вступление в правительство, стали «революционными оборонцами». Мартов же агитировал за объявление Россией перемирия и начало переговоров о всеобщем мире. Группа интернационалистов была немногочисленна и оказывалась в меньшинстве в руководящих органах партии и на всех партийных мероприятиях. Но с интернационали-

стами приходилось считаться — во многом благодаря имени и авторитету Мартова. Ф. И. Дан, один из лидеров официального партийного центра, сокрушался: «День и ночь работаю на оборону. Каждую ночь, до четырех часов утра, с Мартовым разговариваю...» Что неудивительно, ибо Юлий Осипович поселился в Петрограде на квартире своей сестры и жены Дана (Сергиевская ул., д. 50).¹⁸

В то же время Мартов считал авантюристической политику большевистских вождей, которые, скептически встретив «апрельские тезисы» Ленина, вскоре подчинились его тактике. Мартов обвинял большевиков в бесстыдной демагогии, разжигании инстинктов толпы, в искусственной радикализации настроений трудящихся и т. д. Но это неприятие ленинского экстремизма диктовалось не только уверенностью, что буржуазно-демократическая стадия революции должна занять годы или десятилетия. Мартов опасался: анархической стихией, чреватой еще большей разрухой, дезорганизацией в стране, может воспользоваться «контрреволюция справа», желающая реставрации монархии или установления военной диктатуры под лозунгами «твердой власти» и «войны до победного конца». ¹⁹ Неготовность увидеть в большевиках самодостаточную силу, представляющую опасность для демократического строя, — распространенная иллюзия, в плену которой оказались многие лидеры меньшевиков и эсеров.

Политический кризис начала июля 1917 года, массовые беспорядки в Петрограде, разжигавшиеся большевиками, так называемый «мятеж» генерала Л. Г. Корнилова в конце августа — знаковые события, повлиявшие на установки Мартова. По-прежнему считая, что в России нет «классических», с точки зрения марксизма, предпосылок для перехода к социализму, Мартов тем не менее выступает за изменение политической конфигурации власти. Он убежден: нужно покончить с практикой коалиции, власть должна перейти в руки «революционной демократии». Юлию Осиповичу это виделось как создание «единого демократического фронта» — коалиции всех социалистических сил, которая сформирует новое правительство. Мартов не выдвигал большевистский лозунг «Вся власть Советам!», но, по сути, предлагал взять власть всем социалистическим партиям, представленным во ВЦИК Советов.

Какова была логика Мартова? Февральская революция и ее дальнейшее развитие — массовый и глубокий социально-психологический процесс. Происходит стремительная политическая радикализация, «полевение» тех активных слоев «трудовой демократии», от которых зависит стабильность в обществе. Нарастает недовольство политикой коалиционного Временного правительства, которое погрязло в «соглашательстве с буржуазией». Привыкнув мыслить категориями «борьбы классов», Мартов констатирует обострение классовых противоречий. И, по его мнению, предотвратить сползание страны к гражданской войне может только переход власти к социалистическому правительству.

Мартова тревожит и то, что на фоне усиления антибуржуазных настроений большевики могут взять инициативу и, пользуясь бездействием умеренных социалистов, захватить власть. Мартову был хорошо знаком стиль поведения Ленина и его соратников, их готовность воспользоваться любыми средствами ради достижения своей цели.

БЕССИЛИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ

Недооценка серьезности и коварности заговорщических намерений большевиков, прикрывавших свои действия риторикой на тему «восстания рабочих масс», «защиты от контрреволюции», — ошибка не одного лишь Мартова. Примечательно, что 24 октября, когда большевики уже планомерно

захватывали в столице важнейшие объекты, на заседании Предпарламента Мартов обрушивается на... премьера А. Ф. Керенского, который потребовал себе чрезвычайных полномочий для подавления мятежа. «Слова министра-председателя, позволившего себе говорить о движении черни, когда речь идет о движении значительной части пролетариата и армии, хотя бы и направленном к ошибочным целям, являются словами вызова гражданской войны», — заявлял Юлий Осипович. Он утверждал, что репрессиями правительство ничего не добьется. Чтобы выбить у большевиков политическую почву, нужны радикальные реформы, обеспечивающие «удовлетворение нужд революции». Мартов доказывал, что «демократия» может поддержать правительство лишь в том случае, если оно гарантирует проведение «политики немедленного мира», то, что «демократизация армии не будет приостановлена», а также обеспечит передачу частных земель в ведение земельных комитетов.²⁰ После многочасовых дискуссий подобная резолюция была принята голосами меньшевиков и эсеров, но, понятно, она не могла помочь защите Временного правительства.

II Всероссийскому съезду Советов, открывшемуся в ночь с 25 на 26 октября, Ленин и его соратники отводили роль политической декорации — это псевдопарламент, который создаст видимость «легитимности» переворота. В самом начале заседания, на фоне доносившихся до Смольного звуков оружейных выстрелов, на трибуну поднялся Мартов. Слабым и охрипшим голосом (следствие туберкулеза гортани, ставшего стремительно прогрессировать в 1917 году) он охарактеризовал действия большевиков как авантюру и потребовал принять меры к мирному урегулированию кризиса. Первым делом нужно прекратить боевые действия (это начало гражданской войны!) и приступить к переговорам о создании коалиционного социалистического правительства. Предложение Мартова, сделанное от имени меньшевиков-интернационалистов (их фракция насчитывала 30 человек — из 562 делегатов, зарегистрированных к открытию съезда), поддержали лидеры всех фракций. Как утверждал относительно «вменяемый» А. В. Луначарский, большевики тоже «ничего не имеют против предложения Мартова».²¹ Но затем, после ряда резких заявлений со стороны представителей фракций меньшевиков и эсеров, разгорелась перепалка с большевиками, и основная часть умеренных социалистов покинула съезд — некоторые направились на защиту осажденного в Зимнем дворце Временного правительства.

Мартов вновь взял слово и предложил резолюцию. Констатируя, что «переворот грозит вызвать кровопролитие, междоусобие и <...> торжество контрреволюции», предлагал начать переговоры со всеми социалистическими партиями об образовании «общедемократического правительства» и сформировать для этого делегацию. На время переговоров заседание съезда нужно приостановить. Последнее предложение явно срывало тактические замыслы большевиков, и резолюцию Мартова даже не поставили на голосование. Л. Д. Троцкий с истерическим пафосом отвергал идею вообще каких-либо переговоров: «Восстание народных масс не нуждается в оправдании. <...> Я спрашиваю: с кем мы должны заключить соглашение. С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда и которые делают эти предложения? Но ведь мы их видели целиком. Больше за ними нет никого в России. <...> Тем, кто ушел отсюда и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы — жалкие единицы, вы — банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории». «Тогда мы уходим!» — был ответ Мартова, чувствовавшего бесперспективность и унижительность дальнейшего участия в заседании съезда.²²

Идею создания однородного социалистического правительства («от народных социалистов до большевиков») Мартов отстаивал и в дальнейшем.

Сразу после октябрьского переворота он пытался вести переговоры с «умеренными» большевиками (в частности с Л. Б. Каменевым). Юлий Осипович участвовал в переговорах, инициированных Викжелем (Всероссийским исполнительным комитетом профсоюза железнодорожников), ультимативно потребовавшим от большевиков создания коалиционного социалистического правительства. Мартову казалось предпочтительным образование «делового» министерства с участием отдельных большевиков, «наименее одиозных для правого крыла демократии» (к примеру, А. В. Луначарского, А. И. Рыкова, М. Н. Покровского), и под председательством эсера В. М. Чернова. Такое правительство могло бы существовать до созыва Учредительного собрания, являясь ответственным перед специальным органом из представителей ВЦИК Советов (причем двух его составов — меньшевистско-эсеровского и послеоктябрьского — большевистского), крестьянских советов, городских дум Петрограда и Москвы, профсоюзов.

Переворот Мартов рассматривал не только как поражение партии меньшевиков — он, безусловно, видел в нем трагическое для России событие. В ноябре-декабре 1917 года, в частных письмах, Мартов пишет об «отвратительности» захвата власти большевиками накануне открытия Съезда Советов, где у них не было прочного большинства, об установлении режима «цезаризма», «преторианства», о призвании во власть «карьеристов самого гнусного типа» и просто уголовников, о неизбежных попытках новой власти заняться насаждением социализма в «аракчеевском понимании». Но Мартов остается еще заложником старых политических стереотипов, опасаясь, что «самое страшное» — захват большевиками власти — может завершиться контрреволюцией и победой кадетов. В то же время Мартов полагал, что большевики, захватившие власть в результате военного переворота, имеют, тем не менее, массовую социальную базу: «Я не думаю, чтоб ленинская диктатура была обречена на гибель в скором уже времени».²³

Однако при этом Мартова особенно беспокоит предчувствие, в сколь порочные формы могут вылиться насильственные попытки «европейский идеал насадить на азиатской почве»: «Для меня социализм всегда был не отрицанием индивидуальной свободы и индивидуальности, а, напротив, их высшим воплощением. А так как действительность сильнее всякой идеологии, потому под покровом „власти пролетариата“ на деле тайком распускается самое скверное мешанство со всеми специфически русскими пороками некультурности, низкопробным карьеризмом, взяточничеством, распушенностью, безответственностью и проч., то ужас берет при мысли, что надолго в сознании народа дискредитируется идея социализма... Мы идем через анархию несомненно к какому-нибудь цезаризму».²⁴

ПРОТИВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

Состоявшийся в начале декабря 1917 года Экстренный съезд РСДРП (объединенной) возвратил Мартову ведущее положение в меньшевистской партии: вместе с Ф. И. Даном он возглавил лево-центристское большинство. После Октября 1917-го вопросы, которые раскалывали меньшевиков на «интернационалистов» и «революционных оборонцев», на противников и сторонников коалиции с кадетами и т. п., потеряли значение. Лишь небольшая часть меньшевистских деятелей, занимавших и ранее крайне правые позиции в партии (А. Н. Потресов, М. И. Либер, Б. О. Богданов и др.), не согласилась с предложенным Мартовым курсом. Для Мартова и его сторонников принципиальным было признание невозможности участия в вооруженной борьбе с большевистским режимом (в этом они расходились с правыми меньшевиками и, в целом, с партией эсеров).

В письме от 30 декабря 1917 года П. Б. Аксельроду (еще до октябрьского переворота выехавшему в Стокгольм) Мартов рассказывал о сути разногласий между центром и правым течением, обвинявшим его в «большевистском уклоне»: «„Большевизм“ этот, конечно, заключается в том, что мы не считаем возможным от большевистской анархии апеллировать к реставрации бездарного коалиционного режима, а лишь к демократическому блоку; что мы за преторьянско-люмпенской стороной большевизма не игнорируем его корни в русском пролетариате, а потому отказываемся организовывать гражданскую войну против него и что мы отвергаем большевистскую „политику мира“ во имя интернациональной акции пролетариата за мир, а не во имя „восстановления согласия с союзниками“, т. е. продолжения войны до весны или далее». Но все эти противоречия сглаживаются общим пониманием, что конъюнктура весьма неблагоприятна для партии: «Народные массы или еще с большевиками, или уже, испытав первые разочарования, пропитываются политическим индифферентизмом. Хотя мы собрали на выборах до полумиллиона голосов (имеются ввиду выборы в Учредительное собрание. — *И. А.*), но масс у нас, кроме Кавказа, нет, а в революционное время без масс трудно сохранять жизненную партийную организацию. Собрания не посещаются. Деньги в партийную кассу не поступают, газета распространяется мало. <...> Политическое положение — ужасное. И в области мира, и в области экономической разрухи дело явно идет к фиаско большевизма, но много оснований опасаться, что оно сменится не торжеством демократии, а всеобщей анархией».²⁵

Политическая линия меньшевиков, определявшаяся в значительной мере Мартовым, — оппозиция большевистскому режиму, но оппозиция умеренная. Юлий Осипович отказывался, с позиций «правоверного» социал-демократа, признавать в большевистской диктатуре «диктатуру пролетариата»: «Диктатура эта фактически осуществляется интеллигентской богемой, известной частью городского пролетариата и приобщившейся к власти части мелкой буржуазии. Получается карикатура на диктатуру пролетариата, картина своеобразного русского якобинства».²⁶

Разгон Учредительного собрания Мартов считал преступным. Он решительно протестовал и в связи с заключением Брестского мира — это шаг, идущий вразрез с национальными интересами России («страна отдана в рабство германским империалистам») и предпринятый без согласия демократического народного представительства. В то же время Мартов выступал против союзнической интервенции. Членам партии запрещалось участвовать в вооруженной борьбе с большевиками — не только в рядах Белого движения, но и под знаменами Учредительного собрания, вместе с эсерами. Мартов оставался сторонником демократической республики и создания власти, имеющей своим источником всенародно избранное представительство. Тем не менее в декабре 1918 года Всероссийское совещание меньшевиков сняло лозунг передачи власти Учредительному собранию, которое из-за действий эсеровских лидеров стало «органом контрреволюции».

В марте 1919 года, в разгар гражданской войны и борьбы с интервенцией, ЦК партии открыто встал на сторону большевистской Советской власти. Оправдывалось это меньшевистскими идеологами в духе «не навреди»: «Опасность иностранного нашествия может только усилить господство террористических и утопических тенденций в советской России, подавляя всякую оппозицию им со стороны трудящихся масс, в то время как предоставление России возможности мирного развития и снятия удушающей ее блокады неизбежно вырвет почву из-под этих тенденций и дадут <...> возможность успешно бороться за оздоровление политического строя советской России, за восстановление политической свободы и за торжество экономической

политики, соответствующей социальным условиям нашей страны».²⁷ В мае 1920 года ЦК меньшевиков, отвергая позицию нейтралитета в условиях борьбы с Белым движением, объявил, что большевистская власть является «объективно отстаивающей в данный момент интересы не только своей партии, но и всей революции».²⁸ Позиция совсем не бесспорная, позволявшая обвинять Мартова в «соглашательстве», «капитуляции» и т. п.

Однако никто не сомневался в принципиальности и бескомпромиссности Мартова во всех вопросах, касавшихся нарушения большевиками свобод, элементарных прав человека, применения насилия против своих политических противников, развязывания «красного террора» и вообще превращения террора в главный инструмент сохранения власти и управления страной. С осуждением политических репрессий Мартов начал выступать в первые же послеоктябрьские дни. К примеру, в статье «Вопрос чести» в газете «Искра» от 4 декабря 1917 года Юлий Осипович негодовал: «Ныне, во время господства „рабочего и крестьянского правительства“, тюрьмы и даже тюремные подвалы снова переполнены политическими заключенными. Снова узнаем мы о невыносимых условиях заключения в не топленных и битком набитых камерах, о голодном пайке, который выдается заключенным, о насилиях и оскорблениях, которым они подвергаются со стороны караула, об издевательствах со стороны „начальства“. <...> Рабочие должны призвать к порядку этих Троцких и Коллонтай, только что вышедших из тюрем и ныне самым низким образом покрывающих бесчинства тюремной стражи над новыми заключенными, этих Марий Спиридоновых, взывавших к сочувствию всего мира, когда сами проходили по Голгофе тюремных страданий в царских казематах, чтобы ныне благочестиво ораторствовать в Смольном об якобы наступающем царстве социализма в то самое время, как в подвале Смольного буржуа и социалисты, журналисты и пролетарии умственного труда подвергаются режиму морального истязания».

Машина государственного террора набирала обороты, и Мартов смело выступает с чрезвычайно резким обращением «Долой смертную казнь»: «Как только стали они у власти, с первого же дня, объявив об отмене смертельной казни, они начали убивать». Юлий Осипович осуждает безнравственность большевизма, который дискредитирует любые идеи социализма: «Позор партии, которая званием социалиста пытается освятить гнусное ремесло палача!» Он клеймит построенную на терроре и «праве силы» систему власти, не имеющую ничего общего с политикой: «Человеческая жизнь стала дешевле. Дешевле бумаги, на которой палач пишет приказ об ее уничтожении. Дешевле повышенного хлебного пайка, за который наемный убийца готов отправить человека на тот свет по распоряжению первого захватившего власть негодяя».²⁹

По итогам первого года большевистского правления, Мартов обозначает, по сути, главную тенденцию «государственного строительства» — «красный террор» доведен до логического конца и уже отчетливо просматриваются признаки тоталитарного режима. «Чрезвычайки, призванные спасти советское отечество, начали, согласно седому обычаю всех спасителей, превращаться в повелителей, — констатирует Мартов. — Гражданская и военная бюрократия, успевшая к годовщине октябрьской революции съесть на деле „всю власть Советов“, увидела, в свою очередь, свою собственную власть уничтожаемой самодержавием с Лубянки. „Экспроприаторы экспроприируются“. От Учредительного Собрания к Советам, от Советов — к комиссарам, от комиссаров — к чрезвычайкам, — такова конституционная эволюция советской России за год». «Век Человеческий Короток», — приводит Мартов одну из народных расшифровок аббревиатуры «ВЧК» и говорит о превращении бывшего здания страхового общества на Большой Лубянке в зловеще освещаемый огнями «дом вздохов».³⁰

Не удивительно, что Мартов изначально был для большевиков одним из самых ненавистных противников, объектом постоянных нападок большевистской пропаганды.

В апреле 1918 года Мартов (к этому времени он уже переехал в Москву) предстал перед Московским революционным трибуналом. «Дело Мартова» было возбуждено по жалобе И. В. Сталина. Мартов обвинялся в том, что в статье в газете «Вперед» он привел будто бы клеветнические сведения об участии Сталина в экспроприациях и его исключении из партии. Кроме того, Мартова обвиняли в «оскорблении рабоче-крестьянского правительства и агитации к восстанию против него». Основанием для этого были нелицеприятные оценки действий большевиков при заключении Брестского мира, а также политики по подавлению демократии в Грузии. Но и в ходе заседаний трибунала Мартов разоблачал большевистские власти, обвинял их в пропагандистской лжи, касавшейся деятельности меньшевиков на Кавказе: «Кавказские виселицы и расстрелы понадобились „Правде“ для артиллерийской подготовки похода на Кавказ в целях его присоединения в целях выполнения обязательств, которые взял на себя Ленин: отдать Батум, Керчь и Ардаган Турции». Приговором Мартову стало «порицание» — за «преступное пользование печатью». ³¹ Мартов отреагировал фельетоном «Из записок легкомысленного писателя», предложив еще одно название для большевистского режима — «республика народных кумовьев»: власть делает все, чтобы покрывать неприглядные и аморальные поступки своих вождей!³²

По счастливому стечению обстоятельств Мартов не попал в Бутырки, когда в апреле 1919 года в Москве, Петрограде и других городах начались массовые аресты меньшевиков (среди них были и члены ЦК). Меньшевики называли это «охотой на социалистов», объявленной ВЧК, «вероломным» нарушением обещания, данного в ноябре 1918 года, — мол, «позиция нашей партии позволяет признать ее право на легальное существование в советской России»³³. В это время Мартов был помещен под домашний арест. «Прикомандированные» охранники запрещали входить и выходить из квартиры, отвечать на телефонные звонки, перехватывали корреспонденцию. А. В. Луначарский просил Ленина отменить домашний арест Юлия Осиповича, но его бывший товарищ отказался: «Нет, его освободить нельзя. Мартов слишком умный человек, пускай посидит!»³⁴

Во многом беспрецедентным событием стало выступление Мартова с декларацией от имени партии меньшевиков на VII съезде Советов в декабре 1919 года. Он обвинял большевистских вождей в нарушениях советской конституции, в «вырождении» института Советов, которые на всех уровнях превращаются в декорацию, прикрывающую диктатуру РКП(б). Так, более года не созывался съезд Советов, ЦИК Советов не имеет реальной власти, Совнарком не согласует с ним никакие свои решения и, в действительности, не подотчетен Советам. При отсутствии свобод печати и собраний, разгроме независимых рабочих организаций, ликвидации «всяких признаков самоуправления и самодеятельности широких масс трудящихся» «происходит то развитие бюрократизма во всем механизме управления, которое убивает непроизводительно большую часть энергии, затрачиваемой государством на дело борьбы с голодом, холодом, болезнями и другими недугами нашей жизни». Одновременно «возрождается и укрепляется воспитанная столетиями царского и крепостного рабства апатия масс, паралич гражданского сознания, готовность переложить всю ответственность за свои судьбы на плечи правительства».

На этом фоне Мартова особенно волновало наличие условий для «образования государства в государстве — превращение в самодовлеющую властную силу тех органов репрессии и полицейского надзора, которые породила

гражданская война». Механизм ЧК разросся до «гигантских размеров», он бесконтролен, при «упразднении всякого подобия суда» в руки ЧК полностью отданы «жизнь, свобода и честь граждан». Разумеется, предложения меньшевиков, касающиеся демократизации большевистского режима (свободные выборы в Советы и установление ответственности перед ними исполнительной власти, восстановление системы правосудия, «отмена бессудных расправ, административных арестов и правительственного террора»), не имели ни малейшего шанса на осуществление.³⁵

ПОСЛЕДНИЕ ПРИЗНАНИЯ

Решение об отъезде Мартова за границу руководство меньшевистской партии приняло в мае 1920 года. Заявлялось, что Мартов и Р. А. Абрамович командированы в Западную Европу для создания Заграничной делегации РСДРП, которая будет представлять интересы меньшевистской партии в международных рабочих организациях. Всем было очевидно, что дальнейшее пребывание Юлия Осиповича в России становится чрезвычайно рискованным; не давал ему гарантий безопасности и мандат депутата Московского Совета. В это время, после визита в Москву делегации английских лейбористов и откровенных бесед с ними лидеров меньшевиков и эсеров, началась новая волна репрессий — под лозунгом расправы с «доносчиками Ллойд Джорджу». Соратники по партии учитывали и необходимость интенсивного лечения Мартова — туберкулез неумолимо прогрессировал и уже привел к почти полной потере голоса. Власти долго тянули с выдачей паспортов для легального выезда Мартова и Абрамовича — в ЦК РКП(б) не было единого мнения. Мартов считал унижительным для себя просить о чем-либо Ленина. Во время выступлений он называл Ленина подчеркнуто официально — «докладчик от коммунистической партии»; а по-человечески Мартов его презирал: «Он подписывает смертный приговор, ложится спать и спокойно спит до утра». Д. Ю. Далин вспоминал, как М. М. Литвинов объяснял принятое все-таки положительное решение о выезде Мартова за рубеж: «Ленин находит, что здесь вы все много вредите; будет лучше, если вы окажетесь за границей. Там, по крайней мере, выступайте за признание Советской власти».³⁶ Ходили слухи, что Ленин, несмотря на острую политическую борьбу с Мартовым, сохранял остатки личной симпатии к Юлию Осиповичу. И, возможно, Ленин просто пожалел Мартова, спасая его от неминуемого ареста и гибели — в лучшем случае в тюремной больнице...

В конце сентября 1920 года Мартов выехал из Москвы в Ревель, а затем через Швецию — в Германию. Благодаря стараниям Э. Бернштейна, главного идеолога «реформистского» течения германской социал-демократии, Рейхстаг предоставил Юлию Осиповичу политическое убежище. С первых же дней пребывания за границей Мартов стал выступать с резкими антибольшевистскими заявлениями, и уже не приходилось рассчитывать на возможность его возвращения в Советскую Россию. Главной темой его выступлений была внутренняя политика большевиков, разоблачение их диктатуры, политического террора. Кроме того, в среде западной социал-демократии Мартов развил агитацию против Коминтерна и его большевистских лидеров, обвиняя их в намерении установить диктатуру над всем международным рабочим движением.

В эмиграции основная деятельность Мартова была связана с редактированием журнала «Социалистический вестник», который он начал выпускать в Берлине в феврале 1921 года. Поначалу у него сохранялись иллюзии, что большевистский режим может начать эволюционировать в сторону демократии и экономической свободы. Определенные надежды он возлагал на появ-

ление оппозиции внутри самой РКП(б): «Сохранение данной диктатуры и экономический застой, упадок, разложение и смуты; или крутой поворот, новая политика — и возможность новой экономики». ³⁷ Отчасти веру в возможность «пробуждения» тех, кто раньше был надежной опорой большевизма, давало восстание матросов Кронштадта в марте 1921 года. «Массы, прошедшие большевистскую политическую школу, продолжающие признавать идеалом „власть Советов“ и верить в немедленную осуществимость социалистического строя, идут на смерть за меньшевистские лозунги политической свободы, свободно избранных Советов, раскрепощения профсоюзов, уничтожения партийной диктатуры коммунистов и террора чрезвычайек и соглашения с крестьянством на почве уступок требованиям свободы торговли...» — с радостью констатировалось на страницах «Социалистического вестника». ³⁸ На первых порах хотелось надеяться, что НЭП приведет к осуществлению ключевых меньшевистских требований — «бесповоротный разрыв с режимом террористической диктатуры», «отказ от утопической хозяйственной политики и соглашение с другими социалистическими партиями на основе утверждения власти трудящихся». Но уже 30 марта 1921 года Мартов высказывал опасение, что перетрусивший Ленин решил «уловлять мужичка свободной торговлей» и будет вести «чисто зубатовскую политику: экономические уступки при сохранении политической диктатуры». ³⁹ В августе 1921 года ЦК меньшевиков предупреждал, что НЭП в условиях большевистской диктатуры не даст результатов экономических — не будет развития предпринимательской инициативы, подъема сельского хозяйства, притока капиталов в промышленность.

Надежды на политическую либерализацию советского режима подрывали известия о продолжающихся преследованиях противников коммунистической партии. В период Кронштадтского мятежа было арестовано около полутора тысяч социалистов. Мартов гневно осудил расстрел в Петрограде митрополита Владимира: «Мы утверждаем, что ни в Петрограде, ни в каком-либо другом пункте России не найдется 12 присяжных, свободно выбранных народом или добровольно взятых из народа, из рабочих и крестьян, которые согласились бы осудить на смерть служителя церкви, виновного только в агитации против изъятия церковных имуществ <...> Невольно думается, что адская воля самых реакционных ее (революции. — *И. А.*) врагов водила за кулисами рукою идиотов, подписывающих и предписывающих эти безумные кровавые приговоры». ⁴⁰

Тщательную подготовку к процессу над эсерами Мартов рассматривает как переход на новый, более организованный и циничный уровень репрессий. Он опасается, что после первого прецедента — показательного политического процесса над эсерами — массовой судебной расправе подвергнутся и меньшевики. Мартов убежден, что в случае с эсеровским процессом «дело идет — и быстро — к кровавой развязке». Он организует кампанию протестов со стороны общественных кругов Западной Европы и добивается подключения «последних ресурсов» — Максима Горького и Анатоля Франса. ⁴¹ В конечном счете, смертные приговоры были вынесены, но привести их в исполнение не решились.

Кстати, в Советской России остались и были арестованы два брата Мартова — Владимир Левицкий (по делу «Национального центра» он получил «вышку», замененную каторгой) и Сергей Ежов. Последующая их жизнь состоялась из сплошной чреды арестов, тюремных сроков и ссылок. Владимир умер в тюрьме после избития на допросе в 1938 году, а Сергей был расстрелян в 1939 году. ⁴² Из близких родственников Мартова наиболее благополучно сложилась судьба сестры — Л. О. Дан и ее мужа Ф. И. Дана, фактически высланных из Советской России в 1922 году. После начала фашистской окку-

пации Франции они переехали в США и жили в Нью-Йорке, где в 1947 году умер Федор Ильич, а в 1963 году — Лидия Осиповна. Что же касается Мартова, то собственной семьей он так и не обзавелся. Известно, правда, что в первые годы XX столетия он собирался жениться на француженке и социалистке Поли Гордон. Но уже назначенная свадьба не состоялась, поскольку Юлий Осипович в этот день зашел в парижское кафе, погрузился в жаркие политические споры с товарищами по партии и забыл обо всем на свете...⁴³

Обострение туберкулеза заставило Мартова в ноябре 1922 года сложить с себя обязанности по редактированию «Социалистического вестника». В ночь на 4 апреля 1923 года в санатории деревушки Шемберг, в горах Шварцвальда, Юлий Осипович умер. 10 апреля в Берлине, в крематории, состоялось прощание с Мартовым. Съехались социалисты всех стран; присутствовал на церемонии и М. Горький.

«Вряд ли кто-либо нанес большевистской идеологии столько смертельно ранящих ударов, как Мартов, и вряд ли кто-нибудь сделал столько, чтобы предотвратить самую возможность ее возрождения в рабочем классе России и всего мира!» — писал в «Социалистическом вестнике» Ф. И. Дан.⁴⁴ Появившийся же в «Правде» некролог, подписанный К. Радеком, напоминал скорее публицистический пасквиль: «Будучи лично глубоко искренним человеком, субъективно убежденным в правоте своей позиции, и, следовательно, нашим честным противником, Л. Мартов играл в нашей революции объективно вреднейшую роль. Вся расхлябанность, шатания, беспринципность, практическая беспомощность и контрреволюционность буржуазии нашли в Л. Мартове свое наиболее полное выражение, <...> он умер вместе с меньшевизмом в полном одиночестве, как раз тогда, когда пролетариат проламывает ворота в социалистическое будущее человечества». Н. К. Крупская вспоминала, что незадолго до смерти тяжело больной Ленин печально сказал: «Вот и Мартов тоже, говорят, умирает». Есть свидетельство, что Ленин, узнав спустя месяц из газеты о кончине Юлия Осиповича, очень расстроился и даже заплакал. Впрочем, быть может, это лишь отголоски сентиментальных мифов о «самом человечном человеке», еще одна историческая легенда...

¹ См.: Мартов Ю. О. Записки социал-демократа. М., 1924. С. 13—24, 45—46; Попова Т. Ю. (Цедербаум). Судьба родных Л. Мартова в России после 1917 года. М., 1996. С. 14—15.

² Мартов Ю. О. Записки... С. 31—33.

³ Мартов и его близкие. Н.-У., 1959. С. 13.

⁴ Мартов Ю. О. Записки... С. 65—69.

⁵ Там же. С. 97—98.

⁶ Там же. С. 111—113, 126, 134, 172.

⁷ Казарова Н. А. Ю. О. Мартов. Штрихи к политическому портрету. Ростов-на-Дону, 1998. С. 13.

⁸ Мартов Ю. О. Записки... С. 240, 270.

⁹ Там же. С. 342—355.

¹⁰ Казарова Н. А. Указ. соч. С. 53.

¹¹ Там же. С. 67—72.

¹² Подробнее см.: Л. М-ов. Социал-демократия в 1905—1907 гг. // Общественное движение в России в начале XX в. Т. 3. Ч. 5. СПб., 1914. С. 539—540, 550—555.

¹³ Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 2. Кн. 3—4. М., 1991. С. 182.

¹⁴ Мартов Л. Спасители или празднители? [Б. м.], 1911.

¹⁵ Мартов Л. Война и российский пролетариат. С. 109—111, 122—125.

¹⁶ Мартов Ю. О. Письма. 1916—1922. Venson, 1990. С. 10.

¹⁷ Рабочая газета. 1917. 4 мая.

¹⁸ Суханов Н. Н. Указ. соч. С. 185.

¹⁹ Летучий Листок меньшевиков-интернационалистов. 1917. Май. № 1. С. 3.

²⁰ Известия. 1917. 25 октября.

²¹ Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С.Д. М.—Л., 1928. С. 4, 34—35.

²² Там же. С. 41—44.

- ²³ Мартов Ю. О. Письма. С. 14—26.
- ²⁴ Мартов и его близкие. Нью-Йорк, 1959. С. 49.
- ²⁵ Мартов Ю. О. Указ. соч. С. 25—26.
- ²⁶ Цит. по: Ильяшук Г. И., Миллер В. И. Мартов Юлий Осипович // Политические деятели России 1917: Биографический словарь. М., 1993. С. 207.
- ²⁷ Известия ЦИК. 1919. 1 марта.
- ²⁸ Оборона революции и социал-демократия. Сб. статей. Вопросы социал-демократической политики / Под ред. Л. Мартова. Вып. I. Пг.—М., 1920. С. 8.
- ²⁹ Мартов Л. Долой смертную казнь! М., 1918.
- ³⁰ Мартов Л. Новый курс в советской России (Письма из Москвы) // Мысль (Харьков), 1919. № 1. С. 9—10.
- ³¹ Заря России. 1918. 4 (17) апреля.
- ³² Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. Политик и историк. М., 1997. С. 333—335.
- ³³ См. текст выпущенной ЦК РСДРП листовки в кн: Мартов Ю. О. Письма. С. 280—284.
- ³⁴ Мартов и его близкие. С. 112.
- ³⁵ См: Мартов Ю. О. Письма. С. 293—296.
- ³⁶ Мартов и его близкие. С. 105.
- ³⁷ Социалистический вестник. 1921. № 1.
- ³⁸ Социалистический вестник. 1921. № 4.
- ³⁹ Мартов Ю. О. Письма. С. 11.
- ⁴⁰ Социалистический вестник. 1922. № 15.
- ⁴¹ Мартов Ю. О. Письма. С. 165—167.
- ⁴² Попова Т. Ю. Указ. соч. С. 30, 58.
- ⁴³ Там же. С. 17.
- ⁴⁴ Социалистический вестник. 1923. № 8—9.

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

ИРИНА УВАРОВА-ДАНИЭЛЬ

НЕМНОГОЕ, ЧТО ПАМЯТЬ СОХРАНИЛА

О Михаиле Михайловиче Бахтине

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Мне выпало общаться с Михаилом Михайловичем в разное время: ну, так и в чем дело — взять бы и писать о встречах. Меня же дернуло рассказать о том Юдифи Матвеевне Каган. Будто я не знала, что она славилась не только мощным интеллектом, но и неопикуемой прямою. И нарвалась... «Вот Сергей Сергеевич Аверинцев говорит: Бахтин был молчалив, а теперь получается — он только и делал, что разговаривал со всеми».

После чего я сочла необходимым не только отказаться от намерения написать о встречах с великим человеком, но и вообще даже говорить о них. И как я могла сунуться к Юде со своими воспоминаниями — к дочери М. И. Кагана, близкого друга М. М. Бахтина, да и сама она о Бахтине писала. Так что я для нее была в этом деле так, «из публики», как ругалась Яблочкина. Строго говоря, так оно и было, с одной лишь оговоркой: если публика — это зрители, то мне по крайней мере довелось оказаться в массовке при Михаиле Михайловиче. Во всяком случае я до сих пор несу при его памяти некую реликтовую службу.

Еще.

Когда я пишу о ком-либо, кто известен человечеству и без меня, мне всегда хочется добавить: «Я здесь пребываю в тени». Так чтобы кто-нибудь не вздумал понять мое воспоминание как тему «М. М. Бахтин и я». Просто нельзя не пояснить, почему вообще возникла довольно дикая идея к нему отправиться с тем, чтобы задать один-единственный вопрос.

Ирина Павловна Уварова-Даниэль — искусствовед, театральнй художник. Работала в редакции журнала «Декоративное искусство», в Российском институте искусствоведения. Автор книг: «Смеется в каждой кукле чародей» (о В. Мейерхольде) (М., 2001), «Глина, вода и огонь» (М., 1973), «И плывет лодка» (М., 1993); сценограф многих спектаклей в молдавском театре «Лучафэрул», Тюменском театре кукол и масок. Лауреат премии журнала «Звезда» за 2011 г. Живет в Москве.

ПРЕДИСЛОВИЕ

— У меня на мистерию жизни не хватило, — ответил он.

Только прежде чем был задан вопрос про мистерию и прежде чем он на вопрос ответил, необходимо напомнить, чем была для нас книга М. М. Бахтина про Франсуа Рабле, про его роман, про народные обычаи Европы.¹

Эта книга была в желтом солнечном переплете. Эта книга открыла нам карнавальную культуру. Там шла речь не о культуре советской, не о культуре буржуазной — о карнавальной!

Оказалось — она, эта карнавальная культура, свойственна человечеству, как дыхание и пища, как жизнь и смерть.

Да что говорить — книга была подобна электрошоку, предназначенному морской свинке, — так мне казалось. Впрочем, скоро выяснилось: несметное число моих соотечественников и сверстников получило такой электрошок — и как надолго!

Одно время неприлично было написать что-либо без ссылки на заветный труд. Книгу о Рабле цитировали философы и культурологи. На нее ссылались искусствоведы и журналисты, и даже (вы не поверите) один кондитер.

Художники писали групповые портреты на карнавальную тему, изображали себя и своих друзей в своей мастерской, в застолье и в масках. Одно слово — карнавал! Только веселья у нас не получалось.

Вообще не получалось; хотя какой-то остряк, выходя из Елисейского гастронома, воскликнул: «Само vale!»

И все же, как написал один режиссер из города Свердловска, «книги Бахтина содержали такой заряд свободы, антидогматизма, бесстрашия! Они раскрывали бесконечные пространства, о которых мы раньше просто ничего не знали. Это было открытие Нового Света. Вообразите — не было Америки, и вот она есть. Мир нашего сознания, организованный как железобетонное сооружение („всерьез и надолго“ — В. И. Ленин), вдруг обрел глубину, задвигался, закувыркался, засмеялся».

Вадим Моисеевич Гаевский, театровед, сказал:

— Эта книга Бахтина в шестидесятые годы сыграла для нас такую же роль, какая в десятые годы выпала книге Павла Муратова «Образы Италии». Особенно глава «Венеция».

В ту пору главу «Венеция» я, кажется, знала наизусть и готова была выучить наизусть книгу Бахтина.

Карнавал предстал подобно граду Китежу или затонувшему городу норвежского фольклора — он тоже в урочное время появлялся из вод и уходил вновь в пучину. Неукоснительность сезонного появления карнавала «на суше», космическая предопределенность его исчезновения. А потом он, исчезающий бесследно, снова вылезает из вод забвения.

Какое-то стозевное чудовище появляется невесть откуда (кстати, откуда все же?). Оно хрюкает, жрет безудержно, хохочет или провоцирует хохот, и вдруг проваливается — куда? На самое дно человеческой истории. Или глубже...

Но если, как говорят, человечество смеясь расстается со своим прошлым, то это пугало огородное, именуемое сеньор Карнавал, человечество приветствует безудержным хохотом.

Nomo Sapiens Sapiens в час карнавала отдыхает от цивилизации.

Да ведь и у нас на Масленной неделе на балаганах Адмиралтейского бульвара вырастал прямо в Санкт-Петербурге другой город, дощатый, и много чего там было — смеху, насмешек, блинов, пирогов с требухой. Народное гулянье посе-

¹ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.

тил Грибоедов, по свидетельству Тынянова, — с Катенькой, актеркой. Да ведь не благородную даму приглашать на балаганы.

Впрочем, про балаганы потом.

Сей же час необходимо вспомнить, каким было расположение звезд, ответственных за земное искусство, — к тому часу, когда бахтинский карнавал въехал в советскую действительность на белом, как говорится, коне.

Во-первых, сам по себе карнавал М. М. Бахтина был, как мы понимали, открытием нобелевского масштаба.

Во-вторых, именно в ту пору, когда появилась книга Бахтина, острота и чуткость нашей реакции на темы массовых репрессий еще не притупились, а потому человеческие страдания автора вызывали горячее сочувствие к участи ученого. М. М. Бахтин был арестован давным-давно, потом сослан, потом забыт прочно; до самого появления книги. И при этом книга никак не напоминала о лишениях и страданиях — напротив: она свидетельствовала о торжестве неистребимого веселья.

А в-третьих, в тех же неземных департаментах, где намечалась участь искусства, происходило великое сближение крупных планет. Навстречу труду М. М. Бахтина о Франсуа Рабле уже был готов перевод романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», блистательный труд Н. М. Любимова.

Можно смело считать, что до того роман Рабле на русский язык не переводился. Считалось даже, что как раз на русский его перевести не только нельзя, но и совершенно невозможно, столь простодушно и откровенно говорилось в подлиннике о вещах, связанных с кругом понятий при слове «низ». Низменный — куда как непристойно!

Ханжеская наша культура, хотя, конечно, великая, но — ханжеская! (По крайней мере до недавнего времени, до Сорокина хотя бы).

И все же! Наша культура, не готовая ни к слову Рабле, ни к переводу Н. М. Любимова, да и к самой книге М. М. Бахтина, тоже ведь весьма откровенной, — приняла все же этого обновленного Рабле, отныне прочно вошедшего в отечественную словесную стихию.

А перевод Н. М. Любимова оказался конгениален исследованию М. М. Бахтина.

Поразительно, что они вышли в свет едва ли не одновременно, эти два исполинских труда. Если и с различием во времени издательском, то уже, во всяком случае, практически одновременно в историческом измерении — что такое, в самом деле, разница в пятнадцать лет!

Вот... «благодаря изумительному, почти предельно адекватному переводу Н. М. Любимова, — писал М. М. Бахтин, — Рабле заговорил по-русски, заговорил со всей неповторимой раблезианской фамильярностью, со всею неисчерпаемостью и глубиной своей смеховой образности».¹

Смех!

Карнавал смеялся. Смеялся перевод Любимова. А при этом сам Михаил Михайлович не являл собою образ юмориста. По крайней мере ни шуток, ни острот, ни каламбуров мне от него слышать не случилось.

Но, может быть, в беседах с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым они и разбирали специфический юмор карнавала. Эти откровенности карнавалных шуток, по свидетельству В. В. Иванова, Михаил Михайлович называл «мезальянсами». «Мезальянсы» так и шли во множественном числе.

Вообще же он особо чтит смеховую природу человека, способного на выходы остроумные или даже не очень уж остроумные. Смеховая природа выносила человека за его собственные пределы, придавала личности другое измерение, провоцируя лицедейство.

¹ Бахтин М. М. С. 65

А людей, лишенных от природы чувства юмора, понимания веселой относительности, называл *агеластами*. Агеласты были однозначны и тупы.

Но как же все-таки у него назывались антиподы агеластов?

Не знаю. *Карнавальные люди*, наверное.

Тут не могу удержаться от лирического отступления, от шага в сторону; правда, все же в сторону карнавальной культуры и раблезианства. С переводчиком Рабле Н. М. Любимовым приятельствовал Д. С. Самойлов. Когда сын Любимова проходил военную подготовку, Самойлов адресовал ему поучение и назидание.

БОРИСУ ЛЮБИМОВУ В АРМИЮ

Не имей сто рублей,
Мотоцикл и дачу,
А имей двух-трех Раблей
И одного Боккаччу.

Находясь в строю,
Помни про Гаргантюю,
Пребывая в жарком деле,
Помни о Пантагрюэле,
Отдыхая в обороне,
Помни о Декамероне.

1972, Опалиха.¹

В комментариях к книге Давида Самойлова «В кругу себя», к этому собранию шуток, насмешек, юморесок, — сказано: «Автор имеет в виду переводы Н. М. Любимова названных авторов».

Вот кто мог быть человеком истинно карнавальным — Самойлов.

Но они, живя в одно время и в одном городе, не пересеклись — Самойлов и Бахтин.

Часть I

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Лев Шубин дал адрес. Он туда ездил, в этот самый Саранск, где оказался М. М. Бахтин: Саранск — мордовский город...

В ту пору у нас у всех на слуху и на уме были мордовские лагеря — там отбывали срок А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль.

На саранском вокзале мимо меня провели черную колонну эзков: да неужели?..

Нет. Ни Юлия, ни Андрея среди них не было.

Но вот и город. Я стою на лестничной площадке дома на улице Советской, зажав в руке бумажку с адресом; никто не открывает. Никто не открывает так долго, что успеваю впасть в панику — да я с ума сошла, не иначе, как это: здрасте, я ваша тетя! С какой стати приехала...

За дверью тишина, а на площадке, запущенной и какой-то сиротской, пахнет кошками, и никто не собирается открывать...

Тут вспомнилось — мой прадед в студенческую пору пешком шел в Ясную Поляну спросить, *в чем суть*, звонил в колокол. Только вышел не граф, вышла

¹ Самойлов Д. В кругу друзей. М., 2010. С. 70.

Софья Андреевна и отправила искателя истины обратно в Кишинев, оберегая покой великого старца. Пересказывая друзьям это семейное предание, я добавляла беспечно — с тех пор никто у нас в роду этим вопросом не интересовался. Вот ведь, сглазила, так мне и надо, стой теперь на лестнице в городе Саранске! Хотя у меня совсем другой вопрос, но все равно.

Тишина за дверью, тишина.

Постучала в квартиру напротив, открыла молодая женщина, оглядела не то чтобы неприветливо — просто враждебно.

— А никого там нету, ни его, ни ее, в больнице оба, потому что никому не нужны... Адрес больницы? Вам зачем? Да ладно, так уж и быть.

Не хотела возвращаться к этой особе, но все же вернулась, задела ее злобность, да и хамила она как-то «адресно». И вот ведь! Объяснила, в чем дело было.

— Я как увидела, так и подумала — племянница это, вспомнила наконец-то, явилась! А старики совсем брошены...

— Да почему племянница?!

— Да вы на него лицом похожи.

Так...

Последний разговор с соседкой был уже в конце дня, после больницы. Но это мелкое происшествие отвлекло от главного.

Ведь я и сегодня не знаю, как оно случилось, что, прочитав книгу о карнавальской культуре, я решила повидать автора во что бы то ни стало.

Но все же придется объяснить, зачем совершилось мое паломничество — как ни крути, оно и выходит, что именно паломничество.

Мой вопрос, едва переступила порог больничной палаты:

— Мейерхольд говорил, ось трагедии — рок, полюса оси — мистерия и арлекиада. Я же в молдавском селе наблюдала новогодний праздник, нет, празднество; там короткое трагическое действо, называется «Маланка», это театр такой, а еще целое стадо развеселых хмельных комических старцев — шутки, сценки комические. Так вот, там трагедии, то есть мистерии — всего ничего, а карнавального разгула с избытком, но все-таки все едино, все монолитно. Почему в его учении о карнавале (в вашем учении о карнавальской культуре, Михаил Михайлович) тема мистерии отсутствует. Почему? Они ведь зеркальны по отношению друг к другу в лоне праздника, и...

Боже, что я несу и вообще о чем я... Ведь не о театре же он писал! Совсем не о театре его книга... Он сразу понял куда лучше, чем я, он сразу и ответил:

— У меня на мистирию жизни не хватило.

Так я впервые узнала, что есть темы, измеряемые жизнью. Но кто бы тогда подсказал — в каком-то смысле и моя жизнь будет измеряться «Маланкой»? И чем бы ни пришлось заниматься многие годы, я все равно рано или поздно возвращалась мыслью туда, в молдавское село Клокушна, где под Новый год из дома в дом быстро проходят парни в сапогах, ряженные древними невероятными царями, играя спектакль, который совершенно не спектакль, а нечто другое, другое... А следом, кривляясь и всячески непотребствуя, поспешают МОШИ, комические старцы, и ведут себя ну прямо согласно предписанию Бахтина М. М. — см. книгу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса».

...Мне и в голову не пришло взять с собой книгу, слишком ею дорожила, чтобы вынести из дома хотя бы ненадолго. Потом выяснилось — все к Бахтину ехали с книжкой, за автографами. Я же вместо интеллигентного жеста с книгой и автографом явилась как-то по-деревенски, что ли, с подарками.

Во-первых, привезла маску МОША, во-вторых, домашнее печенье (до сих пор неловко вспомнить — не успевала сама, пекла соседка, прониклась значительностью поездки в город Саранск, к двум старикам). О том, что Бахтиных двое, я уже знала.

...Кажется, на больничной палате, одной в ряду подобных, не было номера — или я позже узнала о том, что № 13 категорически исключался? — нельзя, ни на одной палате, ни на квартире; не допускал.

Оба они, и он, Михаил Михайлович, и она, Елена Александровна, занимали так мало места в пространстве, что палата казалась просторной. Она передвигалась по стенке, к ней прижимаясь, как тень, раскинув руки, настоящая тень — легка, бесплотна, бесшумна.

У него ноги были, как у верховых петрушек, когда они, шустрые и живые, сидят на краю кукольной ширмы, свесив мертвые ножки.

Глаза у него крупные, у старых людей таких не бывает, зоркие и внимательные, хотя их темная глубина утратила блеск. Отчетливо выделялись скулы, чуть азиатские.

Мой вопрос воспринял так, будто всякий и являлся к нему как раз для того, чтобы уточнить кое-что про мистерию и арлекинаду. Маска же, привезенная из молдавского села, хранила запах морозного хлеба, овчины и соломы. Была она жуткая и косматая, с выбритыми синими щеками, с дикой бараньей гривой, с козым рогом. Из весело оскаленной пасти торчали фасолины зубов, редкие и страшные. Словом, не приведи Бог — увидят нянечки и сестры. О том, что персонал испугается, я не подумала. Он же, конечно, узнал — так и предназначено выглядеть персонам карнавала. Чем страшнее — тем смешнее. Хотя Бахтины не смеялись.

Надеюсь, ушла раньше, чем они утомились.

Конспективно успела сказать про аспирантуру, про тему — постановки Мейерхольда десятых годов. Условный театр, актер такого театра Мейерхольдом описан — статика; голос, очищенный от бытовой окраски, и никакой суеты в жестах. И вот, судьба распорядилась, наверное, чтобы на моем пути вдруг встал молдавский деревенский театр — и что же? Там «актеры» ведут себя именно так. И не играют, но отправляют ритуал, и как тут быть, ведь совпадения вряд ли случайны — Мейерхольд — «Маланка», мои два «М».

Михаил Михайлович не удивился, точнее мои два «М» воспринял просто, вроде как оно было «сближение далековатых понятий» — так Пушкин определял метафору. Это мне еще предстояло когда-нибудь постичь — с высот, куда вознес себя символизм, просматривались древние корни ритуала — отсюда недалеко до совпадения систем.

...После, перед отъездом и уже посетив второй раз соседку Бахтиных, зашла в музей Эрзи, другого великого старца. Мордвин-аргентинец! В конце жизни вдруг оказался в Москве, в сыром подвале на нашей улице Новопесчаной, со своей седой и слепой собакой, со своими скульптурами из невиданного заморского дерева. Казалось — в теле самой древесины бушевала яростная сила тропической природы. Высвобождая ее, скульптор переводил ее горячее дыхание в свои произведения, само это дерево, казалось, диктовало формы стиля модерн. Только что я тогда могла понять — второй курс филфака начала пятидесятых к такой встрече, конечно же, не готовил.

Начало пятидесятых... Он в Москве, в этом жутком сыром подвале, в одиночестве, в ту пору, когда люди не отваживались приближаться к иностранцу, все равно что общаться с покойником, ни с того ни с сего вернувшимся с того света.

А всего лишь полтора десятка лет спустя к Бахтину, возникшему из забвения, потянулась муравьиная тропа в этот самый Саранск; где уже появился музей скульптора-мордвина.

Климат менялся, шло потепление, и люди торопились приблизиться к М. М. Бахтину — и соответственно нектати вспоминаю горестный вопрос Эрзи — отчего вы здесь такие злые? Вот, всю жизнь это слышу и не могу забыть.

Да! Но все же, что было в тех словах: «У меня на мистерию жизни не хватило»? Так поняла — значит, вся жизнь пошла без остатка на карнавальную культуру, на арлекинаду в переводе на язык театра. На торжество смеха.

Но в таком случае если мистерия тоже требует всей жизни, исполненной трагического мироощущения, то это выпало Николаю Михайловичу Бахтину, старшему брату. Вот оно — полюса оси по Мейерхольду, ось трагедии — рок — странным образом объединила или разъединила двух братьев.

НА СТАНЦИИ ГРИВНО

В очередной раз я отправилась к Бахтиным, заметно осмелев и, кажется, написав главу своей, с позволения сказать, диссертации — пишу так потому, что к защите ее допустили десять лет спустя, да и больше, но сейчас не об этом. Уж если состоялся этот второй раз, значит, как-то все-таки поняла: можно.

Только предполагаемый разговор про главу был скорее поводом к поездке. Причиной же была дыня.

Дело в том, что у меня оказалась чудесная азиатская дыня из самой голодной степи, ее и следовало доставить Бахтиным. Я была не в одиночестве — со мной ехал сын Павел, школьник, человек застенчивый и немногословный. Ехать к Бахтину боялся — я уже нет. Дыня воодушевляла.

Путь наш лежал на станцию Гривно. В дом престарелых. Попросту говоря — в богадельню... куда определили Бахтиных, беспомощных в быту.

Но я, конечно, не представляла, что такое наш отечественный приют на самом деле. Приют был пропитан обреченностью и тоской, печалью запущенной старости.

Они не жаловались оба, но были угнетены. Без особых усилий можно было догадаться — жизнь не особенно баловала их жилищными условиями, но в Гривно к проблеме проживания примешивалось что-то еще, не знаю, как сказать. Может быть, ошибаюсь, но показалось так. Уже была первая книга, признание, и даже если они ни на что не рассчитывали — невозможно, наверное, не ждать какого-нибудь выхода из тупика. Выход же оказался богадельней, последним приютом угасающих старух.

Хотя руководство дома престарелых очень старалось проявить уважение. У Бахтиных была жилая комната, но кроме того ученому выделили отдельный кабинет с письменным канцелярским столом, с креслом; пусть занимается своей наукой! Он нас специально водил показывать кабинет. Шел по коридору на костылях. Шли костыли, мертвые ноги волочились.

Кажется, мы вернулись в жилую комнату. Он достал откуда-то большую папку с гравюрами, гравюры привез Эрнст Неизвестный, скульптор-авангардист, отряхнувший с подошв прах соцреализма.

К стыду своему, не могу вспомнить, что было привезено Михаилу Михайловичу, может быть, серия «Достоевский», или же то были иллюстрации к Данте.

Гравюры были словно опалены отчаяньем, гневом, чувством катастрофы. От них исходил пафос протеста против неведомой силы, злобной и жестокой. Мне почему-то вспомнилась «Герника» Пикассо, — «Это сделали вы? — спросил немецкий офицер. — Нет, вы, — ответил художник». Кажется, в гравюрах Неизвестного содержалось некое обвинение. Именно Эрнст стал автором суперобложки к первому бахтинскому сборнику, изданному в Саранске в 1973 году — то был сюжет, названный «Смех и плач».

Но как свободно понимал Михаил Михайлович язык дерзкого искусства авангардиста. Неизвестный ему нравился — впрочем, чему удивляться. В его долгой жизни был Витебск, а значит, так или иначе и Казимир Малевич, и Марк Шагал. В Москве шуршал деликатный шепот — не сплетня! — именно шепот, тихая тень слуха. Говорили, что в Елену Александровну был влюблен

Шагал, она же выбрала Бахтина, безоглядно приняла и разделила его участь. Мне никогда не приходило на ум проверить исторический слух — зачем? У него была репутация высокого мифа.

Она все так же прозрачной тенью скользила, прижимаясь к стенам, очень редко включалась в общий разговор, что-то говорила, тихо шелестя словами, Павлику; оказалось, вижу ее в последний раз, во второй и последний...

...Говорили об авангарде. Это *другое искусство*, возникнув на пороге XX века, вновь напомнило о себе в шестидесятые, ударило с силой молнии.

О том, как пробивалась задушенная память о Мейерхольде глухие годы запрета и забвения. Что-то у Мейерхольда Михаил Михайлович видел. Нравилось. Нет, глупо сказать «нравилось» — *принял. Понял. Оценил.*

Как Мейерхольду была нужна комедия дель арте! Этот старинный итальянский площадной театр оказался режиссеру необходимым при самых решительных прорывах в новое искусство, по сути — в будущее. Что ж это за комедия такая, что же за загадочная сила, скрытая в масках, если Вернон Ли пишет — это маски спасли Италию, когда ей грозило исчезнуть с карты Европы...

Михаил Михайлович говорил про веселую inferнальность персонажей итальянского площадного театра, inferнальность придавала фигуркам уличных комедиантов *глубинное измерение*. У Данте где-то есть бесенок, кажется, Аллекино...

Вдруг мой Павел, до того молчавший по причине непробиваемой застенчивости, что-то уточнил в этом пункте разговора взрослых, про того самого бесенка.

Бахтин сказал с удовольствием — как это хорошо, когда такой молодой человек... Знания...

— Нет-нет, — испугался мой школьник, — никакие это не знания, просто я с детства любил рассматривать гравюры Доре в книге «Ад» Данте!

Увернулся-таки от похвалы будущий историк.

Наш разговор стал легок настолько, что сегодня мне не верится — неужели я осмелилась привезти ему свои страницы, увы, столь удаленные от совершенства. Боюсь, что-то в этом роде имело место. Во всяком случае, разговор шел «по тексту».

«Смерть Тенажиля» Мориса Метерлинка Мейерхольд ставил в Москве, в театре-студии на Поварской, а рядом, на Пресне, только-только отгремело восстание — и молодой режиссер, кажется, хотел «притянуть» сюжет Метерлинка к российской ситуации — тысячи Тенажилей гибнут в наших тюрьмах...

Вдруг Бахтин сказал с неожиданной жесткой резкостью:

— Самое губительное — это подмена мистерии митингом. Хуже митинга на театре ничего быть не может.

ИСПЫТАНИЕ ПРЯНИКОМ

В третий раз я отправлялась к нему в совсем другое место. Уже к *нему*, а не к *ним*.

Почему-то моя память на этом месте сбивается, осталось впечатление вряд ли верное. И не так далеко оно было, как мне казалось — был это дом творчества или дом отдыха Переделкино. Писательский дом, уж как-нибудь не богадельня в Гривно. Он же пребывал в состоянии раздраженности, может быть, оно отвлекало от великого горя.

Дело же было в том, что там к завтраку давали черную икру, это и приводило Михаила Михайловича в смятение, раздражало сверх меры. Реакция была неадекватна мелкому блюдцу с деликатесом. Дело, думаю, не в капризе, в чем-то еще, что находилось за пределами блюдца. Но можно было подумать, что

в таком завтраке было нечто принципиально враждебное, относящееся к чему-то более неприемлемому, чем еда.

Между тем переселение из народной богадельни в элитный (впрочем, тогда еще так не говорили), в привилегированный рай вряд ли случилось просто так, само по себе. Кто-то должен был хлопотать, кто-то кого-то просил... Во всяком случае, кто-то старался, чтобы было как лучше. Ему же в раю оказалось едва ли не хуже. Рай оказался чужим, чуждым, даже враждебным.

Он сам заговорил: Мейерхольд, Хлебников — явления разные, но единой породы. Титаны. Такие фигуры что-то меняют в самом климате эпохи... Разговор затухал, не успев разогреться, соскальзывал с темы, блуждал в других полях и вдруг направился в сторону человеческой природы.

Тут можно было «заболтать», заговорить, отвлечь в сторону, и я поведала о том, как их соседка в Саранске приняла меня за его племянницу. Наверное, дело было в неясном восточном акценте, если в лицах вообще может быть акцент. Он оживился, соседка уловила признак Азии, впрочем, у кого в России его нет. Несмотря на высокий род Бахтиных, глубоко укорененный в русскую почву, и вообще он из Орла...

— А вы?

Я стала объяснять, что мои предки родом из Бессарабии, куда (смутно помню рассказ старшей родни) пришел некто Бахта, татарин, от него пошли Бахталовские. Ну, татарин или нет, там всех других держали за татар, но мой друг Юрий Симченко, в ту пору еще студент-этнограф, говорил — было такое малое племя в Сибири... Да о чем только не будешь болтать, заговаривая зубы и отвлекая!

— Вряд ли, — сказал Михаил Михайлович, — вряд ли, скорее слово имеет отношение к духовному сословию.

Ошибка соседки отвлекла и, может быть, даже развлекла на пару минут, спасибо ей, женщине в городе Саранске...

Я и представить не могла, сколько всего случится в скором времени и как нескоро я его увижу.

В МОСКВЕ

Тут в моей жизни стало происходить что-то значительное, что-то ответственное, и я надолго — или так только казалось — потеряла из виду Михаила Михайловича. Мне, конечно, не было оправдания, но закрутило шепкой в водовороте, и — все равно оправдания нет.

Однако вести доходили. Он переживал потерю единственной родной души очень тяжело, да иначе и быть не могло. Еще известно было — что произошел переворот в его биографии и он оказался в Москве. В своей собственной квартире у метро «Аэропорт», на улице Красноармейской. Что за ним ухаживает какая-то заботливая женщина.

И что вообще он окружен вниманием круга университетских людей во главе с В. Н. Турбиным.

Владимир Николаевич Турбин был аспирантом, когда я пребывала в студентах; но мы были знакомы достаточно для того, чтобы я ему позвонила узнать про Бахтина.

Он принялся рассказывать о Михаиле Михайловиче подробно и охотно. Сам Турбин вел семинар, не помню какой, а только взял он в семинар дочь Ю. Н. Андропова. Турбин, кажется, и дал ей тему, связанную с трудами Михаила Михайловича. Осуществлялся стратегический план, в итоге — квартира и прописка! Но и студентка в убытке не осталась: прикоснуться к мыслям великого ученого в ранней юности — большая удача.

Словом, удалось преодолеть неодолимые бюрократические преграды и даже грозную власть поставить некоторым образом на службу Благому Делу.

Вот только оказалось — переселить Михаила Михайловича в столицу было совсем не просто, множество осложнений возникло с его стороны. Всех подробностей не помню, но он сопротивлялся, кажется. Во всяком случае, почему-то категорически был против услуг фотографа, уж и не помню почему, но ясно же, все осложняло и без того муторную бюрократическую волокиту.

Наверное, после смерти Елены Александровны все движения, все жесты по организации быта, да еще и непривычного, его раздражали, отвлекали от безучастности, от безразличия к жизни. Проще говоря, помогать ему по-настоящему было совсем не просто, да еще он и спорил по поводу всякой суммы, необходимой при оформлении документов, должно быть, не привык к тратам, наверное, отвык на многолетнем иждивении то больницы, то богадельни, а то и писательского дома творчества.

Слушая Турбина, я вспоминала раздраженность Бахтина по поводу черной икры. Может быть, ему казалось, что вокруг него совершалось нечто, совершенно невозможное на твердо обозначенной линии его судьбы. Он ее принял и считал единственно своей — так, что ли? Не знаю. А может быть, принять этот последний дар все того же Провидения, поселиться в своей московской квартире, когда Елены Александровны не стало, оказалось невыносимым. Скорее всего, так оно и было.

...Но я долго не возникала, и как объявиться после столь затянувшегося отсутствия. Нужно ли будет объяснять причины исчезновения или вообще о том не...

Тем временем его стал посещать художник Юрий Селиверстов, молодой талантливый сибиряк, мой знакомый. Он делал эскизы к портрету Бахтина, вел разговоры и о моем существовании напомнил.

И позвонил:

— Приходи. Можно. Он звал.

Я пришла. И стала бывать. Тем более, что жила близко, на «Соколе».

А он — он страшно изменился. Лицо его не только похудело, но и высохло. Скулы заострились, восточность ушла, а глаза стали круглыми и словно бы изумленными, как у птицы. И рука, исхудавшая так, что стала подобна сухой птичьей лапе, — большая больная птица. Но в лапе вечная папироса и тонкий дым к лицу поднимается.

Юра Селиверстов, только что вступивший в лоно православия, к моему ужасу, находил возможным поучать Бахтина. Вел богословские разговоры. Бахтин молча слушал. Пытаясь художника урезонить, я шипела — да как тебе в голову могло прийти поучать — и кого?! И главное — чему...

А портрет получился с изумительным сходством, но весьма все-таки странный. Он превосходно вылепил череп, «птичью» руку. Но далее произвел вскрытие черепа. Из черепной коробки вылетали образы художественной литературы, толпились, покидая мозг ученого, собирались гнездиться. Сюрреализм тут был наивен, провинциален и прямодушен, — но хорош был портрет! Хорош. То была гравюра, Юрий мне подарил оттиск. А у Бахтина портрет работы Селиверстова висел, по-моему, над кроватью, так мне запомнилось.

В ту пору Михаил Михайлович был плотно окружен людьми одаренными, яркими, интересными, и круг его был оживлен. Может быть, он уставал от общения, но уж по крайней мере время, отпущенное на тоску в одиночестве, сокращалось. Визитеры шли, сменяя друг друга. Частым гостем был Вячеслав Всеволодович Иванов. По своей образованности, невероятной для большей части нашего поколения, он, я думаю, был Михаилу Михайловичу достойным собеседником. Помимо всего остального он представлял тартускую школу исследований в области бинарных оппозиций; и Ю. М. Лотман тоже готов был наладить самый тесный контакт с создателем теории карнавальской культуры.

Карнавал против нормативного бытия! Классика бинарных оппозиций. Хотя структуралистом Бахтин не был.

Итак, круг лиц, мне известных, не ограничивался только Вяч. Вс. Ивановым и Э. Неизвестным, люди близкого с Бахтиным миропонимания, бесспорно, к нему тянулись.

Но так же близки к нему были В. Н. Кожин, В. Н. Турбин; наверное, П. В. Палиевский.

Два крыла. И притом столь разных, будто речь шла о различных породах пернатых.

Много лет спустя Сергей Довлатов описывал отечественное соотношение сил, уже покинувших Россию и встретившихся на американском симпозиуме.

«В первый же день они категорически размежевались».

Почвенники друг к другу «испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке».

«Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к великому сожалению, уже заявила».¹

Но хотя наблюдения Довлатова относились ко временам иным и уж во всяком случае «постбахтинским», нечто универсальное для нашей культуры во все времена тут есть.

В Москве говорили — почвенники намерены сделать из Бахтина свое национальное знамя.

Но как же не хотелось, чтобы Бахтин стал знаменем, а уж тем более — на «том» корабле.

Забегая к Михаилу Михайловичу, я уже не лезла со своим Мейерхольдом. Напротив, он спрашивал — как там дела с моей темой.

Да неважны дела у меня. В Институте искусствознания меня все обсуждают и обсуждают, и все не так, не так! При чем тут символизм, говорят, когда у нас коммунистическая идеология. А только услышат: «Как пишет М. М. Бахтин», — тотчас: «Не увлекайтесь Бахтиным!..» Тут и вспомнила, как моему другу, да и учителю Аркадию Викторовичу Белинкову предложили написать для детской энциклопедии про Библию; но только не употребляя двух слов: во-первых, «Бог», во-вторых, «евреи»... Мрачный курьез вызвал беглую усмешку. Но теперь меня все чаще заставляла задумываться тема «Балаган».

Поколение создателей нового искусства — Блок, Стравинский, Бенуа — «сделали ставку» на балаган; Мейерхольд, конечно: «Балаган вечен. Его герои не умирают». А если вечен — где искать его начало? В карнавале? Подобие вроде бы очевидно. Но не более, чем подобны друг другу птеродактиль и курица, ну и так далее.

Вот однажды, проявляя немислимую осторожность, я завела трудный разговор — как оно все странно, вот мы хотя бы. Были все вместе в студенческие годы, собирались у нас дома, делали огромную — во весь коридор филфака — газету — П. Палиевский, О. Михайлов, Е. Клычков. Иногда приходил В. Лакшин. Я там была художником...

В семинаре Виктора Дмитриевича Дувакина мы приятельствовали с В. Кожинным, не дружили, но общались, как люди.

А потом оказались врозь, и это уже не мы, но либералы и почвенники...

Он, конечно, сразу понял, о чем речь, о чем я не говорю. Мое хождение на цыпочках по проволоке его развеселило.

— Не скажите! Среди почвенников во все времена встречались преинтересные личности. Вон Толстой-Американец возил на корабле ручную обезьяну...

— Ничего себе, «ручная»! Это она судовой журнал исписала своими соображениями?

¹ Довлатов С. Д. «Филиал» // Довлатов С. Д. Собр. соч. Т. 4. СПб., 2000. С. 28—29.

— Именно! А Дмитрий Урнов? Специалист по английской литературе и — профессиональный жокей. Лошади — его страсть.

...Как показало время, ничьим знаменем М. М. Бахтин не стал. Оставался до конца самим собой — только.

Но неблагоприятным к тем, кто ему помогал, не был.

Тут придется сделать отступление. Как-то я оказалась в незнакомой компании, где и знала только Вадима Кожина. Он был с женой Милой Ермиловой, и я вспомнила, как Белинков рассказывал — Кожин приходил знакомиться и был спущен с лестницы: «Вы женаты на дочери моего палача и доносчика? Вон!»

Мила сидела неподалеку от меня, такая зажатая и потерянная... Ну нет во мне белинговской непримиримости, жаль ее стало, и я к ним обратилась.

— Правда ли, Вадим, что книга о Рабле вышла в свет с твоей легкой руки?

Они обрадовались оба.

— Да, — сказал он, — это моя индульгенция, за эту книгу мне на том свете грехи простятся.

И рассказал нечто поистине замечательное, как подсунил книгу на рецензию Галине Николаевой, автору колхозного романа «Жатва», потому она считалась авторитетом в деле народной культуры.

Ну вот, я, кажется, удержалась в пределах объективности. Или справедливости — что и говорить, они сделали для Бахтина очень много, и Кожин, и Турбин. Турбину я звонила часто, с Кожинным при встрече здоровалась. И общалась, когда он собирал подписи в защиту В. Д. Дувакина, когда его выгоняли из университета, поскольку на суде над Синявским и Даниэлем Виктором Дмитриевич выступил в защиту Синявского, своего ученика.

Проще сказать, мы общались по старой памяти.

До поры до времени!

Пока не случился разлом. Пока откровенно не был показан водораздел.

Тут мне снова придется изменить курс изложения.

Как-то я пришла к Михаилу Михайловичу с новостью: я замуж вышла.

— Да ну! За кого же?

— За Юлия Даниэля.

Он обрадовался. Стал приглашать — приходите вдвоем непременно!

— Да я уговаривала идти вместе, а он боится, говорит — это же Бахтин, его знания огромны — о чем ему со мной беседовать.

— Пусть приходит. Передайте ему: все, что я знал, я уже забыл.

Только Юлий, вообще-то человек не робкого десятка, откровенно трусил первый раз в жизни и идти не решался.

Он воспользовался приглашением и появился в доме Бахтина с опозданием. После похорон.

На кладбище мы отправились вместе. Народу было много. Там, на кладбище, ко мне подошла одна из сиделок, последнее время, когда он так болел, они дежурили при нем и меня знали. Она и позвала в дом, помянуть как положено. Эти женщины сами собрали скромный стол, сами напекли поминальные блины, чтоб проводить по чести человека, ставшего им близким...

Мы вошли в дом, и я представила Юлия Турбину. Тот побледнел обморочно. Удрученная потерей очень любимого человека, похоронами, мартовским морозом, я только потом вспомнила, в чем дело. Дело же было в том, что во время суда над Синявским и Даниэлем в прессе появилось групповое письмо университетской профессуры, гневно осуждавшей бывшего своего коллегу — А. Д. Синявского. Мне говорили, что Турбина обязали написать текст, он согласился, но с условием — его подписи не будет. Письмо опубликовали, подпись его, разумеется, поставили. Он что же, подумал, что Даниэль тут же, на поминках, устроит скандал?

За столом сидели люди, я их знала, они меня не замечали. Они пребывали в какой-то крайней напряженности. Ожидали какой-нибудь выходки со стороны неожиданного гостя? Или вообще были шокированы появлением Даниэля в доме Бахтина.

Но что это было? Безмолвная разборка либералов и почвенников или просто реакция на Юлия нормальных антисемитов. Или враждебное отношение к тому, что значилось за Синявским и Даниэлем.

...Враждебность к Юлию? К этому я не привыкла, напротив, всегда было напротив — сочувствие, соучастие, симпатия чисто человеческая, наконец!

Но напряженность за столом была страшная.

Вот тебе и американец с обезьяной, вот тебе и странный жокей-филолог. О да, занятные люди встречаются среди почвенников во все времена!

Во мне прокручивался диалог с Михаилом Михайловичем, а тем временем в комнате что-то происходило.

Зачитали завешание. Михаил Михайлович все оставлял какому-то родственнику, то ли своему, то ли Елены Александровны, кажется, родственник был дальним и при жизни Бахтиных вряд ли проявлялся.

Присутствовали и официальные лица. Представители Саранского университета претендовали на книжное наследство, с ними спорила представительница музея Достоевского. Спор же был пустой, книги, конечно, были, но никакой профессорской библиотеки не было. На полках стояли книги, насколько помню, случайные, современные, может быть и ошибаюсь, но во всяком случае никакую библиотечную коллекцию комплектовать из них было невозможно.

Тогда представительница музея Достоевского заявила, что хочет забрать два объекта, висевшие на стене.

Во-первых, портрет М. М. Бахтина работы Ю. Селиверстова. Во-вторых, изображение кота за письменной конторкой.

Я помертвела — кот был мой, выполненный в технике коллажа и подаренный хозяину дома на Новый год. Так, подарок-шутка, — и в музей Достоевского?!

Тут произошло неожиданное. Юлий ни с того ни с сего сделал заявление — нет. Этот кот должен вернуться в наш дом.

Он и вернулся. Но про кота потом.

Никогда больше не встречала ни Турбина, ни Кожинова. Но никогда не забуду, что при появлении Даниэля в этой квартире, опустевшей без хозяина, стоял призрак скандала, скандала в духе Достоевского. Бахтина не стало — а вот как оно могло бы обернуться на его поминках!

Я и сейчас думаю, обошлось, потому что душа хозяина присутствовала здесь, только мы, люди, видеть ее не могли. Могла видеть Кисанька, но была ли она в доме в тот час или ее вообще уже не было — не помню.

Та самая Кисанька из породы египетских храмовых кошек. Трехцветная, приносящая счастье по всем приметам.

Подаренная котенком Милой Ермиловой.

Кошки, как известно, видят душу умершего.

ЕЩЕ ПРО КОШЕК

А кошек он вообще любил очень; понимал их мистическую природу, столь курьезно сочетаемую с бытовым интересом, с ловлей мышей хотя бы.

Рассказывал про котят, но, к сожалению, в памяти стерлось. В какой-то ситуации, критической и пограничной, Бахтины должны были срочно уехать откуда-то, но как уехать, если кошка решила рожать. Так и остались на месте, пока котятки глазки не откроют.

Пока котята глазки не откроют... А сентиментальным не был. Пожалуй, напротив.

В ту пору я увлеклась коллажем. Так получилось, что у меня образовался огромный запас многоцветного бумажного доскуга, в редакции журнала «ДИ СССР», где я работала, мне давали резиновый клей. Все это добро шло на эскизы костюмов для театра «Ромэн». А к Новому году решила сделать четыре коллажа на кошачью тему — нашим друзьям. В том числе и Давиду Самойлову — портрет того самого кота, что есть в его поэме «Последние каникулы»: «Пойдем в средневековье, возьмем с собой кота».

Мой кот получился вальяжным и породистым. Сидел за старинным бюро, лапа в рыцарской перчатке держала гусиное перо, ну и плащ, конечно. И несмотря на благородный антураж, был этот кот экспонатом балаганным, ибо в поэме сказано:

Я возглашаю днесь,
Что радость нам желанна,
И что искусство — смесь
Небес и балагана.

Словом, тот редчайший случай, когда работа получилась, как мне казалось, и кот получился. Только... нет, не самойловский.

Кот получился бахтинский. На семейном совете было решено: кота в рамке и под стеклом отнести Михаилу Михайловичу — с Новым годом!

На обороте Юлий написал целое послание. Кот наш пришелся ко двору. Понравился. Велено было повесить на стену. Он же, Михаил Михайлович, рассказывал, как одна знакомая все смотрела, соображая — кого эта рожа мне напоминает? Он отозвался тотчас:

— Да меня.

Так, наверное, оно и было, хотя и странно, потому что у моего кота не было ни худобы, ни аскетичности, напротив, была вальяжность, торжествующее благоденствие. Ну, и юмор — кот все же был в некотором роде балаганный.

Как уже было сказано, после смерти Михаила Михайловича кот вернулся к нам и жил до тех пор, пока не попался на глаза Кире Николаевне Лидер из киевского музея Булгакова.

— Ох, ну конечно бахтинский кот должен быть в музее Булгакова!

И он отправился в Киев, хотя, честно говоря, кот бахтинский с котом булгаковским ничего общего не имел. Что с ним стало — не знаю. Может, и рассыпался, резиновый клей на долгое хранение не рассчитан.

ЭТО КОНЕЦ

Он болел долго и плохо, и конец страданиям приближался.

Юра Селиверстов сказал:

— Я ему предложил собороваться, настаивал даже, а он отказался. Поскольку жена умерла без соборования.

— Господи, что ж ты так обнаглед, что даешь советы в таком деликатном деле, неужели он хуже тебя знает, куда предстоит уйти и как...

Прежде чем мы рассорились на этом месте, Юра успел сказать:

— Ты приходи, ему сейчас получше.

А что «получше»? Болезнь стояла в комнате казенной *землемершею*.

— Дела мои плохи, — вдруг сказал он отчетливо и посмотрел зорко и пристально, как если бы его интересовала реакция собеседника. Или меня проверял.

Я растерялась. Не говорить же: «Ах, что вы!», но и подтвердить, что дела плохи, немислимо.

Тут подумала — он писал про сочные колбасы, про дремучие салаты, про гигантов, пожирающих все с устрашающим и восхитительным аппетитом. Вспомнила постную кашу в Гривно, ее принесли при нас... Да и вся почти жизнь прошла, кажется, в скудости, и много было казенного, лишнего вкуса и смысла.

— Вот теперь: вот что я вам предлагаю: капризничайте! Заказывайте домашние блюда, а я постараюсь.

Терять нам уже было нечего. Но готовить, конечно, страшно.

И он принял игру!

Сиделки звонили:

— Хочет пельменей.

Пельмени и были — величиной с фисташку.

Потом были пирожки с капустой и бульон, конечно, в усиленно диетическом и несколько «кукольном» режиме.

В дом я уже не входила, передавала сиделкам у порога.

Что было третьим заказом, не помню. Четвертое же желание помню с ужасной отчетливостью — свежие помидоры!

На дворе было начало марта 1975 года, за окном стояла Москва — какие помидоры, Господи?

Юлий обзвонил всех иностранных корреспондентов в Москве, те сигналили в свое зарубежье:

— Срочно! Диппочтой! Бахтину...

Первой примчалась Николь Амальрик, газета «Ле Монд», — помидоры были из Парижа!

Только опоздала.

На один день.

Николь плакала на нашей кухне.

У меня не было слез. Я не могу плакать, когда уходят родные люди.

Часть II

ЮНА ВЕРТМАН. ВСТРЕЧИ С М. М. БАХТИНЫМ

Мы стояли у окна. Бахтин смотрел вниз на большую арку, ведущую из двора на улицу и говорил: «Здесь вечером собираются молодые люди. Я наблюдаю за ними и вижу те же карнавальные жесты». Глаза у него были изумленные.

Н. Е. Емельянов

Передо мной тонкая книжка — Юна Вертман «Записи и примечания». Издал эти записи после смерти Юны ее муж, Василий Емельянов. Он же был и автором примечаний.¹

Юна Давидовна Вертман была режиссером, преподавателем Щукинского училища, театральным критиком. Она была моей подругой, а эта книжка в количестве 200 экземпляров была и предназначена для друзей — на память. Сейчас, перечитывая ее записи встреч и бесед с М. М. Бахтиным, вижу — есть смысл вынести вопросы Юны и ответы Михаила Михайловича на более обширное поле читателей.

Приводимый ниже диалог представляет интерес, и к тому же бесспорный, для теории театра: но и антрополог не пройдет мимо замечания Михаила Михайловича — «знать нужно антропологов» для того, чтобы постичь корни карнавальной культуры.

¹ Юна Вертман. Записки и примечания. М., 1992.

Вопросы, поставленные Юной Давидовной, точны и целенаправлены.

Была она педагогом и преподавала в Училище им. Щукина; была режиссером — ставила спектакли в Москве, Свердловске, Калининне и Кишиневе. Ей принадлежит постановка «Записок сумасшедшего» по Н. В. Гоголю в театре им. М. Ермоловой в середине шестидесятых.

В своей диссертации исследовала педагогическую систему Михаила Чехова в те отдаленные времена, когда имя М. Чехова у нас даже не упоминалось.

Была она человеком ярким, щедро одаренным, открытым и контактным. И весьма храбро отправилась в Саранск, к М. М. Бахтину. Увидеть великого старца и услышать его ответы на ряд вопросов, волнующих людей театра. Ее решительное паломничество в Саранск свидетельствует о силе духа. Но все же она призвала с собой Николая Емельянова, своего ученика, свердловского режиссера, — «для храбрости». В ту пору он был одержим книгой о карнавальной культуре так же, как и Юна.

Итак, паломничество состоялось, и неловкости от их вторжения в тихий дом Бахтиных на улице Советской не возникло. Можно сказать и точнее: если и была начальная неловкость, она рассеялась тотчас.

И разговор состоялся.

«Тот разговор, — пишет Юна Давидовна, — я записала сразу же по возвращении в Москву, я его, разумеется, воспроизведу, но гораздо больше, чем содержание разговора, поразила меня манера Михаила Михайловича вести диалог.

Я чувственно-конкретно поняла тогда, что такое истинный аристократизм мысли и поведения. Бахтин в беседе являл собой некий абсолют простоты. Никакой пристройки к собеседникам ни сверху вниз, ни наоборот, предупредительности или неловкости, что вот приехали, устали и т. д. — никакого такого *балета* не было и в помине. Мыслил он остро и сильно, но до такой степени не сомневаясь в праве собеседников на партнерство в диалоге, что не понять его было невозможно».

РАЗГОВОР С БАХТИНЫМ. САРАНСК, 5/ VII — 1969 г.

(Дневниковые записи 9. 7. 69)

— С какими философскими теориями соприкасается идея карнавала?

М. М.: Ни с какими. Но знать нужно антропологов, которые полярны по отношению к экзистенциалистам. Идея взаимосвязанности, тотальности, праздничности. (Я: как у Пастернака: «Все во мне, и я во всем».¹) О философии: Гуссерль — NB! и книжка грузина о нем. Бергсон, Больнов, особо Фрейд. С ним не согласен, но это серьезно.

О русских философах и мыслителях: Сковорода, Розанов, Бердяев.

— Есть ли работы о трагическом? Они бы замкнули систему.

М. М.: Нет, может быть именно потому, что не нужно замыкать систему. Нет ничего замкнутого, конечного. Все в процессе. Но несомненно, что трагический герой тоже амбивалентен. (Я: старые актеры говорят, что если в трагедии мало смеются, значит ничего не получилось.) Причем карнавален не только театр в «Гамлете», но прежде всего сам Гамлет. А вот Полоний — тот абсолютно серьезен. (Серьезен — для Б. ругательство, показатель одноклеточности и прямолинейности.)

— Если память практически безгранична, если где-то в подсознании веками хранится то, о чем мы и не подозреваем, то нельзя ли в создании произведения искусства бить наверняка, адресоваться прямо туда?

¹ Строчка из цитируемого Б. Пастернаком в «Людах и положениях» стихотворения Тютчева «Тени сизые смесились...» (Ред.)

М. М: Нет. Часть осмысливается только в целом, слово — в контексте, деталь рядом с другой деталью. И вообще — меня интересует не столько то, где это хранится в людях, сколько процессы, происходящие между людьми.

— Каким хотел бы видеть театр?

Не знает. Мейерхольд нравился, но ужасно, что полифоничность сводил к монологичности. К конечной точке, для которой ни искусства, ни доказательств не требуется.

Я о театре: карнавальное мироощущение на сцену. Тогда — эстетский спектакль. А карнавальное мироощущение — это сопереживание, его, очевидно, может дать психологический театр. Согласен.

— Что пишет?

О Гоголе. О речевых жанрах. Попутно — разговор о современном литературоведении. Нравится Кожин, Бочаров. Знает Непомнящего — опять-таки по части карнавала. Пушкин карнавален, весьма, не забывать о связи с французами.

— О пограничной ситуации.

Особенно важно. Когда действие невозможно, и человеку остается либо плакать, либо смеяться.

На этом беседа Юны Вертман с Бахтиным закончилась. Только Юне, как выяснилось потом, выпало увидеть Михаила Михайловича дважды. Один раз мельком и по делу, второй раз она оказалась свидетелем разговора Михаила Михайловича и Анатолия Якобсона. Она же стала летописцем этой беседы, в которой бесценна одна фраза — о вере. Мне, по крайней мере, она представляется до сих пор изумительной. В той же самой тонкой тетрадке-книжке «Записи и примечания» 1992 года есть реплика: в связи с появлением книги о Блоке, о поэме «Двенадцать» — книга называлась «Конец трагедии». Автором ее был Анатолий Якобсон, педагог, переводчик поэзии и поэт. Друг Юны.

«Ему очень хотелось показать книгу Бахтину и вообще — поговорить с Бахтиным. <...> Я взялась съездить к Михаилу Михайловичу, который вместе с женой, такой же, как и он, практически безногой, жил тогда в богадельне на станции Гривно; смелость моя объяснялась тем, что до этого я уже была у Бахтина в Саранске: все-таки отчасти знакомая. Отвезла книгу, а через неделю-две мы поехали вместе — за ответом. (Помню странный апрельский день: то жарко было, то снег шел.)

Михаила Михайловича книга восхитила. Он воспринял ее как произведение цельное и органичное. Ему нравилось все, в том числе и полемика. Он все отлично запомнил и многое цитировал. Увы, я не могу воспроизвести сказанных им конкретностей, для меня гораздо важнее было, что „дяденька Толеньку похвалил“. Но зато отлично помню последний разговор. Тошка вез два вопросика и изловчился их задать. Вопрос номер 1: „Пили ли вы когда-нибудь?“ „Да, — удивленно ответил Михаил Михайлович. — Иногда с друзьями бокал хорошего вина“. Толя поскутнел, все-таки задал второй вопрос: „Верите ли вы в Бога?“ „Разумеется“, — еще более удивленно ответил Михаил Михайлович. „А я — нет“, — выпалил Тошка. „А вы этого знать не можете, — возразил Бахтин. — Царствие Божие — не от мира сего. Кроме того, я читал вашу книгу и на основании этого полагаю, что вы на свой счет заблуждаетесь“. — „Все мое существо возмущается против христианской формулы «раб божий», — не унимался Толя. — Почему это раб? С какой стати раб?“ — „Это исторически конкретное определение, — ответил Михаил Михайлович. — Ведь поначалу христианство — религия римских рабов. Раб Божий — это значит свободный человек. Не Нестора, не Пимена какого-нибудь раб, а самого Господа Бога“. Толя буквально онемел. Он был ошеломлен как простотой объяснения, так и своим, как он говорил, идиотизмом. Все повторял: „До сих пор не догадаться! Всего лишь переставить ударение! Не раб божий, а раб Божий!“ Уехал тихий и молчал всю дорогу».

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

АЛЕКСАНДР МАМЫРИН

ПИСЬМА ЗЕМСКОГО ВРАЧА

Мой дед Александр Иванович Мамырин умер в 1919 году на тридцать третьем году жизни, когда отцу моему, его единственному ребенку, было три месяца. Через полвека, когда я достаточно повзрослел, чтобы оглянуться в прошлое, выяснилось, что все наследие деда состоит из пары пожелтевших фотографий. Мой отец ничего не знал, даже обстоятельств его смерти, бабушка тоже ничего не «знала», что-то скрывалось, что-то умалчивалось — времена были темные...

Известно было, что он окончил сначала математический, а потом и медицинский факультеты Императорского Московского университета. Совсем недавно я наткнулся в Интернете на информацию об университетском выпуске 1913 года, увидел в списке фамилию деда, кликнул на нее — и увидел неизвестный нам студенческий портрет Александра Ивановича. Но тщетно вглядывался я в его фотографии, пытаюсь понять, что он был за человек.

Бабушка Анна Сергеевна, овдовев, вскоре вышла замуж снова, и отчим воспитывал приемного сына как родного. После окончания медицинского факультета 2-го Московского государственного университета (образованного из Московских высших женских уурсов) она работала в детской больнице в Саратове, последние десятилетия — главным врачом. Когда она умерла, исчезла последняя возможность узнать реальную историю жизни и смерти деда. После бабушки осталась одна интересная вещь — серебряный блокнот с надписью: «На память дорогому доктору А. И. Мамырину отъ сослуживцевъ 7-го Ванского отряда В. З. С. Кавказский фронт 1914—1917 г. г.» — и длинный список имен. Значит, он был военным врачом, что подтверждалось его униформой на одной из фотографий. Я долго пытался узнать, что такое В. З. С., и, только прочитав воспоминания дочери Л. Н. Толстого Александры Львовны, выяснил, что это Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам, где она самоотверженно работала медсестрой в том же 7-м отряде В. З. С., что и мой дед. И все же этого было мало, чтобы увидеть в нем реального человека. Какой он был, что любил, что ненавидел? Что от него унаследовал его сын Борис?

Борис Александрович прожил долгую жизнь, стал выдающимся физиком, членом-корреспондентом Российской академии наук. Он был замечательным человеком с чудным чувством юмора, талантливым ученым и блестящим лектором. Он любил и понимал музыку и сам играл на множестве инструментов, прекрасно знал литературу и всем дарил стихотворные поздравления. Но он никогда не увидел этих писем и никогда не узнал, каким интересным человеком был его отец.

Как свет далекой звезды, спустя почти столетие, пришли ко мне письма моего деда. Вдали от России меня нашла совсем незнакомая мне родственница, бабушка которой бережно хранила письма любимого, рано погибшего брата, адресованные родителям, брату и ей. Хранила, но в советские годы никому не показывала, ибо

о непролетарском и некрестьянском происхождении лучше было лишний раз не упоминать. После ее смерти понадобились еще годы, чтобы ее сын наконец разобрал ее архивы и обнаружил письма Александра Ивановича.

Неожиданно в мою жизнь вошел интереснейший человек, непринужденно рассказывающий о своей «обычной» удивительной жизни, всем сердцем любящий свою семью и в то же время готовый один уехать в глубинку работать земским врачом, умеющий сохранять чувство юмора в самых мрачных и опасных условиях, когда того и гляди «...нарвешься на штык какого-нибудь „товарища-красногвардейца“».

Нечасто из писем незнакомого человека так рельефно вырисовывается его характер, его личность и далекая ушедшая эпоха России начала XX века.

*А. Б. Мамырин
Лондон 2012 г.*

1

Березовка 5. IX. 1913 <Брату Николаю>

Сейчас получил твое письмо, и, так как есть свободное время, а заниматься не хочется, решил пописать о своем житье-бытье.

Как я уже писал тебе из Елисаветграда, я назначен в Березовку, замещать ушедшего врача (так как врача нет, то возможно, что я надолго застряну здесь, несмотря на свой чин запасного врача; не знаю — радоваться этому или печалиться?). Березовка — это самый южный участок уезда и, кажется, наказал его Бог, самый глухой. Достаточно сказать, что почта ходит два раза в неделю (четверг и воскресенье), от железной дороги — 19 верст (ст. Новый Буг). Село большое, тянется, если не врут крестьяне, верст на семь, по обоим берегам паршивой почти пересыхающей летом речонки. Относительно красот природы здесь не взыщите: лесов ни здесь, ни по всей округе, нет и помину; садов тоже нема; речка, как я уже сказал, гадость. Впрочем, в 6-ти верстах протекает Ингул, там, говорят, хорошее купание. Все общественные учреждения, т<о> е<сть> церковь, волостное правление, земская и церковно-приходская школа, амбулатория — все это находится в центре. Здесь же лавки, пивная и мой домик. Крестьяне живут сравнительно с нашими губерниями много чище и богаче (впрочем, пока я бывал сравнительно в немногих домах, так что боюсь делать легкомысленные выводы). Население — нечто вроде хохлов, но язык не чисто малороссийский; есть, кажется, помесь с молдаванами. Здесь ведь не Малороссия, а Новороссия (между прочим, одна часть Березовки называется Молдаванщиной). Объясняюсь с пациентами без труда, хотя пришлось усвоить некоторые словечки, напр<имер>: чухается вместо чешется, оцэ вместо да, и еще кое-что (шишка по местному называется гулька). Редко лишь какая-нибудь бабенка затараторит быстро, натрещит, я ни черта не пойму и лишь разведу руками, а потом и я, и она расхохочемся. Но это — единичные случаи.

Судя по статистическому календарю нашего земства, мой участок — самый маленький, как по числу жителей (10 тысяч в 1912 г.; может быть и несколько больше), так и по площади (зато он несколько вытянут, и Березовка сравнительно в стороне от центра). Должно быть, добрую половину населения моего участка, если не больше, составляют жители Березовки. Этим я очень доволен, так как при желании можно наблюдать больных интересных на домах, что я и начинаю делать. Вообще, если не заленюсь, можно не дурно поставить дело; я мечтаю всю Березовку сделать своей клиникой. Но пока, конечно, слишком рано говорить об этом. Прием в амбулатории ежедневный, кроме суббот; суббота — наш праздник, если не увезут куда-нибудь к больному на дом (кроме суббот только четыре дня в году свободны от приемов: два дня Рождества, и два дня Пасхи). Пока приемы

идут небольшие (уборка хлеба) — 35—50 чел<овек>; я принимаю сравнительно медленно — с 9 1/2 до 1—3 ч<асов>. Осенью приемы будут вдвое больше, но к этому времени я, думаю, научусь принимать попрворнее. Пока дело идет гладко, особенных затруднений не встречается. В случае сомнений — ставлю какой-нибудь шаблонный диагноз, и назначаю невинное лечение, напр<имер,> в глазных часто фигурируют блефарит и конъюнктивит, в кожных — экзема. Впрочем, у меня в участке сравнительно много трахомы (много старинных больных, леченных прежними врачами, так что диагноз этот верен). Такие, чисто медицинские подробности работы я пишу тебе потому, что, надеюсь, ты прочитаешь это письмо Володе Смирнову. Он уж пусть извинит меня, что ему я пока не буду писать подробностей о своей жизни, — пусть он войдет в мое положение: ведь совершенно одинаковые письма с жизнеописанием (и письма *очень пространные!*) мне приходится писать в пяти экземплярах. В конце концов это же ведь невыразимо скучно, поэтому я письмо к нему соединяю с твоим.

2

11. IX <Брату Николаю>

Регулярных объездов участка здесь нет. Выезды мои могут быть лишь экстренными — на неправильные роды, кровотечение смертельное и т. д. Насколько часты будут такие вызовы — не знаю. Акушерка моя говорит, что вызовы врача на роды здесь крайне редки, даже акушерку редко зовут. 9-го я писал об этом нашим в Липецк и точно сглазил: в ту же ночь (в 2 1/2 ч.) меня разбудили с приглашением к «умирающей» якобы роженице, *первородящей*, крестьянке из соседней экономии (верст 7—8). Роды будто бы тянутся третий день. Я страшно взволновался, так-как положение создавалось бамбуковое. Забрали мы с акушеркой инструменты — щипцы, крантокваст, — и все прочее, и поехали. Ей-то ничего, конечно, дело привычное, а я ехал точно на виселицу. А между тем — роскошная лунная ночь, очень хорошие лошади (присланы хозяйкой экономии), покойный экипаж — все данные для того, чтобы наслаждаться прогулкой. Вообрази мою радость, когда мы въезжаем во двор экономии, а нам объявляют, что 1/2 часа тому назад благополучно родился ребенок, хотя шел неправильно (ягодичное положение). Нам осталось только познакомиться с хозяйкой экономии (она присутствовала на родах) и пойти к ней чай пить. А в 5 час<ов> мы уже «отбыли» домой. Я получил пятерку, акушерка тоже что-то получила. Привыкаю незаметно принимать деньги при прощаньи, точно я беру взятку. Возмущает меня это необыкновенно. Впрочем, наверное мне такие ощущения не часто придется испытывать, так как при обилии врачей я совсем не могу рассчитывать на частую практику, — в уезде, правда громадном, при 26 врачебных пунктах, всего с запасными и эпидемическими числится около 35 земских врачей. Но я об этом ничуть не жалею, будь она проклята эта частная практика; да и заработком своим я доволен. Сейчас пользуюсь бесплатной квартирой, так что квартирные — в барышах, будет с меня.

Об амбулатории больше нечего сказать. Сейчас у меня — эпидемия скарлатины, и довольно сильная; началась еще до меня. С открытием школ усилилась. Завтра обе школы закрываю (такое право предоставлено врачу). С этой эпидемией я немножко затрепался, так как крестьяне большей частью мои наставления в амбулатории только выслушивают, дома же большинство не выполняет, или в лучшем случае — выполняет очень несовершенно, напр<имер> вместо того, чтобы мазать зев, мажут язык, не берегут нефритиков, «просматривают» несколько дней гнойные истечения из ушей, чтоб их

черт побрал! С холодными и горячими обертываниями совсем трудно иметь дело, хотя я и эти вещи пускаю в ход. Лишь незначительное меньшинство дает соответствующий уход. Поэтому необходимо бывать на местах; персонал свой посылать не хочется, — с какой стати я на них такую работу буду взваливать, да и права-то пожалуй не имею на это. И вот после обеда с 4-х до 6—7 час^{ов} бегаю, а иногда разъезжаю, по хатам и грызу бестолковых отцов и матерей. Попутно иногда нахожу еле-еле считаемый пульс, недавно поймал резкую аритмию, — в таких случаях немедленно настегиваю сердце. Недавно был у 5-тилетнего мальчишки, который производил очень тяжелое впечатление; по словам родителей, не мог есть, все стонал. При исследовании оказалось, что у него весь рот и зев забит отвратительной вонючей дрянью — очевидно, ему мазали не зев, а губы, прополаскиванием тоже не занимались. Пришлось энергично спринцевать рот, и на другой день отец приходил и говорил, что мальчик ожил. Теперь он, кажется, идет на выздоровление, хотя у него — злостный otitis media (это у него, как раз, три дня была течь из ушей, и отец мне не сообщил, а я эти дни у него не мог быть). Вообще хотя эти часы трепки по хатам и утомляют порядком, но зато это — лучшие часы, когда твой труд не так бессмысленен, как в амбулатории; здесь часто буквально заставляешь жить человека.

Из других болезней, при амбулаторной работе, необыкновенно много приходят с чесоткой (Scabies); болеют, конечно, целыми семьями. Я прямо поражаюсь, до чего здесь распустили по селу эту гадость. Между прочим, здесь совершенно нет сифилиса; мне это особенно странно, когда вспоминаю Липецкое земство, где чуть не половину приема составляют сифилитики — разных периодов. А здесь за две недели работы у меня не было ни одного; была лишь одна баба с какою-то пустяковиной и с давно провалившимся носом.

Ну довольно о работе, напишу о «жизни». Вспомогательный персонал мой — фельдшер и фельдшерица-акушерка. Первый — лет 30—33, уж 10 лет работает по земствам и уже достаточно набил руку в земской медицине, чему я, конечно, очень рад. Полуинтеллигентный, пожалуй совсем не интеллигентный человек, довольно ленивый и, кажется, мастер выпить. Акушерка — с зелеными глазами, вдова лет 30, школу кончила три года тому назад и акушерской практики имела сравнительно немного, так как в большинстве случаев за эти три года замешала фельдшеров. Боюсь, что в трудных случаях я с ней пропаду. Особа, кажется, неглупая и, сравнительно с фельдшером, поразвитее. Отношения с персоналом я сразу установил совершенно товарищеские, разумеется и не думаю показать себя начальством; хотя первое время многое пришлось перестраивать на свой лад, пока главным образом в канцелярской части, так как официальные книги издавна велись черт знает как, а мне кассу необходимо было принять по книгам. И вот несколько дней пришлось провести за скучнейшей работой, перевернуть многое вверх дном. Пока от приемов, да от эпидемий у меня остается необыкновенно мало времени, а то и по амбулатории, по хозяйству надо будет кое-что переделать по-своему. Хотя в общем необыкновенно трудно проявлять инициативу в таком деле, которого ты никогда не вел; и только позднее начинаешь видеть дефекты ранее, до тебя заведенного порядка.

12. IX. 13 <Брату Николаю>

Как видишь, пишу тебе целую неделю. Сегодня поклялся окончить письмо, хотя не знаю — будет ли с кем отправить завтра письмо.

Со столом я устроился очень хорошо. За 15 рублей обедаю у учителя Земской школы — Бикус. Кормит меня мадам Бикус на убой, все три блюда, иногда больше, все очень вкусное. От Бикус же получаю по утрам сливки к кофе. На ужин — варю себе яйца, имею сыр, буду брать молоко, впоследствии заведу себе окорок. Чай пока варю себе в кофейнике, из Липецка мне выслали самоварчик, кажется, завтра его мне привезут. Прислуга — приходящая, убирает по утрам, приносит воду, ходит за сливками. Вообще с желудочной частью устроился хорошо.

Занимаю врачебную квартиру — отдельный домик в три комнаты, с кухней и передней. Для себя занял самую большую комнату, выходящую на улицу, в пять окон, пожалуй немного побольше нашего зала. Обстановки досталось немного: стол, четыре табурета, ведро и маленький эмалированный рукомойник с тазом. Лампу и зеркало купил себе в Елисаветграде, здесь купил подержанную железную кровать и новый матрац. Кажется, неизбежно еще придется покупать небольшой столик и хоть 3—4 стула. Остальные две комнатки служат мне гардеробом, кладовой, вообще — черные комнаты. Обстановки хорошей заводить не собираюсь, так как не думаю очень долго сидеть в этих краях.

Общество здешнее, кроме моего персонала, о котором я уже говорил, очень немногочисленно: учитель и три учительницы Земской школы, две учительницы Церковно-Приходской школы, два священника и три псаломщика. Самые интеллигентные и интересные — супруги Бикус (она — одна из учительниц, он — учитель). Мадам Бикус — лет 28-ми, пожалуй смазливенькая, по-видимому с претензиями на здешнюю царицу общества. Муж ее — лет 40, медведь и увалень; оба, кажется, люди не глупые, сравнительно интеллигентные и симпатичные, так что, пожалуй, я к ним попал очень удачно. Об учительницах ничего не могу сказать, хотя с двумя из них гулял несколько раз в лунные вечера. Впрочем, одна из них, кажется, довольно симпатичная; она чем-то напоминает Шурочку Ядрову, хотя гораздо хуже. С батюшками познакомился по делам; оба молодые, между собой грызутся, как собаки, вражда непримиримая. Кажется, оба не особенно симпатичные. Батюшки оба имеют — один граммофон, кажется, другой — патефон. Мой фельдшер играет на флейте, балалайке, гитаре и немного на мандолине. Одна из учительниц, Марья Макаровна, напоминающая Шурочку, кажется, немного поет. Не знаю, может быть, что-нибудь и составит музыкальное.

В 14-ти верстах от Березовки — местечко Новый Буг, наш культурный и промышленный центр. Нечто вроде маленького, захудалого городишки. Есть сносные магазины. Между прочим в Новый Буг я отдавал в прачечную крахмальное белье, сегодня получил — работают, брат, не хуже московских красилен, я прямо поразился, когда получил (здесь тоже прачечная и красильня). Так что пугавший меня «крахмальный» вопрос разрешен лучше, чем я предполагал. Взял на почте билет, по которому всякий может получить адресованную мне корреспонденцию. Этим создана возможность получать почту гораздо чаще 2-х раз в неделю, так как случаи в Новый Буг здесь очень часты, особенно когда удовлетворительная дорога. В последнюю субботу я ездил в Новый Буг знакомиться с врачом, — там хотя и не нашего Земства (Херсонский уезд), но ближайший от меня врачебный участок. Великолепная больница, с января будет второй врач. Врач — необыкновенно симпатичный и по моему впечатлению, и по отзывам других, довольно пожилой, хирург; у него можно будет кое-чему поучиться. Я уж ему заранее говорил, что буду надоедать ему со всякими недоумениями, как в чисто медицинских вопросах, так и в административных, на что он согласился

с полною готовностью и радушием. Ездил на земских — лошади очень хорошие, бричка — рессорная, очень исправная, словом — все хорошо. Для разъездов шью себе какую-то хламиду из бобрлика, — нечто надевающееся поверх осеннего и зимнего пальто; жаль истратить на такую гадость рублей 20, но она совершенно необходима. На днях куплю себе резиновые боты, так как без них, говорят, не только по делу, а и площади от моего дома до амбулатории не перейдешь. К зиме куплю валеные боты или совсем какие-нибудь валенки. Видишь, какими зверскими предметами я обзавожусь.

Между прочим, возможно, что в моей большой комнате будет зимою не особенно жарко, так что я уж жалею, что отказался от твоего предложения купить хорошее одеяло. Поэтому, если еще не поздно, пожалуйста, купи и вышлешь мне почтой спустя немного времени. Возможно, что я попрошу тебя одновременно прислать и ботинки, тогда напишу какие. Я ведь заранее говорил тебе и Володе, что буду донимать вас поручениями. Одеяло покупай *получше и помягче*, лишних 3-х—5-ти рублей не желей, ведь это пойдет чуть ли не на всю жизнь. <...> Возможно, что тебе придется высылать мне часы не особенно дорогие из Мозер'овских, так как Юрик, мерзавец, надул, конечно: его часы ни к черту не годятся, бывают дни, когда они 5—7 раз останавливаются. Но обо всем этом я напишу позднее, ты пока припаси для меня одеяло.

Ну, кажется, все уже описал. Чувствую себя недурно. Бывают лишь моменты такой острой, щемящей тоски, какой мне, кажется, еще не приходилось испытывать. Особенно часты были такие моменты в первое время. Иногда какой-нибудь пустяк напомнит тебе все, от чего ты надолго оторван, и я начинаю метаться (буквально метаться) по комнате, не в силах преодолеть чуть не физической боли. В такие минуты я обыкновенно прикидываю — скоро ли я смогу бросить службу и удрать из Березовки в Питер и Москву, где можно послушать оперу, где люди «живут» разнообразно и интересно. Иногда находит на меня особенное отчаяние и я решаю уехать отсюда в первых числах января, чтобы попасть к половине января на семестр в Еленинский Институт или просто в Москву, поработать где бы то ни было. Но по более зрелом размышлении решаю, что к тому времени я ни черта не успею скопить, так что откладываю свое бегство (временное, обращаю на это внимание) на целый год. Между прочим, и в минуты самого трезвого настроения я считаю годовой срок максимальным для своей земской службы — через год я уж непременно укачу куда-нибудь на несколько месяцев, а потом можно опять в земство. Все это, конечно, лишь в том случае, если я за это время не женюсь, но ты знаешь, что эта глупая штука для меня в ближайшее время совершенно невозможна.

Такие моменты острой тоски теперь стали гораздо реже, очевидно ко всему человек привыкает. Как это ни глупо, я до сих пор не могу читать без тоски и сумасшедшего волнения в Русских Ведомостях репертуар Большого Театра. Ты не можешь представить, что со мною в это время делается. Вообще Русские Ведомости, которые я получаю, страшно меня волнуют — каждая строка здесь напоминает о жизни, с которой сроднился, и от которой теперь так далеко-далеко. Я никогда не думал, чтобы так тяжело было одиночество. Особенно плохо чувствовал себя в лунные вечера и ночи, хотя и гулял несколько раз с учительницами, но ведь это — «не хочешь ли винца?». В настоящую минуту льет мелкий осенний дождь, завывает ветер (уж второй день стоит собачья погода), но я необыкновенно доволен — в такие вечера меньше тоски, чем при луне. Хорошо еще, что работы бесконечно много, я совершенно не вижу времени (точнее — остающихся в моем распоряжении вечеров), не успеваю читать даже медицинских журналов (их несколько вы-

писывает Земство для участка); а без работы я давно уж висел бы у себя в передней на крюке. О таких моментах тоски домой я, конечно, ни слова не писал, — зачем вызывать лишние слезы? — а то мама и так пишет, что оплакивает меня при получении каждого моего письма. Ты напиши им, что, мол, получил от Сашки письмо, пишет — устроился и живет хоть куда.

Я на тебя необыкновенно осердился, когда прочитал, что тебе не понравилась «Жизнь за Царя», — ведь это мое последнее увлечение (музыкальное). <...> Передай Володе Смирнову, что я очень сердит на него за его письмо, где он весьма непочтительно отзывается о земской и даже (о, на-хал!) и городской медицине, противопоставляя их медицине клинической. На этот предмет я ему напишу особое отношение, пока же ты ему почитай это письмо. <...> Да вообще вы, черти, пишете почаще. Если бы вы все знали, как березовцы ждут почты, с какой жадностью, чуть не дрожащими руками, я разрываю конверты, — то право вы все, далекие, живущие среди настоящей жизни, почаще брались бы за перо, чтобы и нас, березовцев, осведомить о том, что делается на свете.

Ложусь спать, и так не высплюсь, завтра весь день придется бегать.

Пиши чаще.

Твой А.

Местечко Новый Буг Херсонского Уезда
Переслать в село Березовку Елисаветградского Уезда
Врачу А. М.

4

25. IX. 13 <Брату Николаю>

Сегодня опять ездил в Новый Буг — завершил цикл своих трат на обстановку: купил этажерочку, стол и два стула (стульев больше не оказалось, вот чертов край!). А то у меня все окна завалены всякой дрянью — провизия, книги, деловые бумаги, медицинские журналы, газеты — самому смотреть противно. Недавно послал к Иммер за каталогом луковиц, должно быть что-нибудь выпишу себе на осень из цветов, — у меня 5 окон, подоконники широкие, цветы водить можно.

С неделю тому назад у меня в Березовке был псевдо-холерный случай. Прибегает на прием баба, вся в слезах, просит поскорее поехать к ней — забрало мужа, — рвота, понос, судороги. Немножко взволновался, помчался к ней в хату. На земляном полу, улитом рвотными массами, лежит без сознания и корчится в судорогах крестьянин лет 30; отец его еле сдерживает. Когда он немного пришел в себя, то совершенно не мог говорить, хотя язык оставался подвижным. Я этот симптом толкую как «vox cholericа» (при холере голос становится беззвучным). Повозился с ним с час, кипятил самовар и грел его бутылками. Дал кое-что внутрь, произвел дезинфекцию его извержений, а часть извержений тотчас же отправил с нарочным в Елисаветград для исследования на холерные вибрионы. У нас для этого имеются специальные баночки. К счастью и спокойствию, на другой день получил из лаборатории телеграмму, что холерных вибрионов не найдено. Вообще пока с холерой тихо. В нашем уезде был лишь один случай (в 80-ти верстах от меня). Тифов тоже почти нет, — в Березовке лежат двое с брюшным. Утихает и скарлатина, через 1 1/2—2 недели надеюсь открыть школы, если не будет новых заболеваний. Пиши.

Целую,

А.

Березовка, 17. X. 13

Дорогой Николашка!

Сегодня был в Буге, получил часы; признаюсь, так скоро не ожидал. Очень обрадовался, так как надоело жить совершенно не зная времени, так как у кого есть часы, так нечто вроде моих — идут, как им заблагорассудится. Часы *очень по вкусу*; идти, думаю, будут прилично. Сколько стоят? На фугляре стоит цифра 18; что это — цена? Я открывал посылку, когда ехал на бричке (так как хотел в Буге же поставить время), и у меня улетела бумажка со штемпелем Moser — счет, должно быть? Впрочем, это неважно. Как я уж писал, ящик давно получил, хотя и без пломбы, но все в целости. Все понравилось, *всем угодил*, вот лишь с ботинками огорчение вышло. Одеять меня не нужно — мне оно нравится; о «тигровых» же я хотя и не могу судить, но думаю, что они мне не понравились бы. Кофе поью весь, несмотря на то, что в начале или середине сентября мне привезли из Херсона 2 ф<унта> — авось не протухнет. Обрадовался вафлям, — вспомнился прошлый год, — как-то Маниш выбирала из жестянки лишь облитые шоколадом... Это, конечно, мелочь, глупость, но замечательно такие мелочи, связанные с воспоминаниями, мутят душу. <...>

Сколько мне придется прожить в Березовке — не знаю. Хотя в конце концов сравнительно безразлично, где промаячить год, до будущей осени, в Березовке ли, или в другой какой-нибудь Матренке (имя, ставшее нарицательным!), но все-таки я был бы очень рад переехать в другую какую-нибудь трущобу — хотя разнообразие. А то за последнее время я опять стал чересчур часто и чересчур много ходить из угла в угол по своей комнате... Частенько, брат, нападает такая история. Возможно, что для Березовки долго не найдется постоянный врач, т<ак> к<ак> участок глухой. Если придется быть этой осенью на врачебном совещании в Елисаветграде, то буду хлопотать о переводе куда-нибудь в больницу (вторым врачом). Но как бы то ни было, я ничуть не жалею, что уехал сюда и не остался в Москве. Спасибо тебе за приглашение в Москву и за молчаливую готовность материальной поддержки; я и от Володи Смирнова получил ругательное письмо, зовущее в Москву. Но та жизнь не для меня. Не умею я, брат, «делать карьеру» около «сильных людей», не из такого теста выпечен, ты знаешь это; а такое умение — необходимое почти качество для работы в Москве (вернее — не для работы, а для службы). Я, конечно, не хочу бросать грязью во всех работающих в Москве, но что по этой дороге идет большинство их — это несомненно. Меня-то лично тянет в Москву или Питер лишь на время поучиться немного, а потом — опять в Земство. Как ни плохо здесь работать, все-таки крупное удовлетворение дает личная независимость как в жизни, так и в работе. Для меня личная свобода — не красивая фраза, не разговоры только; для нее я, пожалуй, готов отказаться от многих благ жизни. Поехать поучиться я, может быть, предпочел бы не в Москву, а куда-нибудь в большую провинциальную (губернскую) больницу, так как там больше возможности самому вплотную подойти к работе, а не «смотреть», как оперирует господин профессор. Ну да это — дело будущего. Пока годок я просижу в глуши, — и работе в глаза посмотрю, да и деньжонок, может быть, хоть немного скоплю себе на поездку. Я, кажется, писал тебе о докторе Руссинковском, в Ново-Бугской больнице. Теперь я приладился ездить к нему на операции: приблизительно раз в неделю пропускаю амбулаторный прием (т<о> е<сть> оставляю его на свой персонал) и удираю в Буг. Руссинковский насильно заставляет работать, даже там, где я по скромности (т<о> е<сть> трусости) упираюсь. Обещается пройти со мной полный курс *практической* хирургии, начиная от

пустяков. Уж кое-что я делал, режу ножом живого человека с дерзостью и остервенением (слово отнюдь не литературное). Это меня страшно радует; жаль, что такие уроки сравнительно редки. О своей амбулаторной работе сказать нечего. Постепенно приемы увеличиваются; сейчас с перевязочными доходят до 70, будут больше. Скарлатина моя почти стихла (я, кажется, писал тебе об эпидемии?), даже школы открыл. О холере ни слуху ни духу. Было несколько случаев брюшного тифа; недавно привезли из соседней деревушки девчонку, очень подозрительную на сыпной; но все это крохотные случаи. По ночам пока никуда не вызывают. Я, когда прочитал твое предположение, что меня вызвали ночью на роды, пожелал тебе прездорового Типуна. Хотя погода нас балует: до сих <пор> стоят великолепные дни, так что проехаться куда-нибудь, даже ночью, не так уж страшно, как это тебе рисуется. Не помню, писал ли я тебе о новости в моей жизни — я оставил себе одну лишь большую комнату, а две маленькие отдал своему фельдшеру. К нему приехала недавно жена, с которой он раньше не жил, довольно милостивая блондиночка с психическим расстройством в прошлом (фельдшеру квартира не полагается). Теперь я сижу за самоварчиком да занимаюсь или письма пишу, а за стеной — концерты: гитара с мандолиной или балалайкой. Вообще квартира стала больше походить на человеческое жилье, а раньше у меня тишина, бывало, стоит, точно в могиле. Ну, пока, бросаю, хочу спать, да и все равно почту нельзя будет отправить раньше воскресенья (20-го), разве какой-нибудь случай набежит.

6

Березовка, 3. XI. 13

Дорогие Папа, Мама и Зинхен!

Давненько Вам не писал, хотя теперь, когда уж немного обжился, жизнь стала казаться более однообразной: сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, так как новых впечатлений очень мало. Работа идет сравнительно однообразно. Неделю тому назад пришлось первый раз в жизни вправлять вывих. Шел не без волнения, готовился отправлять в Новый Буг в случае неудачи (а на успех вправления надеялся очень мало). Сверх ожидания дело окончилось великолепно — плечо вправилось легко и быстро. Правда, случай был очень легкий (пациент — старик), но все-таки я был необыкновенно доволен. Всякая ерунда, которой никогда не делал, кажется трудной, — а после первого раза — смотришь на нее с улыбкой. Вот акушерство и сейчас для меня — полно ужаса: до сих пор ни одного раза не пришлось активно вмешиваться при родах. Недавно вечером привезли парня — бык распорол ему ягодицу; пришлось зашивать; шил как Цивин. Вообще за это время набираюсь не столько знаний, сколько дерзости — привыкаю без страха подходить ко всяким случаям.

Личная жизнь неинтересна. Публика здешняя ничем не замечательна. Талантами и красотой не блещет. Последнее дело — приволокнуться не за кем. Изредка поигрываю в преферанс — он в достаточной степени надоел, а то здесь можно бы играть день и ночь — любители смертные. Вчера целый вечер провозился с бумагами, составлял отчет и всякие ведомости за месяц; сегодня принадлежу себе — пью чай и читаю Вересаева. Идет проливной дождь, а до последнего времени погода нас баловала: ходили без калош, пальто внакидку. Лишь изредка по ночам бывали заморозки.

Я Вас надул в этом месяце с деньгами — отложил до следующего месяца. Так как, оказывается, приходится задолго до получения жалованья субсидировать персонал и служителя, поэтому не мешает иметь на руках лишние деньги.

Как я уже писал Вам, был у меня Володя. После Святков собирается захватить опять. Николай Иван<ович>, если он, мошенник, не забыл своего обещания, тоже должен после Рождества поехать из Липецка в Москву через Березовку. Вы, Мама, тогда тоже к ним присоединяйтесь, и у меня будет целый дом гостей. Обратно доедете без провожатых, до вагона же я доставлю.

Ну, пока, до следующего письма. Пишите и Вы, не ленитесь.

Целую Вас всех.

Ваш АМ

8-го у нас храмовый праздник, — приглашен к одному батюшке, будет бал, — может быть, будут интересные лица.

7

Елисаветград, 2. IV. 14

Дорогие Папа, Мама, Николахен и Зиночка!

Со всеми Вами заочно христосуюсь, целуюсь. Шлю Вам поздравления.

Письмо мое, наверное, очень Вас порадует, да и сам я не могу очухаться — так все это неожиданно надвинулось. Как видите, я все еще в Елисаветграде, и сижу здесь по довольно неприятному обстоятельству. Дело в том, что меня посетила моя старинная знакомая — малярия (лихорадка), и вот в первое же утро по приезду в Елисаветград вместо врачебного совещания я угодил в больницу. Лихорадка довольно крутая, так что в первые дни можно было опасаться кое-чего посерьезнее. Сегодня ночью, во время приступа, брал кровь для исследования, и сегодня же любовался под микроскопом своими мучителями. Так как запускать с лечением такую штуку не следует и придется как следует заняться собственной начинкой, то я выкинул еще более неожиданный для Вас номер: ходил сегодня к председателю и взял месячный отпуск для лечения; т<о> е<сть> я, собственно, только подал прошение, но это уже формальности, отпуск мне обеспечен с 10-го апреля по 10-е мая. Конечно, Сентябрьский отпуск уже пропадет, да его мне не жаль, он как-то некстати вклинивался в мои планы.

Сегодня ночным узезаю в Березовку (приступы у меня уже через день), поживу там денька два и числа 10-го — 12-го надеюсь тронуться на родину, если меня не задержит бумажка с отпуском. Готовьте больше молока, мне хочется за этот месяц растолстеть. С удовольствием прилипну с граммофону. <...>

Всех целую.

Ваш А. Мамырин

8

Березовка, 28.VI.14

Дорогие Папа, Мама, Коля и Зиночка!

Письмо Ваше от 21-го получил. Жду ответа по поводу поездки. У меня жизнь идет по-старому. Начинаются вовсю полевые работы, амбулатория небольшая, на-дома тоже редко берут. Времени для себя остается много, стал посерьезнее заниматься. Хотя регулярно каждый день в 7 час<ов> сажусь на «колесо». После велосипеда так же регулярно готовлю себе яичницу, которую, кстати сказать, научился делать и скоро, и вкусно. Последние недели 2—3 обедаюсь вишнями — у нас в Березовке этого добра много, хотя садов и мало. Часто присылают Бикусы (из своего сада при школе), а вчера Паша купила мне по 3 к<опейки> фунт (сама рвала в саду) крупную спелую

вишню, сейчас варит для меня варенье. Конечно, хапнет, как следует, ну да черт с ней. В Понедельник привез себе из Нового Буга абрикосов, всю неделю ел, надо будет наварить варенья. Несколько раз ел со сливками малину и клубнику. Как видите, и мы здесь не без фруктов, и не без ягоды (вчера ел первое спелое яблоко).

Цветут у меня розы, временами бывает очень много. Иногда у меня на столе стоит 6—8 роз; конечно, и еще кое-кому перепадает. Некоторые кусты буквально осыпаны бутонами, сейчас на одной чайной розе более 15 бутон<ов>. На таких кустах каждое утро дает 3—4 новые распутившиеся розы. Правда, другие молодые кусты дали по 3—4 цветка и уже больше не цветут, а может быть зацветут к концу лета опять. Жаль только, что большинство роз далеко не так красивы, как в каталоге, хотя некоторые были необыкновенно красивы, особенно, если их резать, не давая вполне распуститься. Во всяком случае я очень доволен своим первым опытом разведения роз. К тому же и хлопот с ними очень немного (если сравнить, напр<имер>, с левкоями) — посадил, обрезал и поливай один раз в день...

9

Ровное, 19. IX. 14

Дорогие Папа и Мама!

Вчера получил телеграмму из Смоленска от Городского Головы с извещением, что я назначен ассистентом в Городской Лазарет для раненых с предложением отъезжать в Смоленск (я раньше кое-куда посылал прошения, между прочим и в Смоленск). Так как относительно Елисаветграда я не дал окончательного ответа, то сегодня по телефону подтвердил свой уход, хотя и не без колебаний — и Елисаветград жаль, есть о чем подумать. В Смоленск телеграфировал, что буду к концу сентября, надеюсь, что меня подождут. По телефону просил как можно скорее освободить меня от обязанностей; сегодня ответа пока не получил, боюсь, как бы не задержали меня здесь. Итак, еду в Смоленск; там открываются громадные лазареты; по-видимому, работы будет масса. С удовольствием еду на новые места, хотя немножко побаиваюсь — справлюсь ли с работой. Если меня отпустят в Елисаветграде завтра или послезавтра, то я собираюсь хотя бы на день приехать в Липецк, хотя это и не по пути. Если тут продержат до 25—27, то заехать тогда не смогу, придется ехать прямо в Смоленск. Между прочим, вокруг меня все так быстро меняется, что я уже боюсь писать уверенно, что еду в Смоленск — может быть, еще что-нибудь стряется, и опять последует перемена. Во всяком случае не удивляйтесь, если числа 25—26 к Вам явится Ваш беспутный сын.

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

P. S. С материальной стороны в Смоленске почти то же самое, что и здесь — 175 р<ублей> в мес<яц>, своя квартира.

AM

10

Москва, 23. IX. 14

Дорогие Папа, Мама, Зиночка и бабушка!

Сейчас только пришел из Большого Театра — слушал «Майскую ночь» с Собиновым. Вы, конечно, поражены. Беспутный сын Ваш приехал в Москву

сегодня покупать себе шубу. Смотрел я в Смоленске — средняя 150, получше 200 и дороже. Но по вкусу себе не нашел, заказывать же не рискнул. Здесь наверное переплачу, но может быть, будет из чего выбрать, да пожалуй и меньше риску влететь, если покупать в надежном месте. В Москве пробуду наверное дня три, так как дано кстати много поручений для лазарета — покупать кое-что из инструментов, что отнимет очень много времени. В Смоленск вернусь позже, чем предполагал, так как хочется в Субботу вечером попасть в Большой — Нежданова, Собинов, Гельцер — просто пальчики оближешь.

В Смоленске работой пока завалены по горло — некогда даже газеты читать. На днях должен приехать еще врач, тогда мы немного разгрузимся. Спасибо, что большинство — легко раненые — пальцы, пальцы и пальцы (наверное 80 или 90 % с повреждениями пальцев).

На квартире устроился очень хорошо и покойно; всего полное изобилие: телефон, стирка белья, часто даже лошадь в Лазарет или обратно.

Посылку получил, все в целости. Спасибо за хлопоты по пересылке и шитью белья. Спасибо за галстуки, очень хороши. Один подарю Митрофану Васильевичу, ему они тоже очень по душе пришлись.

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

11

Смоленск, 3. XI. 14

Дорогие Папа, Мама, Зиночка и бабушка!

Давно уж Вам не писал — то дело, то безделье. Теперь у меня все еще больше, чем следует, больных — около 80 (нормально у меня будет 54 — 3 палаты). Когда все придет в норму, работы будет не так уж много, а то мы совсем затрепались — в баню не выберешь времени сбегать, по несколько дней не читаем газет. Теперь распорядок устанавливается такой: утром обход и перевязки, с 9 1/2 до 1—2—3 ч <асов> — смотря по работе. Вечером же большей частью только беглый обход палат, словом, час-два работы. По воскресеньям по вечерам мы совсем не являемся в лазарет. Через четыре дня на пятый суточное дежурство в лазарете; ночью, конечно, спим, если не случится какой-нибудь шкоды. <...>

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

Васильевским предлагал за стол 50 руб, не взяли, взяли 40.

Свободные вечера таскаемся в синематограф, очень хорош там оркестр. Вот теперь (6-го) придется идти с Васильевским на именины — я точно член их семьи, бродяжничаю с ними по гостям.

АМ

12

Тифлис, 3. I. 15

Дорогие Папа, Мама и Зиночка!

Вчера добрался до Тифлиса; поезд всюду безобразно опаздывал, но все-таки в Тифлис я приехал спустя 1 час после нашего поезда; второй же поезд пришел после меня. Было бы глупо приехать раньше отряда, так что я очень доволен, что запоздал в Липецке.

Обо всем, что приходится видеть, конечно, не напишешь; так много странного, так все необычно, начиная с климата (сейчас здесь совсем тепло, наш

март или апрель, деревья лишь не распускаются), и кончая публикой, всем колоритом восточного города. Видел Казбек, странное благоговение навевают горы с их покрытыми снегом вершинами, которых почти не отличишь от насевших на них облаков. В Баку сидели 5 часов, осматривали компанией город, катались на парусной шлюпке по морю, жаль лишь, что ветер был чересчур слабый.

В Тифлисе просидим дня три, а потом двинемся дальше, на место работы. Адрес мой и сейчас, и на будущее время (где бы я ни был):

Тифлис, улица Жуковского, д. 2. Всероссийский Земский Союз, врачу 7-го Врачебно-Питательного Отряда А. И. М. Конечно, письма и от меня, и особенно от Вас, будут итти довольно долго.

Сейчас живем в любезно предоставленном нам помещении мужской гимназии. Сегодня иду на «Сказки Гофмана», а завтра утром должны быть на «Пиковой Даме».

Работать пока предполагаем, разделившись на три отряда (а не на пять, как предполагали раньше).

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

13

Карс, 19—20. I. 15

Дорогие Папа, Мама, Зиночка и бабушка!

Сейчас три часа ночи, а в шесть меня разбудят, так что пишу лишь несколько строк.

Сейчас приехал их Тифлиса Глебов (уполномоченный Земск<ого> Союза, т<о> е<сть> наше самое большое начальство, не считая военных властей) и привез нам почту. Получил твое, Зина, письмо от 12-го с/м и от Коли письмо.

Завтра утром еду с Глебовым в Родионовку, небольшое село, где надо организовать перевязочно-питательный пункт. Завтра же пойдет все наше снаряжение, а послезавтра придет и весь персонал нашей ветки, т<о> е<сть> оставшейся части нашего отряда; как я уже писал Вам, две части отряда уже работают. Работы в ближайшее время, вероятно, будет немного (не считая устроитва), так как в войсках сейчас затишье и раненых приходит немного. Впрочем, этого учесть, конечно, невозможно.

Когда немного устроимся, напишу. Пока.

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

Письма посылайте без марок.

14

9. VIII. 15

Дорогие Папа, Мама, Коля и Зиночка!

Вчера получил письмо от 30-го. Вам послал из Карска телеграмму и 4-го заказное письмо, которое должен быть сдать Глебов. Боюсь, из-за рассеянности последнего и это письмо постигнет участь прежних заказных — превращение в доплатное. По получении этого письма попробуйте на следующий же день отправить мне лишь несколько строк по новому адресу, может быть я буду скорее получать

Мерденск, Карской обл. Всероссийский Земский Союз
врачу Алекс. И. М.

Между прочим я еще не получил жалованья за Июнь-Июль, как только получу, вышлю 500 руб<лей>, из них 120 руб<лей> на Колину долю, остальные Зине на Москву; если до Рождества не хватит, тогда спишемся, вышлю еще.

Здесь вместе с нами работает отряд (земский) Марциновского, который одно время занимал кафедру Бактериологии в Институте Статкевича и Изачека. Я с ним и Глебовым ехал из Карска сюда и дорогой расспрашивал относительно этого Института; отзывы довольно благоприятные, что меня успокоило. Кстати, в Родионовке, где я раньше работал, сейчас служит женщина-врач, окончившая этот Институт.

Если не случится чего-нибудь неожиданного, то через месяц у меня будет перемена. Женщина-врач из Мерденска, которая сейчас уехала в отпуск, около 10-го сентября, вернется вероятно прямо сюда, в наш Лазарет, и мы будем здесь работать вдвоем; она довольно опытная, давно работает в Земстве. Если это так случится, то мне будет тогда куда свободнее, сейчас же очень много работы, дня совсем не видишь. Сейчас лунная ночь, я только что приехал — целый час от 10 до 11 проездил верхом (катался) — такая роскошь.

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

15

5. IX. 15

Дорогие Папа и Мама!

Выбрал часочек пописать письма, а то вертелся, как черт в рукомайнике, много работы было. Сейчас Лазарет на несколько дней закрыт — идет генеральная чистка, все моем, скоблим, дезинфицируем; больных пока не принимаю (временно принимает Красный Крест), потому дня два-три почувствовал некоторую свободу и вчера вечером ухитрился даже часок поездить верхом. Вероятно, послезавтра пойдем в вычищенные помещения, и тогда опять колесо завертится, пока не приедет сюда врачиха.

От Вас почти ничего не получаю; прислали лишь Коля и Зина. Пишите на Мерденск, в особенности позже, когда пойдут заносы, тогда сообщение с Карсом будет ненадежным, из Мерденска ж я всегда получу скоро. Кажется, 22-го Августа отправил Вам телеграфом 500 руб<лей>, просил известить о получении, но пока от Вас ничего не имею. Коля и Зина теперь, вероятно, уже в Москве; тоже ничего не пишут. Правда Зинке-то не до писем, такая масса новых впечатлений, где уж тут много расписывать.

Сейчас письмо отправляю, всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

16

Ольты, 23. X. 15

Дорогие Папа и Мама!

Давно уж не получаю от Вас писем, Коля тоже ничего не пишет, по видимому все обстоит не особенно благополучно. Напишите поскорее что и как. От Зины недели три назад получил, хорошо, что там устроился Хомка, все-таки им веселее вдвоем.

У меня жизнь идет так же, как всегда. Приезжал Великий Князь Николай Николаевич, был в Лазарете, все сошло хорошо.

Незадолго перед его приездом поздно ночью у нас была «история». Сгорело одно помещение для шоферов и склад бензина, керосина и автомобильного масла. Было очень жутко, когда взрывались железные бочки с бензином и струя горящего бензина, точно огненная река, взлетала высоко в воздух наподобие ракеты. Незадолго перед этим нам привезли целый транспорт бензина. Когда начался пожар, все бочки с бензином оказались среди пламени около помещения на открытом воздухе, но откатить их было нельзя, не рискуя людьми, так как все бочки одна за другой взрывались. Сгорело одного бензина более 200 пудов, керосин и масло. Был один обожженный виновник пожара; вероятно он выживет. Спасибо был здесь Сергей Владимирович; как раз когда начался пожар, для Глебова заводили машину. Он и распорядился, не тушением, правда, пожара, так как тушить совершенно невозможно было, а общим порядком, чтобы никто не лез под взрывы. Автомобили все откатали, некоторые почти из огня, а их стояло до 40.

Работы сейчас мало, тифов совсем нет. Живем по-старому.
Пишите, всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

17

Ольты, 30. X. 15

Дорогие Папа и Мама!

Сегодня получил наконец от Вас письмо, а то я уж года три ничего от Вас не получал. Как раз сегодня же получил и от Коли письмо, переданное из Москвы врачом, приехавшим из отпуска. Ведь до сегодня я был в полном неведении относительно Коли и, конечно, предполагал самое неприятное.

О себе нового написать нечего. У нас жизнь идет одна: принимаем и отправляем, потом опять принимаем и отправляем.

О потраченных на разъезды деньгах Вы не очень тужите — черт с ними, лишь бы с самими все хорошо было. Вы вот, Папа, все прихварываете, как пишете; возможно поизнервничались за это время. В половине Октября я поручил нашему инженеру перевести Вам 500 руб<лей>; он еще на днях только возвратится, так что я не знаю, перевел он Вам или нет. Пожалуйста, по получении уведомите. Сапоги мне пока не нужны, пускай валяются. А вот Вам просьба: у меня в Липецке (на этажерке, а вероятнее всего в сундуке) есть Самоучитель Английского яз<ыка> и Самоучитель Французского яз<ыка>. Мне что-то (муха укусила) пришла охота позаняться по вечерам этой ерундой, а вечера здесь предлинные. Пожалуйста, не поленитесь, пришлите эти оба самоучителя (в каждом по 18—20 выпусков); прямо зашейте в полотно и отправьте лучше ценной посылкой, хоть на 5 руб<лей>, — разница гривенник, а зато не пропадут книги. Адресуйте посылку на Карс, Всероссийский Земский Союз Врачу А. И. М.

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

Телеграфный адрес теперь другой:

Кавказская Армия

Полевое Телеграфное отделение № 32.

Почтовый — тот же самый — на Карс или Мерденск.

А. Мамырин

Карс, 14. XI. 15

Дорогие Папа и Мама!

Послал Вам телеграмму, которая Вас, вероятно, удивила. Расстался с Ольтами и перехожу на другое направление. Развертывается большой госпиталь в Каракилиссе, а я недавно поругался со своей группой и попросил Глебова перевести меня на другой пункт. Остаться в Ольтах, разогнав группу и составив новую по своему усмотрению, как на этом настаивали Глебов и Барский, я не захотел. И вот вчера я расстался с Ольтами и с группой — немножко с сожалением, а больше с радостным ожиданием новых мест и новой работы, — все-таки ведь засиделся я в Ольтах. Как я телеграфировал уже Вам, письма адресуйте пока на Карс, если будет более удобный адрес, я сообщу. В Каракилиссе есть почта и телеграф (вероятно, полевые конторы).

Об условиях жизни и работы в Каракилиссе пока мало знаю, лежит она на высоте Карса, вероятно, такой же и климат.

Когда немного осмотрюсь, напишу.

Целую Вас.

Ваш А. Мамырин

Перевел Вам деньги, которые Вы уже получили. Вы, конечно, расплачивайтесь ими, если будет нужно Вам или Коле с Зиной. Покупать на них бумаги, подверженные колебаниям курса, мне бы не хотелось. Уж лучше новый 5 % заем, который колебанию курса не подвержен.

А. Мамырин

Каракилисса, 21. XI. 15

(Помечено карандашом: *Получена > 2 Декабря <1>915 г.*)

Дорогие Папа и Мама!

Вот уже почти неделю сижу в Каракилиссе. Впечатление пока самое лучшее, правда отчасти потому, что я ожидал грязи по колени, а на самом деле меня при въезде встретил чудесный почти весенний день. Последние дни стоят хорошие морозы, немного маловато снега, а то и совсем хорошая русская зима. Лежит Каракилисса в широкой долине, верст с десяток в поперечнике, обрамленной горами. Горы подходят не так близко, как в Ольтах. Госпиталь тоже оказался очень симпатичным, помещается пока исключительно в теплых палатках, отстраивается дом и еще ставят новые палатки. Сейчас имеем около ста больных, очень скоро будем способны принимать двести.

Нас здесь два врача, что очень хорошо, особенно после ольтинской горячки — по крайней мере можно будет отлучиться при случае хоть на день-два. Работа здесь тоже совсем иная, сравнительно с ольтинской — здесь эвакуация идет не так быстро, больных мы здесь действительно лечим, а не сортируем только и эвакуируем, как в Ольтах. Сейчас-то, конечно, вообще мало работы.

Здесь несколько лазаретов, большое общество. Вчера был именинник комендант, стоящий в очень хороших отношениях к Союзу и временно у нас столующийся; он устраивал по этому случаю «бал». Привозили даже очень хороший граммофон с прекрасным выбором пластинок. Как раз вчера был здесь и Глебов. Удался очень хороший вечерок с очень хорошим дуэтным и хоровым пением.

Относительно моего хозяйства пусть Коля и Зина располагают всем, что им потребуется; там ведь кроме самовара и еще кое-какая мелочь есть; лучше взять здесь, чем покупать; мне-то неизвестно когда это все понадобится. Письма пишите по адресу (простые): Кавказская Армия, Полевая Почтовая

Контора № 44 или: Каракилисса Алашкертская, Земский Лазарет, АИМ. Не знаю, как будет вернее и скорее. Попробуйте написать по двум адресам. Заказные только на Карс (по старому адресу).

Последние письма от Вас получил от 30 Окт<ября> и от 1 Ноября. Жду от Вас посылку с английским самоучителем.

Целую.

Ваш А. Мамырин

20

Каракилисса, 9. XII. 15

Дорогие Папа и Мама!

Вчера получил Ваше письмо, где Вы браните меня за перемену места. Но особенно-то жалеть не о чем. В Ольтах, конечно, было недурно, но зато и осточертели они мне достаточно. Ведь сидел с февраля на одном месте — шутка ли! В смысле же опасностей каких бы то ни было здесь я — у Христа за пазухой. От линии позиций очень далеко, три года скачи, не доскачешь. Тифа сейчас совершенно нет, вероятно под влиянием прививок он совершенно исхарчился.

Живем здесь недурно, здесь несколько лазаретов, очень много врачей и офицеров. Вот только работки пока мало, на мою долю приходится лишь семьдесят больных; когда лазарет окончательно развернется, будет, конечно, больше. <...>

Всех Вас целую.

Ваш А. Мамырин

21

15. IX. 17

Дорогие Папа, Мама и Зиночка!

13-го был в Комиссии, теперь ожидаю призывной лист, который должны прислать через 4—6 дней. Оказывается, трехдневного срока «для устройства дел» мне не будет дано, так как призывной лист мне уже присылался раньше. Поэтому, может быть, придется выезжать совсем экстренно. Я все-таки постараюсь заехать в Липецк, тогда дам телеграмму, и Вы, Мама, заранее начинайте, пожалуйста, печь пышки — их придется взять с собой на фронт. Конечно, совершенно неизвестно, сколько меня продержат в Резерве Воен<но>-Сан<итарного> Управл<ения> — два дня, две недели или более.

Пока всех целую.

Ваш А. Мамырин

На днях у меня ночевал Леня Израильский. Он поехал на Западный Фронт, пока в Минск.

Если мои большие сапоги не в исправности, пожалуйста, отдайте поскорее починить.

22

31. XII. 17, Действ<ующая> Армия

Дорогие Папа, Мама и Зиночка!

Получил на днях Ваше письмо от 10 Декабря и запоздавшее Зинино от 27. XI. О деньгах Вы напрасно беспокоитесь. Я уже получил в Декабре

425 р<ублей>, сегодня получаю около 250, пока, стало быть, деньги есть. Недавно отправил Вам для Зины 250 р<ублей>, больше пересылать побоялся, время уж очень ненадежное. Как только получите, сообщите, я тогда, вероятно, перешлю еще или Вам или прямо Зине, если буду знать ее адрес. Пока нам платят — если не будут платить, ну тогда уж делать нечего, но я оставляю себе на такой случай небольшой резерв, чтобы не остаться без гроша. 13 Декабря отправил Вам посылкой табак. Получили ли Вы, и, если получили, пошел ли в дело, или он непригоден. Ваши письма из всех получаю (много пропало по-видимому Зининых), Вам посылаю только заказными, пройдет несколько рублей лишних, черт с ним, зато будет уверенность, что дойдут письма.

Полковая жизнь идет по-старому: живем хоть и без погон, но тихо и смирно. Полк все тает и тает, масса разъезжается в отпуска. Наш полк украинизировался; все кацапы могут, если хотят, уехать к своему воинскому начальнику. Могу, кажется, и я уехать, но я предпочитаю остаться здесь, так как попасть в какой-нибудь большевистский полк мне ничуть не улыбается, да и безопаснее у нас здесь во всех отношениях. Пока и деньги платят, а в России-то далеко не везде. Конечно, лестно было бы заглянуть на денек в Липецк, но пока приходится от этого отказаться; в России скорее нарвешься на штык какого-нибудь «товарища-красногвардейца».

Ваши колбасы, конечно, соблазнительны, да и мы здесь не голодаем. Обед и ужин пока получаем по-старому из собрания; хлеба получаем по 2 ф<унта>, но я его весь отдаю своему денщику, сам же разоряюсь на белый, плачу по 80 к<опеек> — 1 р<убль> за фунт. Это, конечно, не беда, зато чувствую себя гораздо лучше.

На первый день были на вечере у командира полка. Был оркестр музыки; компания, конечно, быстро перепилась, но веселились, плясали напропалую. Сегодня в штабе будет встреча Нового Года. Будет оркестр и, конечно, неизбежный выпивон, будут, кажется, и карты. Вообще жизнь сытная и покойная, воротник у гимнастерки моей скоро перестанет застегиваться, боюсь, могу лопнуть скоро.

Ты, Зина, как устроишься в Москве, тотчас сообщи мне свой адрес.

Целую Вас.

Ваш А. Мамырин

Очень возможно, что нас отведут отсюда в тыл, так как воевать мы совершенно не годимся: в полку осталось не более 600 человек. Вопрос этот пока находится в стадии обсуждения.

23

Действ<ующая> Арм<ия>, 23. I. 18

Дорогие Папа и Мама!

Получил, наконец, Ваше письмо, написанное на Новый Год, спасибо за поздравление. После 12 Декабря это первое письмо. Писаного к праздникам я не получил, не получил и телеграммы. Да и по какому адресу Вы ее посылали? Здесь только почтовая контора, телеграфа нет; на 43-й полк пока телеграфировать нельзя. Дело в том, что наш полк, как украинизированный, выделен из своей (11-й пех<отный>) дивизии, отдельные полки которой настроены большевистски. Дивизия ушла на новое место, а наш полк вольется, вероятно, в одну из Украинских дивизий и, вероятно, немного подвинется в тыл. Пока идут переговоры. Самое неприятное в этой перемене то, что еще дальше отодвинулся мой отпуск. Для врачей у нас установлена дивизионная очередь на отпуска, т<о> е<сть> сообразно вре-

мени прибытия в дивизию. Здесь я пробыл уже три месяца, а в новой дивизии я буду, вероятно, числиться опять как новоприбывший. Будь здесь мой товарищ, может быть можно было бы получить отпуск домашним путем через командира полка; но товарищ в отпуску заболел и лежит в госпитале — что-то вроде брюшного тифа, так что на его возвращение надежды мало. Да и сообщения сейчас нет между Киевом и Полтавой, при всем желании ему трудно приехать. Остается одна надежда — на скорое окончание войны, но в связи с распространением большевизма и на мир скорый надеяться не приходится.

Недавно ушел в отпуск наш батя, который жил с нами. Теперь я остался в хате совсем один. Целый день хожу из угла в угол, дела, конечно, никакого; даже карты как-то не налаживаются. Сижу совсем сычом. Это, конечно, не способствует особенно хорошему настроению. К тому же я не имею вестового — мой отпущен по демобилизации, нового теперь найти ни за какую плату, да и всего-то в полку осталось не более 500 человек. Обедать я пристроился с соседними офицерами, хозяйка управляет все остальное — топку печи, самовары, вода для умывания; она же и белье стирает. В общем особенных лишений из-за отсутствия вестового терпеть не приходится.

Как Зина устроилась с вещами, бросая комнату, — с рукомойником и моими книгами? Ее писем я совсем мало получаю, Бог знает, куда они девались.

Сейчас был у меня командир полка. Положение необыкновенно неопределенное. Мы подчинились Украинской Центральной Раде, а сегодня стало известно, что она арестована. Каждый день находят новые «начальства», издаются новые приказы, одни другим противоречащие, словом, идет полная неразбериха. Несколько дней ищем дивизию, к которой мы прикомандированы, и никак не можем ее найти. С жалованьем вопрос пока по-прежнему остается неопределенным.

13-го декабря послал Вам посылку, а 28-го — 250 руб<лей>; получили ли Вы все это?

Целую Вас.

Ваш А. Мамырин

24

Действ<ующая> Арм<ия>, 24. I. 18

Дорогие Папа и Мама!

Вчера отправил Вам заказное, а сегодня есть случай, едет в отпуск мой надзиратель, он сдаст письмо из-под Москвы, пожалуй Вы скорее его получите, а то Киев ведь почти отрезан от России. Почта идет крайне неаккуратно. Получил Ваше письмо от 1 Января, это первое письмо после 12 Декабря; остальных не получил, может быть получу через месяц-два. Ведь теперь черт знает что делается повсюду, где уж тут требовать исправной почты. О своем житье-бытье писал вчера, да и писать-то нечего, одна скука заедает. Если бы Вы знали, с каким удовольствием я послушал бы наш граммофон или полежал бы перед топящейся печкой с Дружком и Тобаком. Необыкновенно надоела эта бестолковая жизнь, безделье, оторванность от всех и от всего. Только и развлечение — книги, их здесь можно много доставать; но и читать 15—17 час<ов> в сутки надоедает. Знаете, как-то даже не верится, что придет время, когда можно будет заниматься своим делом и поехать куда хочешь без риска быть раздавленным или сброшенным с площадки. Хочется поскорее собраться всем вместе по-старому, тогда уж пришлось бы выпить

на радостях. Между прочим, курьез: сейчас был у меня крестьянин, привозил больных детей и в виде «хабары» за лечение привозил бутылку самогонки. Был очень сконфужен, а еще больше удивлен, когда я отказался от такого сокровища. Все уверял меня, что у него она не купленная, своего завода. Ну не мерзавец ли?

Недавно от местного учителя, у которого я лечил ребят, получил прекрасный белый сдобный хлеб, немного похожий на наши куличи. А от батюшки местного, а вернее от матушки (там я тоже ребят лечил) получил целую корзину снеди: белый хлеб, пирожки с творогом и даже целый сверток хвороста (как Ваши розанцы). Даже совестно брать было, но посылать обратно было неловко.

Крепко Вас целую, пишите, не ленитесь.

Ваш А. Мамырин

25

Без даты <Родным>

Вы и представить себе не можете, что сейчас делается в полках: больше половины (вероятно 2/3) всего состава разъехалась в отпуски, по болезни или просто разбежалась по домам. О том, чтобы идти в таком виде на позиции, — конечно, не может быть, и речи. Будем здесь стоять, пока полк совсем не растает, а может быть нас передвинут совсем в глубоко тыл. Оставшихся солдат обуяла такая лень, что не хотят заботиться о своем продовольствии — работать на нашей же хлебопекарне, ходить за припасенным на убой скотом. Где уж с такой публикой сидеть в окопах; да и не пойдут они, хоть из пулеметов их расстреливай. Но настроение очень спокойное. Конечно, ходят по селу пьяные (во всех ротах и во всех селах прекрасно оборудованные винокурные заводы, последнее слово техники, чтобы их черт побрал), но никаких конфликтов между солдатами и офицерами нет. Мы живем, им не мешаем, угодно в отпуск — пожалуйста, эвакуироваться — скатертью дорога. Чем скорее все разъедется, тем лучше. Пожив здесь два месяца и присмотревшись к публике, к ее настроениям, пришел к твердому убеждению, что война проиграна бесповоротно, теперь уж никто и ничто ее не может спасти. Чем больше мы будем ее тянуть, тем туже затянется веревка на нашей шее. Необходимо немедленно заключать хотя бы самый самый позорный сепаратный мир, так как иначе через полгода-год придется заключить еще более позорный. Армии ведь совершенно не существует; остались полуразбойничьи полупьяные банды, которые на всех стоянках грабят помещиков, священников, да и всех крестьян; с одними добрыми пожеланиями воевать нельзя. Ну да довольно политики, будь она проклята. Мы теперь стараемся ни о чем подобном не думать — читаем книжки, поигрываем в картишки и в шахматы и терпеливо ждем конца, благо теперь жизнь покойная и сытая; поневоле превращаешься в какую-то свинью, у которой одна работуха — обед да сон.

Напрасно Вы так волнуетесь за мое «шмотье». Конечно, жаль будет, если все пропадет, но я, право, мало об этом думаю. Пожив здесь, я как-то научился ничем не дорожить — лишь бы действительно всем снова съехаться да быть здоровыми. А пропадут костюмы, шляпы — черт с ними. Теперь такое время, что никто не осудит за костюм, ходи хоть в рубище; а на какую-нибудь дрянь да на кусок хлеба авось заработаю везде и всегда. Во всяком случае, если стряется какое несчастье, прошу Вас ничего не защищать и не спасать, особенно моего, поскорее уносите ноги сами.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

БОРИС ГОЛЛЕР

«И ЕСЛИ ВРЕМЯ ПОВТОРИТСЯ...»

Темы Владимира Кавторина

«Петербургские интеллигенты». 2001 год...

Кавторин написал эту книгу в миллениум, на пороге нового века. В то время российская интеллигенция, кажется, стала понимать, что революция 1991-го не удалась — так же как революция 1905-го или 1917-го... «Девяностые» годы в оценках многих на глазах превращались в «лихие девяностые» и уж точно переставали зваться: «время надежд». И сама она — интеллигенция — вновь становилась «прослойкой» или *отслойкой* общества, отступала на край общественной жизни, возвращаясь в привычное маргинальное положение.

Как-то вышло само собой, что к тому моменту слова *демократия, свобода*, поднятые когда-то, как знамя, в конце 1980-х годов именно интеллигенцией, казалось, всем осточертели и потеряли всякий смысл для большинства — так что объяснить заново кому-то их значение стало непросто. Демократия стояла незавершенной посреди общественного поля — таким «зданием обманутых дольщиков»: без окон, без дверей и вовсе непригодным к заселению. Российский капитализм оказался на поверку столь же безрадостным и безразличным к человеку, как российский социализм, утратив ряд достоинств прошлой формации, но явственно сохранив многие ее недостатки... А те, кто потерял власть и никогда не смирился с этим, откровенно злорадствовали и обвиняли во всех грехах именно демократию и сладкогласно звали назад, славя наперебой «необходимость самовластья и прелести кнута». И, что греха таить, встречали кругом много сочувственников и сторонников.

В предисловии к книге автор цитировал весьма приметное интервью...

«Я к чему это — да к тому, что пройдет наше время и будут виноваты Ельцин, Горбачев, найдут еще кого-то, а на самом деле это же все фарисеи, интеллигенция, которая создала такую атмосферу вокруг, то, что называют общественным мнением, и которое задолбало Россию еще с XIX века, это та

Борис Александрович Голлер (род. в 1931 г.) — прозаик, эссеист, драматург. Автор пьес «Сто братьев Бестужевых» (Л., 1975), «Венок Грибоедову» (Л., 1988), романа «Возвращение в Михайловское» (СПб., 2009), эссе о Пушкине, Лермонтове, Грибоедове. Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2009) и премии Н. В. Гоголя (2010). Живет в С.-Петербурге.

интеллигенция, которая опять уйдет в тень, опять будет страдающей, когда выслали из страны, а выслали на самом деле одно г..... Павлова не выслали, Вернадского не выслали, Вавилова тоже... А выслали всех болтунов». В итоге звучало: «Интеллигенция <...> настолько безответственна, настолько <...> это слово вообще, по идее, надо ликвидировать...»

И говорил это не какой-нибудь «бывший», номенклатурщик, отлученный от кормушки спецраспределителя — но уважаемый всеми, видный кинематографист: актер, режиссер, известный своей честностью и неказенной позицией в искусстве. (И сам представитель интеллигентской профессии.) Интервью, к сожалению, было опубликовано уже посмертно.

Все повторялось. Ленин писал про «интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно». (Хоть сам был российский интеллигент.)

«Эти плаксивые интеллигентики...» — не раз и в разном контексте повторял товарищ Сталин.

Кстати, кажется, сам термин «гнилая интеллигенция» был применен впервые вовсе не большевиками — Александром III.

Но возвращаясь к приведенному интервью... «Высылали одно г.....»? «Это о Бердяеве, Франке, Сорокине»? — кавторинский список легко было продолжить вплоть до Солженицына и Бродского. Между прочим, знаменитая высылка 1922-го — «Философский пароход» и — параллельно — ссылка в отдаленные районы — касалась не только «болтунов» — гуманитарной интеллигенции. 45 врачей, 30 экономистов и агрономов, 12 инженеров, 16 юристов, и все эти люди далеко незаурядные. А из тех, кого «не выслали», судьбу Николая Вавилова также следовало бы вспомнить.

Однако Кавторин, возражая, был исключительно корректен: дважды подчеркнул, что «интервью опубликовано посмертно, сам автор его не читал, и что в нем принадлежит ему, а что журналистке, его записывавшей... — ведает один Бог». И в итоге добавлял, почти в согласии: «Если не придирается к частностям, а принять изложенное в интервью мнение как цельное настроение, присущее нашей эпохе, то придется признать, что оно имеет право на существование, и обвинения, предъявленные в нем интеллигенции, вовсе не беспочвенны...»

В сущности — поступал запрос на новые «Вехи». Время требовало новых Бердяева, Франка или С. Булгакова... И, надо сказать, эти новые «Вехи» были написаны. Хоть и не были объединены в один сборник — сборников было много, они писались разными авторами, в разных городах, в разных жанрах и под разными углами. Среди создателей этих новых «Вех» на рубеже веков и в первое десятилетие XXI — Владимир Кавторин, петербургский прозаик и публицист, занимает одно из первых мест. Ибо, в отличие от многих, он не страдал нетерпением — это слово вынес некогда Юрий Трифонов в заголовок русской трагедии. Он был замечательный аналитик российского общественного пространства, чуждый конформизма — и вместе с тем мысливший на редкость уравновешенно: широко и уверенно, но *системно*.

Более того, верно, стоит сказать — и тут ничего обидного, право, — что достаточно успешный прозаик конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, Кавторин и состоялся по-настоящему именно в конце восьмидесятых и в начале девяностых, стал знаковой фигурой нашей литературы и общественной мысли.

Книга «Петербургские интеллигенты» могла вызвать недоумение уже одним подбором персоналий (помню первое впечатление собственное). Петр Семенов-Тянь-Шанский, Иван Худяков (вот видите — и вы не знаете! — революционер из группы Ишутина), Н. М. Михайловский, народнический публи-

цист, и Дмитрий Менделеев — все они как бы случайно, а то и вовсе противоречиво монтировались друг с другом. Читатель лишь после понимал, что чисто внешне «собрание пестрых глав» на деле обозначало разные пути, по которым устремилась русская интеллигенция второй половины XIX века — собственно, когда она сформировалась как интеллигенция, и не только дворянская.

К тому ж, несмотря на присутствие среди героев книги более знаменитых личностей — таких, как Менделеев и Михайловский, они, в сущности, лишь дополняли книгу. Дорисовывали картину. Книга в основном была не про них. В центре ее стояли две противоречащие и, я бы сказал, трагически оппозиционные друг другу фигуры: Петра Семенова и Ивана Худякова, двух русских мальчиков непростой судьбы, пошедших разными путями в осуществлении своих помыслов о сущем, — и в конце концов в корне разделившихся в понимании своего долга перед Россией.

Во главу угла автор ставил вовсе не великие научные свершения своих героев: не Периодическую систему одного или географические открытия другого, не духовную борьбу третьего и революционную драму четвертого — но что-то особое... к примеру, простенькую мысль, оброненную в дневнике мальчиком Петей Семеновым, который мог еще и не стать Семеновым-Тянь-Шанским: *«Я хорошо сознавал, где я начинаюсь и где кончаюсь»*.

(«Не знаю, как вы, дорогой читатель, но я этого никогда не умел, никогда не ощущал точно, где я начинаюсь в этом мире и где кончаюсь, что могу, а что мне не по силам, и, пробуя непосильное, надрывался, впадал в отчаяние, почему, наверное, так и запала мне в душу эта молитва... Да и не много я знаю людей, которые бы это умели».)

Детство Пети Семенова было трудным. «Ему шел всего-то одиннадцатый год... он был совершенно одинок. Мать все больше погружалась в свои душевные сумерки...» Он остался фактически главой семьи при впадавшей в безумие матери. «Все дворовые исполняли беспрекословно мои распоряжения и передаваемые и умеряемые мною распоряжения матери, а сами обращались ко мне только тогда, когда нуждались в моем заступничестве, помощи или разрешении своих сомнений. Приученный матерью с самого детства к гуманному и человеколюбивому обращению с крепостными, я очень заботился о их пользах и нуждах и всегда являлся их беспристрастным и авторитетным заступником...» (Из воспоминаний Семенова). Тут и рождается то самое: *«Зато я хорошо осознавал, где я начинаюсь и где кончаюсь...»* Петр Семенов долго не имел возможности учиться, как учились его сверстники — дворянские и помещичьи дети. Поневоле пришлось после навестывать. Год за два, год за три. Школа гвардейских подпрапорщиков. Потом университет. «В нашем более богатом, аристократическом заведении мои товарищи тратили до трехсот рублей на лагерь. А были и такие, которых траты доходили до трех тысяч рублей... мне же присылали, и то неаккуратно, 10 рублей на лагерь, но я не тяготился безденежьем» — это военные лагеря в Школе подпрапорщиков. (Там, кстати, за несколько палаток от него находился воспитанник другого училища — Достоевский.) Сам выход Семенова из военной школы к науке был чем-то незаурядным в то время. А в университете... «Он ведь рассчитывал пройти четырехгодичный курс за три года и притом не собирался ограничиваться только программой своего факультета...»

Дальше — перевод Риттеровой книги в нескольких томах «Землеведение в Азии» — с дополнениями, учитывающими те открытия, которые уже были сделаны русскими учеными и путешественниками к этому времени. — Но Риттер описывал Тянь-Шань по документам и картам. Он сам никогда не видел Тянь-Шаня. Петру Семенову предстояло его увидеть и описать. А пока он вел себя как большинство интеллектуальных молодых людей его времени. К примеру, целый год посещал «пятницы» Петрашевского вместе со

своим другом Николаем Данилевским — в будущем виднейшим историком и культурологом. Но не примкнул к кружку. Остался только слушателем. Хотя и слушал с интересом. В частности, «гневные речи Достоевского о развращающем всех и вся крепостном праве». «В Петербурге около этого времени было несколько подобных домашних кружков, — пишет Кавторин. — И то, что остальные кружки как создавались, так сами собой и распались, а участники „пятниц“ Петрашевского заплатили за нескучно проведенные вечера месяцами тюрьмы и годами каторги и ссылки, это дело случая. Ловкого осведомителя Антонелли могли ведь внедрить в любую другую компанию...»

Кстати, послал Антонелли в кружок петрашевцев и всячески настаивал на разоблачении и наказании виновных — в том числе автора в будущем самой знаменитой речи о Пушкине, — не кто иной, как Иван Петрович Липранди, некогда весьма либерально настроенный офицер, друг Пушкина по его южной ссылке. История подсовывает без конца самые неожиданные сближения и параллели.

Семенов в этом деле, что называется, отделался легким испугом. Только при нем арестовали его друга Данилевского — в их совместном путешествии «в исполнение проекта об исследовании черноземного пространства России». Их остановили в Красивой Мече — в самом начале путешествия. «План их службы благу России, так замечательно начинавшийся, был перечеркнут и выброшен неведомо кем и когда». Данилевский тоже пострадал сравнительно слабо: ссылка в Вологду, но вернули его из ссылки уже при другом царе. — А государь Николай I отзывался о нем характерно: «Чем умнее и образованнее человек, тем он может быть опаснее».

Книгу Кавторина читаешь как современную захватывающую историю.

Автор приходит к очень важной мысли, сильно отличающейся от многолетней перед тем исторической жвачки по этому поводу. Он цитирует записки одного из петрашевцев, штабс-капитана Кузмина: «Первое всего необходимо решить вопрос об улучшении судопроизводства и судостройства. Потому что от неустройства этой части страдает все общество и каждый из членов его, за исключением небольшого числа привилегированных и денежных лиц, выигрывающих насчет тех, которые и заслуживают большего сочувствия <...> и как предмет этот не может быть решен иначе, — продолжал Кузмин, — как учреждением публичного и гласного судопроизводства, с необходимым разбором хода дел в газетах и журналах, то это самое, парализуя строгость цензуры, последовательно ведет к свободе книгопечатания, затем уже общество, подготовленное двумя предыдущими мерами, легко перейдет к уничтожению крепостного права».

«Легко заметить здесь, — пишет Кавторин, — все основные моменты будущих реформ Александра II, только в более мягком, менее болезненном для общества варианте...»

«Передо мной естественно возник вопрос, — в старости вспоминал Семенов, — в чем же собственно состояло преступление самых крайних из людей сороковых годов?..»

Получалось, что люди всходили на эшафот (слава богу, на сей раз казнь не состоялась), подвергались испытанию «мертвым домом» лишь за то, что сделалось реформами уже следующего царствования! Разве это ничего не говорит — и, главное, ничему не учит?.. «Выходило, что власть казнила даже не за идеи, а просто за попытку обсуждать то, что считала исключительно своим делом, и тем самым била себя будущую, завтрашнюю по рукам, <...> ибо если ум есть вещь антигосударственная, как следовало из сентенции императора о Данилевском, то что есть основа государственности?..»

Небольшое и нелирическое отступление. — «Первый развернутый крепостнический закон» относят к 1587 году. Хотя в нем еще не значится отмена Юрьева дня. Фактически на Руси «крепостное состояние» крестьянина

существовало почти три века. И почти целый век последний — четыре государя (четыре!), один за другим, жили с тем, что знали наверняка, что его следует отменить. Но помещики реагировали на это плохо. Великая Екатерина поняла все первой, но... «Искренней любви к человечеству, усердной и благой воли недостаточно для осуществления великих предположений...» Она ясно осознавала слабые стороны не только крепостного права, но и общины, в которой «сын после отца не наследник, следовательно, и собственного не имеет, называя собственным только то, что тому обществу принадлежит, но не каждой особе». Но известный писатель Сумароков отвечал своей государыне в ответ на ее беспокойство: «Потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность, или потребна клетка, и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи. Однако, одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно для крестьянина, а другое для дворянина; теперь остается решить, что потребнее ради общего блаженства; а потом ежели вольность крестьянам лучше укрепления, надобно уже решить задачу объявленную. На нее скажут общества сыны, да и рабы общества сами, что из двух зол лутчее: не имети крестьянам земли собственной, да и нельзя, ибо земли все собственные дворянские <...>. Что же дворянин будет тогда, когда мужики и земля будут не ево: а ему что останется?» (Цитирую по одной из последних статей Владимира Кавторина, написанной к 150-летию 19 февраля: «Уроки великой реформы»).

Павел I ввел трехдневную барщину — то есть не больше трех дней. «Указ выполнили лишь там, где ранее практиковалась двухдневная барщина». Это «избавило Павла от немедленного дворянского гнева. Чтобы изведать крепость гвардейского шарфа, ему пришлось насолить дворянству еще кое в чем...» (Кавторин. Там же.) Александр I носился с мыслью об освобождении крепостных рабов с самого начала своего царствования. Он был европейский государь или хотел им быть, а если проше, ему было стыдно. Но его буквально держали за руки. В частности, любимая сестра Екатерина, она свела его с Карамзиным. И великий историк подал специальную записку, где обосновал, что этого делать не надо. Доводы?.. Россия не готова еще. Само крестьянство не готово. Николай I после восстания на Сенатской знал лучше всех, что пора освобождать. Ему мятежники на эту тему на допросах столько наговорили! А он был умелым слушателем. И считал себя вроде на Руси истинным самодержавцем. Но... Его тоже держали за руки. Прослышав лишь о планах Николая — о комитете Кочубея 1826 года, брат Константин писал царю, что предпочитает умереть при старой системе отношений. Это, может, наша главная беда. У нас все предпочитают мыслить о смерти — не о жизни. Когда-нибудь, после нас!.. Тем не менее существовали и комитет Кочубея, при активном участии Сперанского, и комиссия Киселева... И самый близкий к Николаю из сановников — его личный друг с детства граф Бенкендорф — незадолго до смерти своей умолял его отменить крепостное право. Он и раньше говорил, что это — «пороховая бочка под государством». (Он не зря был когда-то также другом С. Волконского, М. Орлова.) И царь приглашал к себе помещиков обсудить вопрос... со смоленцами беседовал несколько часов, *келейно* в 1847 году... Те не захотели говорить, отнекнулись как бы — отсутствием собственных взглядов на предмет. На самом деле их взгляды были близки Сумарокову: «Что же дворянин будет тогда, когда мужики и земля будут не ево: а ему что останется?»

Почему столь сильному монарху, как Николаю I, понадобилось дожидаться крымского поражения и оставить родному сыну жизнью своей расхлебывать эту кашу?.. Но людей отправляли на каторгу лишь за зрелое обсуждение этого вопроса, который власть знала про себя и формулировала для себя вполне определенно. Попытка считать, что Россия проживет и так — без тех модер-

низаций общественной системы, какой достигли другие страны. Что русскому народу и так хорошо.

Что касается лично Петра Семенова, у него все сложилось в деловом и общественном смысле более чем удачно. Мы можем задним числом порадоваться за него. Он сделался одним из самых значительных русских путешественников. — И самых известных. Он открыл по-настоящему для науки Тянь-Шань. Произвел сравнительные замеры высот горного хребта. Он смог, кажется, подарить самому Риттеру научное описание гор Тянь-Шаня. В конце своего пути он получит приставку к фамилии — Тянь-Шанский. Это не всем путешественникам давалось. Но, главное, он совершенно неожиданно для себя, после своих открытий ушел в совсем другую область. Притом сам напросился, по собственному желанию. Он стал заведующим делами новой организации: Редакционных комиссий по подготовке проекта крестьянской реформы, где председателем, выбравшим его в свои главные помощники, был генерал Яков Иванович Ростовцев.

Судьба Ростовцева — одна из самых странных в русской истории. И вместе, может быть, одна из самых российских. Предатель декабристов — как долго считалось, друг Оболенского и участник совещаний на квартире Рылеева, он предупредил вступающего на престол царя Николая I о готовящемся заговоре, впрочем, тотчас поставив в известность об этом поступке и своих друзей-заговорщиков. После, нет сомнения, он весьма тяжело пережил участь, их постигшую. Но сам пошел в чины, стал в итоге членом Государственного совета. Кстати, он ведал комиссией, разбиравшей дело петрашевцев, и вел себя максимально порядочно для такой роли. — Это благодаря ему друг Семенова Николай Данилевский отделался только ссылкой в Вологду. А что творилось вокруг его фигуры, когда умер Николай I и была знаменитая амнистия людям декабря! И что писалось о нем в конце 1850-х тогда — в зарубежной печати Герцена! В Пажеском корпусе пажы на приеме отказались выпить его здоровье. Одному из виднейших сановников империи, личному другу нового царя и уже старому человеку пришлось отправиться куда-то в Калугу — к тоже старому, больному, недавно возвращенному изгнаннику Евгению Оболенскому, диктатору последних полугодия часов существования русской свободы на Сенатской площади — и попросить заступничества. Письменно. И Оболенский заступился. В письме, направленном в газеты, он признавал, что действия Ростовцева перед восстанием не были вызваны «неблагородными соображениями». Мы порой смеемся над своими предками. Виним в идеализме, в наивности — хуже того, в излишнем романтизме (что нынче особенно модно!). А нам впору плакать от несоответствия не только наших поступков, но и наших идеалов их нравственным нормам, их идеалам.

Крестьянская реформа готовилась крайне трудно... «В Редакционные комиссии, — пишет Кавторин, — стекались проекты губернских комитетов, причем, как правило, в двух вариантах — большинства и меньшинства. Большинство редко оказывалось либеральным». Иначе говоря, большинство было против освобождения крестьян с землей. «Тяжело было смотреть, что даже люди образованные, добрые, под влиянием крепостного права становились нередко жестокими и даже бесчеловечными, и что злоупотребления крепостным правом в той или другой форме, под влиянием ничем не сдерживаемых личных интересов или страстей приобретали самые уродливые формы» (Из воспоминаний Семенова). От такого трудно отвыкнуть. Еще трудней расставаться с собственностью. С привычкой к собственности. На это мало кто способен. Перед тем как провести крестьянскую реформу такой, какой она вылилась в итоге, Александру II пришлось почти шесть лет торговаться со своими помещиками об условиях. Ни у какого государства не могло быть

столько средств, чтоб выкупить в пользу крестьян помещичьи надель. С другой стороны, никакое государство не могло позволить стране просто разрушить целое сословие, то есть сословие дворян-помещиков — между прочим, сословие, фактически находящееся у власти, полностью ликвидировав его собственность. На это решатся только большевики после 1917 года и когда уже начнется чудовищная Гражданская война. Император Александр II, конечно же, большевиком не был. Требовались немалые уступки с обеих сторон противостояния: и помещиков и крестьян. Главное, требовалось понимание, что все зашло слишком далеко — в истории... И необходимы уступки! Поздней даже сам прогрессивный Витте скажет в мемуарах, что «при освобождении крестьян весьма бесцеремонно обошлись с принципом собственности». А что было делать?..

Ростовцев возглавил Редакционные комиссии по подготовке великой реформы и сумел даже смертью своей довести ее до конца. Потому что по смертной запиской смог убедить сомневавшегося царя: освобождение крестьян возможно только с землей! Кавторин доказывает в книге, что мутация взглядов самого Ростовцева на проблему именно в этом направлении шла под влиянием его более молодого сотрудника. «Избранная Семеновым тактика благожелательного влияния на власть в российских условиях 1857—1961 годов оказалась куда более эффективной, чем конфронтационные потуги его друзей либералов». (Правда, всякая власть не любит, чтоб на нее влияли, и демократическая в том числе!) В итоге Ростовцев доказал, что он не зря когда-то участвовал в том заговоре... был другом Оболенского, на краткий миг хотя бы, сомышленником Рылеева и Трубецкого. Можете смеяться, о, вы — прагматические люди. XXI века!

«В ночь перед объявлением манифеста несколько генерал-адъютантов даже явились в Зимний, чтобы в случае чего прикрыть Государя своими телами».

В статье «Уроки великой реформы» Кавторин приводит поразительный эпизод... «В августе 1867 г. пароход „Квакер-Сити“ стоял в ялтинском порту. Группа граждан Американских Соединенных Штатов, путешествовавшая на нем вокруг Европы, была приглашена в Ливадийский дворец, на прием к императору Александру II. Сочинить приветствие американцев поручили... Нет, еще не знаменитому писателю Марку Твену, а вчерашнему шахтеру Сэму Клеменсу, ставшему в последние годы удачливым газетчиком, корреспонденту „Альта Калифорния“ и „Нью-Йорк трибюн“. „Одна из ярчайших страниц, украсивших историю всего человечества с той поры, как люди пишут ее, — говорилось в этом приветствии, — была начертана рукою Вашего императорского величества, когда эта рука расторгла узы двадцати миллионов рабов. Американцы особо ценят возможность чествовать государя, совершившего столь великое дело. Мы воспользовались преподанным нам уроком и в настоящее время представляем нацию столь же свободную в действительности, какую она прежде была только по имени. Америка многим обязана России». Либеральный публицист 2010 года прибавлял с гордостью: «Это не было дипломатической вежливостью. В освобождении рабов Россия действительно шла тогда впереди и давала уроки Америке, которой лишь в 1865 г., и лишь после кровавой гражданской войны, удалось принять 13-ю поправку к Конституции, запрещающую рабство. Приятно, черт возьми, осознавать, что по пути свободы и мы шли когда-то впереди Америки! Да и не так давно — всего-то полтора столетия назад! Обеим странам отмена рабства послужила мощным толчком к дальнейшему развитию, ну а то, что одна страна использовала этот толчок лучше, чем другая, — это уже дела эпох иных». Однако... Все реформы, как правило, имеют несколько свойств. Во-первых...

«Авторами реформ редко когда бывают довольны. Чаще они возбуждают общую неприязнь, тем более в России. Вскоре после 19 февраля в отставку были отправлены многие из активных деятелей по „крестьянскому вопросу“ — Н. А. Милютин, князь Черкасский, Ю. Ф. Самарин» (Кавторин). Выходить из-под крепостнического рабства было ничуть не легче, чем из-под крепостничества коммунистического.

Во-вторых, все реформы на свете останавливаются на полпути. В этом их особенность. Они не бывают завершены, «как Бог Шеллинга, как немецкая конституция», говорил Гейне. Плохи или хороши были реформы Гайдара, если быть объективными, нельзя точно сказать: Гайдар руководил правительством реформ, и то в половинчатом ранге «и. о. премьера», всего-ничего — что-то около года. Как действовал бы сам Гайдар дальше в тех или иных обстоятельствах — мы не знаем. Он успел дать толчок — только и всего.

В-третьих... Почти все реформы, проводимые сверху государственными деятелями прежнего воспитания и прежней формации, отличаются тем, что реформаторы сами боятся своих собственными построений — едва ли не больше, чем те, кого эти реформы должны коснуться не самым благоприятным образом. И чаще всего в процессе проведения реформ хотят и стремятся сохранить больше, нежели в этом случае вообще сохранить возможно. Царь Александр боялся своих реформ. Михаил Горабачев их тоже боялся. Что бы он нынче ни говорил.

Наконец... Проклятие всех реформ, что они не могут обойтись без отступлений и отступлений — это мы могли наблюдать в конце 1980-х уже века XX. Но уступки реформаторов воспринимаются всегда катастрофически. Возникает панический страх возвращения назад. Какие-то вынужденные реверансы реформаторов воспринимаются как трагедия в большей степени, нежели отсутствие реформ вообще.

«То, в чем состоял интерес власти, было сформулировано генералом Ростовцевым на одном из первых заседаний Редакционных комиссий: „а) чтобы крестьянин немедленно почувствовал, что быт его улучшен; б) чтобы помещик немедленно успокоился, что интересы его ограждены; в) чтобы власть ни на минуту на месте не колебалась, отчего ни на минуту же не нарушался бы общественный порядок“».

Как это все соединить вместе — не знаете?..

Властителям прощают проигрыши, колебания, даже ошибки. Даже преступления. Им не прощают обманутых надежд. Александра I любили. Просто обожали. До времени. «Дней Александровых прекрасное начало...» Потом в годы войны 1812 года любили особенно. Потом за взятие Парижа... Когда он помедлил с решениями, а после фактически отказался от них — стали составлять заговоры против него. «Цареубийство в масках на царско-сельской дороге...» И кто вызывался? Лунин. Одна из самых светлых фигур декабря. «Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить, к укоренению же оно способствовал естественный рассудок...» Каракозов, человек куда более ограниченный, — тупо стрелял в обманутые надежды. Недаром на следствии он так и не смог ничего объяснить. И «Ишутинский кружок», и народничество в целом, и все дальнейшее пошли от того. Все это были обманутые надежды. Герцен писал царю после Манифеста 19 февраля: «Ты победил, Галилеянин!» — словами Юлиана Отступника. А потом оказалось, что не победил. Не победил!

«— Какие новости в литературе, Толстой? — спросил царь на охоте графа Алексея Константиновича Толстого, замечательного поэта и, конечно, монархиста.

— Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского!

— Не говори мне о Чернышевском, Толстой!»

Граф Толстой был монархист. Но и он не сочувствовал отступлению великого монарха. «Не говори мне о Чернышевском...» — и царь не стал объяснять: прекрасно знал про себя, что отступил. Возможно, корил себя или был недоволен собой. Была ли вина Чернышевского в составлении той злополучной прокламации, не была — эта вина не была доказана. А значит — царь просто уступил Чернышевского тем, кто кроме демократического публициста, более всего ненавидел его: собственные, царя, реформы. А может, ненавидел еще больше его самого. Потом... «преступнейшие и подлейшие покушения на царя-освободителя дали силу лицам, не сочувствовавшим его преобразованиям, партии дворцовой, дворянской камарилье», скажет тот же Витте. Сперва вокруг царя было много умных, образованных, самостоятельных, мысливших близко к нему людей. И вдруг он остался почти один. Величайший реформатор в истории русского самодержавия оказался в окружении противников собственных реформ. И стал светить отраженным от них светом.

Тогда в него стали стрелять. Еще недавно на воротах Летнего сада со стороны Невы висела памятная доска: «На этом месте 4 апреля 1866 года революционер Каракозов стрелял в Александра II». Зря не висит сейчас — напоминанием о нашей трагедии. «Все революции происходят только тогда, когда кто-то обольстит народную совесть, обманет призраком сказочного светлого будущего. Не зря самый великий наш художник считал, что народ всегда „оставит хлебы и пойдет за тем, кто обольстит его совесть“. Но трагедии большинства революционеров в том, что, никого еще не обольстив выдуманым ими призраком, еще только мечтая об этом, они сами уже бываю обольщены и одурманены тем призраком, которым собираются обольстить народную совесть» (Кавторин).

Но вернемся к теме интеллигенции, чему посвящена книга.

(«Кстати, слово „интеллигенция“ придумал Боборыкин, писатель — ты знаешь такого? Вот и я не знаю», — было сказано в том же интервью. А зря. Можно бы и знать, между прочим — хоть бы по имени! Можно бы и знать. Был такой известный писатель 70—80-х годов того же XIX века... Печатался в журнале «Отечественные записки» у Салтыкова-Щедрина. И то был великий журнал. А Щедрин был просто гениальный писатель и великий редактор. И, между прочим, Боборыкина ценил... «Ну, покажите, что вы там еще такого набоборыкали!» Интересовался. — Кавторин возражает в предисловии, что и происхождение слова тоже «не более, чем легенда. Существует целый ряд текстов, в которых это слово присутствовало уже тогда, когда Боборыкин не опубликовал ни строки».)

В очерке о Петре Семенове Кавторин говорит о кружке Петрашевского: «Происходило в этих кружках нечто важное для судеб страны, хотя и не совсем то, что всячески выпячивали советские историки, — не подготовка революции, но рождение российской интеллигенции». Книга, в сущности, содержала уникальную попытку анализа явления, которое принято до сих пор или восхвалять, или ругать, но никак не принято анализировать. Анализ — всегда попытка рассмотреть явление с разных сторон. Pro et contra. И никак иначе. Автор писал: «Российскую интеллигенцию изначально формировала ситуация невозможности реализации». Дальше шло определение, которое и вовсе ново, на мой взгляд: «Сообщество умных и образованных людей, лишённое возможностей творческой реализации, создает российских интеллигентов».

Автор приводит один документ, который следовало бы приводить во всех наших учебниках истории или выносить в эпиграф, допустим, передач г-на Феликса Разумовского из цикла «Кто мы»...

«Повышая в 1848 году плату за обучение в университетах, правительство (Николая I. — Б. Г.) мотивировало это тем, что в университетах „через меру умножился прилив молодых людей, рожденных в низших слоях общества, для которых высшее образование бесполезно, составляя излишнюю роскошь и выводя их из круга первобытного состояния без выгоды для них самих и государства“».

Особенно занимательна эта «излишняя роскошь», а также «выводя из круга первобытного состояния...» Нравится вам про «первобытное состояние»? Не забудьте, на дворе 1848 год! Революции полыхают по всей Европе — а тут у огромного слоя российских людей отымают то, что принадлежит человеку по праву, выражают желание оставить его в «первобытном состоянии».

Между прочим, Петр Великий в свое время, пусть в ограниченных масштабах, но создал «социальный лифт» для людей так называемого «низшего» слоя» общества. И очень многие из тех, что во времена Николая оказались в «высшем слое», попали в него именно благодаря реформам Петра. Кстати, некий Разумовский попал. После — граф Разумовский. «Пел на клиросе с дьячками» — и попал! («У нас нова рожденьем знатнонь — / И чем новее, тем знатней», — констатировал шестисотлетний дворянин Пушкин.)

Приведенный документ — редко цитируемый, почти забытый, как и чаще упоминаемый, но тоже не слишком часто, более поздний циркуляр «о кухаркиных детях», — и содержащееся в них сознательное и тупое ограничение возможностей образования для тех или иных слоев общества — вели напрямую к русской революции. Были одной из главных ее причин. Хотя... это у застоя причин немного. А у революций их всегда множество, и они разные.

Второй очерк в книге Кавторина как бы полярен первому.

«Российский интеллигент <...> играет в своем обществе роль бродильного элемента. Но со своей мечтательностью и врожденным недоверием к государству он способен обеспечить только рваный, болезненный ритм развития — с немислимыми порывами к неслыханным идеалам, с ломкой обыденности через колено и соответственно — с быстрой усталостью от этой ломки, быстрым разочарованием, рождающим новое погружение в застой, новую духоту. Ощущение безвыходности <...>, приводящие к тому, что энергии вновь не дается выхода, она накапливается под спудом, обеспечивая новый стремительный прорыв, новую ломку и... Все по кругу».

Кавторин в книге очень точно проанализировал эти проблемы. То есть поставил и проанализировал. Со всей открытостью и беспощадностью — в том числе к нам самим, интеллигентам российским, вечно мечущимся в поисках самих себя и полагающим, что это и есть — поиск духовной России. «Наиболее общий закон существования всего живого — экспансия. Слегка развязанные языки всегда пытаются развязаться еще больше. Полученный кусочек свободы всегда пытаются превратить в кусище, иногда в такой, что не прожевать...» Мы с вами это наблюдали не раз. Что греха таить — наблюдаем по сей день. И еще одно важное замечание: «Вообще непонимание каждой общественной группой других общественных групп и недобрые подозрения относительно их мотивов есть, к сожалению, самая характерная черта любой переходной эпохи». Это уж точно!

Но «порыв к неслыханным идеалам» тоже не сбросишь со счетов! И как жить — без порыва к идеалам? Хотя... он слишком часто бывает явлением больше литературным, нежели связанным с живой жизнью.

На первых народников, ходоков в народ с их лекциями, ликбезом, смотрели как на юродивых. Притом смотрели дружно — как крестьяне, так и помещики. Потому что, много лет существуя бок о бок со своими крестьянами в условиях крепостного права, помещики худо-бедно представляли себе свой

народ. А некоторые и хорошо знали. Но городские интеллигенты, взявшиеся его просвещать и освобождать от помещика, представляли его себе крайне плохо. Даже если сами вышли из него. Как только они становились образованными — они отставали от него. Они его выдумывали. Весь русский нигилизм 60—70-х годов XIX века, как все походы в народ, народничество и терроризм народовольцев были *литературой* от начала до конца — в том смысле, в каком назвал Верлен: «Все прочее — литература!» А литература тем больше является собой, чем больше она деформирует живую жизнь, зиждется скорей на представлениях о ней — создавая как бы иную, параллельную действительность. Так и все народничество построено было на абсолютно литературном представлении о собственном народе и его нуждах и чаяниях. На иллюзии существования какого-то идеального народа.

Но иллюзии народников лишь часть правды. Другая часть состоит в том, что почти четыре века крепостного права (с первого указа о Юрьевом дне — еще Ивана III) породили в крестьянстве такую жажду самостоятельности, такую смертную тоску по своей земле — *землице* родной, — что эта тоска вызрела со временем в жажду мести. И этой тоски никакой реформе было не одолеть — тем более такой ограниченной вынужденно, какой была реформа Александра II. Эта реформа могла только пробудить невольное предьявление от народа «пугачевского счета». Меж тем за спиной у всех — и не только у царей, но и у помещиков — был тяжелый урок крестьянской войны Пугачева. И была одна деталь, которую следовало помнить: пугачевцы не так стремились завладеть имуществом дворян — им было это не надо. Они их убивали, а имения сжигали. Они истребляли саму *культуру дворянства*. Подобный счет был предьявлен и в 1917 году. А чудовищные лозунги большевиков вроде «Грабь награбленное!» были только выражением этого счета. Слоганом, созревавшим столетиями. Надо сказать, Пугачевский бунт мало осмыслен нами как зерно будущей Гражданской войны в России века XX. Хотя бы по составу участников. Крестьяне, яицкие казаки, рабочие уральских заводов... Это все были прапрадеды сподвижников Белобородова и алапаевцев Ганьки Мясникова. Следует отметить и массовое участие инородцев — приуральских и приволжских мусульманских народов. (Пушкин в путешествии по следам Пугачевского бунта встречал еще башкир с вырванными ноздрями.) Нужно выделить особо стихийный интернационализм, сплотивший в пугачевщину самые разные народы.

Невольно вспоминаются предостережения Карамзина, данные им Александру I: крестьянство не готово. Для того чтобы провести реформу на должном уровне, нужно было идти к ней несколько десятилетий — просвещением народа. Именно то, что не было сделано. То, что утверждал петрашевец штабс-капитан Кузьмин и что отрицали некоторые наши «почвенники» в лице Николая Васильевича Гоголя, которого берет под защиту г-н Разумовский от «беспочвенного» Белинского.

«Известно, что питерские интеллигенты рождаются далеко от невских берегов. И Ванечка Худяков „с криком отчаяния явился на белый свет“ 1 января 1842 года в очень далеком от столицы сибирском городе Кургане... Род Худяковых восходил к каким-то великоустюжским купцам, перебравшимся в Сибирь давно, чуть ли не по следам Ермака...»

От тех корней пошел интеллигент,
Его мы помним слабым и гонимым...<...>
Оттиснутым, как точный негатив
По профилю самодержавной власти...
На месте утвержденья — отрицанье,
Идеи, чувства — все наоборот...

Кавторин поставил эти строки эпиграфом к очерку о Худякове. К ним мы вернемся еще.

Первая глава очерка называется «Тихий мальчик». К ней также дан эпиграф — уже из самого Худякова, из его «Опыта автобиографии»: «Ничтожная доля добра, находящегося в нас, с большими трудами и пожертвованиями приобретенная нами самими, помимо или наперекор правительственной системе воспитания...» Следует подчеркнуть, что Худяков с раннего детства был человек глубоко религиозный.

И первый вопрос или первое сомнение, какое выдвигает автор по отношению к этой другой, сравнительно с Петром Семеновым, ипостаси российской интеллигенции, — проблема избирательности памяти или избирательности вообще в ощущении мира. О матери Худякова: «Понятно, сколь безмерно любила она свое единственное дитя. Даже не любила — обожала. И даже не обожала — а обожествляла, не шутя рассказывая знакомым, что видит над Ванечкиной головкою сияние... Поэтому ни в коем случае нельзя предполагать, что он хоть чем-то был обделен в раннем детстве. Тем удивительней, что в своих записках он почти не вспоминает о матери, о заботах ее, о ласке, а детство свое рисует, как непрерывную цепь трудов и страданий...»

Вспомним Петра Семенова с его несчастной больной матерью (отца рано не стало) и его «мне же присылали, и то неаккуратно, 10 рублей на лагерь, но я не тяготился безденежьем». Но если иметь какое-то особое восприятие — некое подозрение к действительности... Заведомый настрой на борьбу с чем-то, чего, может, нет на свете <...> «Сияние над головой...» В «Преступлении и наказании» у Достоевского есть одна деталь, которую следует выделить особо. Родион Раскольников — студент, так? И он очень переживает, что семья — мать, сестра — материально отягощены в старании дать ему образование. Но он вовсе не занят тем, чтоб скорей завершить его. Он не учится. Более того, об учебе он не думает. Он сперва весь в страдании, что Дуня-сестра из-за него должна выходить замуж за нелюбимого, потом им овладевает его «идея» — «Тварь я дрожащая или право имею?» Простая мысль, что надо лучше учиться и побыстрее стать на ноги, не приходит ему в голову.

«Очень некрасивый, прыщавый, с редкой растительностью на лице, он и сам сознавал всю непривлекательность своей внешности и, не обладая иными достоинствами, надеялся обратить на себя внимание оригинальностью. Будучи очень беден, работал в одной из переплетных коммун, с большим трудом вырабатывал то, что было необходимо, для того, чтобы не умереть с голоду. Таким образом, тратить что-либо на платье он не имел возможности. Весь его гардероб состоял из болотных сапог, заношенных триковых брюк, двух смен рубаш и нагольного тулупа. Это было все, чем снабдила его захудалая семья, отправляя его в Москву учиться в университет. <...> Для того, чтоб кто-нибудь сообразил, что это студент, не желающий, по принципу, отличаться от мужика <...>, приходилось останавливаться на улице с кем-нибудь из знакомых и шумно беседовать о вопросах высшего порядка...»

Когда я вижу этот словесный портрет, мне кажется, что предо мной Родион Раскольников. Но... «это об Ишутине. Он, возможно, еще не знаком Ивану Александровичу, но именно он станет главой того дела, в которое Иван Александрович вложит всю свою душу и которое его погубит».

Ишутин и Ишутинский кружок станут первоначалом революционного террора в России, вызовут антитеррор властей. Но вопросов останется много — по сей день одни вопросы, и если Кавторин в своей книге больше ставит их, нежели разрешает — то скорее потому, что в самом деле нет ответа. Не существует. Что-то здесь от истории, какой она сложилась, — а что-то от болезни самого человеческого белка. От общего портрета всего человеческого рода.

«Удивительно, но логика возникновения революционных движений у нас вообще никак не описана. Понятно, что революционеры считали их возникновение чем-то само собой разумеющимся. Реакционеры же все нехорошее на Руси во все времена объясняли тлетворным влиянием Запада. (Кстати, и следственная комиссия по делу ишутинцев усиленно искала в нем западный след.)»

Иван Худяков подавал большие надежды. Он блестяще учился. Правда, дважды был вышиблен из двух университетов за участие в студенческих беспорядках. Но было время такое — беспорядков: студенчество гудело, пытаюсь в общий хор перемен вставить свой, срывающийся еще — но современный и молодой голос. И все это было поправимо. Он учился у знаменитого филолога-фольклориста Буслаева и сам стал известным фольклористом. Выпустил несколько книжек народных сказок и пословиц, собранных им. И «Самоучитель» для образования народа. И популярные очерки для народа по истории «Древняя Русь». Он начал становиться известным литератором. С ним считались. Ему оставалось только (он уже восстановился в университете) сдать всего один экзамен: по греческому. Профессор Срезневский убеждал его: «Вы еще молоды <....>, в 21 год вы будете кандидатом, в 22 магистром, в 23 можете быть доктором, а в 24 академиком». Заманчиво! Правда, «отвращал явно наметившийся в академической среде поворот к консерватизму». Правда, и проект журнала по народной поэзии получил решительный отказ. «Министр внутренних дел снесся с III отделением». Но и в пустяшной вакансии вольнонаемного дежурного в Публичной библиотеке ему тоже было отказано. «Я отправился к попечителю петербургского учебного округа г. Делянову, — писал Худяков в своих записках. (Кстати, это — будущий министр просвещения и один из самых мракобесных. — *Б. Г.*) — Когда я представился ему с просьбой, он сказал, что знает меня по литературной деятельности, взял меня под руку и спросил вкрадчивым голосом: „А скажите пожалуйста, не занимаетесь ли вы политическими мечтаниями?“ — „Я очень желал бы получить это место“, — повторил я. „Однако вы уклонились от моего вопроса.“ — „Да вопрос-то странный!..“ — „Нет-нет, эти политические мечтатели все волнуются, знаете ли; оттого у них цвет лица всегда бледный! Вы также очень бледны!“ Если бы Делянов знал, что я не ел уже несколько дней и что я за пять верст пришел к нему пешком, то он, конечно, не сделал бы такого вопроса... „Ну, хорошо, позвольте ваш адрес, я извещу вас по городской почте...“ Желая отделаться от кого-то, Делянов всегда записывал адрес, обещал на днях известить по городской почте и не извещал» (Худяков. Из автобиографии). Вот! А получи он это место и какие-то возможности самореализации, писал бы свои книжки, собирал бы сказки и не было б, возможно, в его жизни кружка Ишутина и совместной мысли с Каракозовым! Возможно, не было б и покушения Каракозова, кто знает?.. — На первый взгляд странно! «Любой из планов правительства Александра II требовал для своего осуществления нарастания этой новой общественной силы — интеллигенции. Не зря же все участники „пятниц“ Петрашевского, если не были только окончательно сломлены пережитым, стали активными деятелями его реформ. И правительство прекрасно понимало, что старыми силами ему не обойтись, его расходы на университеты и общее образование удваивались чуть не каждое десятилетие. Но ничего не шадя для наращивания количества образованных людей, оно совершенно не понимало, как сделать из них союзников». Просто чиновники, те, что пониже, — умели оттачивать самых нужных для реформ людей. И всех непонятных им. Они еще жили в прошедшем времени — Николая I.

Реформа крестьянская в самом деле шла со скрипом. Мужик ведь не знал, сколько сил потратил царь земли русской, чтоб подарить своим крестья-

янам даже такую обуженную реформу? И что генерал-адъютанты приходили его охранять. Полагаю, и будущие революционеры об этом тоже не знали. Народ, в части своей, как было неоднократно в русской истории, должно быть, в самом деле верил, что баре *спрятали* подлинный манифест государя. Как верил в это грамотей-раскольник Антон Петров из деревни Бездна, который вычитал в манифесте что-то иное, более благоприятное для мужика, верно, скрытое чиновниками... и под флагом этой веры поднял крестьян. Хотя даже казанский военный губернатор Козлянинов признавал в докладе, что «кроме упорства в ложном толковании и невыдачи Петрова, крестьяне не буйствовали, ни вреда сделать никому не успели и были совершенно безоружны», — командой генерал-майора Апраксина они были расстреляны шестью залпами: убитых — 51 и 77 раненых. Петров был расстрелян по приговору военного суда, а крестьян посекали и заслали в каторгу. Притом действия Апраксина одобрил сам великий реформатор. — Хотя крестьяне перед тем, как стали в них стрелять, кричали генералу: «Вы будете стрелять не в нас, а в Александра Николаевича!»

Не забудем, что серьезное улучшение земельных прав русского крестьянства не повлекло за собой его нравственного и человеческого освобождения. Отмена телесных наказаний для всех сословий прочих не касалась крестьян. Они, как прежде, были подчинены не судам, а земским начальникам, которые решали без суда — пороть или не пороть. Уже в XX веке, когда «крестьяне в различных местностях бунтовали и требовали земли», «бывший в то время в Харькове губернатор князь Оболенский вследствие крестьянских беспорядков произвел всем крестьянам усиленную порку, причем лично ездил по деревням и в своем присутствии драл крестьян. Плеве, сделавшись министром внутренних дел, сейчас же отправился в Харьков и весьма поощрил действия князя Оболенского, который за такую свою храбрость был назначен генерал-губернатором Финляндии...» (Витте. Воспоминания).

Напомним еще раз — это через сорок лет, в 1902 году! А Худяков писал в своих записках о 60-х предыдущего века: «В Симбирской губернии один помещик при объявлении манифеста об освобождении крестьян продал крестьянам часть своего леса и земли; у разоренных крестьян, разумеется, не было денег. „Неужто нас великий государь оставит без леса и без воды?“ — толковали крестьяне. Платы за надел, штрафы за скотину, преступившую барскую межу, совершенно разоряли целые деревни. Некоторые селения были переписаны из крестьян в дворовые. Накануне манифеста поэтому совершенно не получили надела. Нечего и говорить, что при таких обстоятельствах люди делают враждебны правительству и охотно слушают всяческие политические рассказы...»

Только Кавторин точно ставит вопрос: почему это желание «слушать рассказы» — «человек, безусловно умный и наблюдательный (Худяков. — Б. Г.) принимал за нарастающую готовность народа к революции»?..

Но что это положение народа не могло не задевать чувствительные струны интеллигентских душ — это несомненно.

«Все великие реформы Александра II были сделаны кучкой дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени; так и в настоящее время имеется большое количество дворян, которые своими действиями изыскивают средства для достижения общенародного блага вопреки своим интересам, а иногда с опасностью не только для своих интересов, но и для своей жизни. К сожалению, такие дворяне составляют меньшинство, большинство же дворян в смысле государственном представляют кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей, ничего не признают» (С. Ю. Витте).

(Эти горькие определения крупнейшего политика самодержавной России и твердого государственника, верно, следует помнить сегодняшним «неодворянам» и тем, кто бросается переписывать историю в угоду вчерашнему дню!)

У интеллигенции оказалось два пути. Вместе с властью — за продолжение и углубление реформ, или против власти — за какую-то полную, немедленную, ирреальную справедливость. Первый путь — Петра Семенова — Кавторин назовет «Срединным». Другим будет путь Ивана Худякова. И это тоже — проблема, а не заведомое обвинение.

«Всякий духовный опыт подлинно творческой личности, видящей предмет творчества в собственном существовании, являет собой вечную ценность. <...> Мне вообще кажется, что смотреть на революционеров как на убийц и негодяев (очень распространенный нынче взгляд!) так же глупо, как и видеть в них „нравственно чистых“ и возвышенных героев. Они — носители определенного духовного опыта, подчас трагического» (Кавторин).

Оба пути не будут безусловно правильны. Оба не будут до конца чисты. Оба пути интеллигенция выстрадает. На обоих путях она потерпит или страшное разочарование, или сокрушительное поражение.

За непонимание того, что чем-то надо поступиться срочно, чем-то пожертвовать, чтоб сохранить социальный мир в стране, — за эту жадность и недальновидность многих представителей верхних слоев тогдашней России — потом придется платить. Всем. Сильным и слабым, правым и виноватым.

В итоге... «Пугачевский счет» будет предъявлен в 1904—1906 годах массовыми поджогами дворянских усадеб, и после 1917-го — тотальным уничтожением дворянских гнезд и фактическим уничтожением целого класса и всей дворянской культуры. Горький с отвращением и болью говорил о том, что сделали с «ценнейшими севрскими, саксонскими и восточными вазами» Зимнего дворца участники «съезда деревенской бедноты» в 1919 году. «Это было сделано не по силе нужды <...> это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи». Кстати, рассказывает он об этом в очерке о Ленине. «— Ну а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет?.. — спрашивал Ленин Горького. — Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом?..» Между прочим, зрелая мысль.

«И тогда я потоптал барина мого Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь узнал сполна. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно. <...> Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу. Мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...» (И. Бабель. «Конармия»).

В разжигании этого пожара части интеллигенции будет суждено сыграть едва ли не роковую роль. Что окончится ее собственным уничтожением. Или самоуничтожением.

«Либеральные мечтания о конституции и слухи о некоей конституционной партии в рядах власти не вызывали у них никакого сочувствия. Ишутин был убежден, что в случае победы этой партии „народу будет во сто раз хуже, чем теперь, ибо выдумают какую-то конституцию на первый раз и вставят жизнь русскую в рамку западной жизни, это, кажется, найдет сочувствие как в среднем, так и в высшем сословии, ибо она гарантирует личную свободу, даст дух и жизнь промышленности и коммерции, но не гарантирует от развития пауперизма и пролетариата, а скорей способствует... Я боялся, что легко достижимая свобода отвлечет молодежь от той партии (то есть от той партии, которую он считает подлинно народной — его партии, — комментирует Кавторин). Сам же я с тех пор усиленно стал заниматься организацией общества тайного в интересах народа... Я полагал <...> сильно откло-

нить молодежь от той партии и составить оппозицию ей“» (Из показаний Ишутина на следствии).

Кавторин в своем исследовании — а его очерки по типу именно исследование, попытка постичь историческую психологию времени — ставит вопросы, которые наша прежняя «р-революционная» историография просто не могла ставить, а наша нынешняя, «контр-р-революционная» и вовсе не хочет держать в поле зрения.

«Вы вряд ли найдете какое-то рациональное объяснение, почему они считали свою эпоху кануном какой-то неслыханной свободы и социализма, почему считали, что русский мужик всегда готов к бунту. Стоит только сказать ему некую правду...»

«Эти люди большей частью отказались от всех радостей жизни и посвятили себя делу народного освобождения», — писал Худяков. Но Кавторин спрашивает: «Как понять ту же Леночку Козлинину, красивую, живую, кокетливую, которую приглашали на сцену, прочили успех и которая предпочла всему этому коммуны наборщиц, где за 15 руб. в месяц по 10 часов в сутки стояла у кассы со свинцовыми литерами?.. Не было такой необходимости — было только смутное представление о какой-то новой жизни, которая могла оказаться лучше той, которая ее окружала. Этот „зов новизны“ и определил их выбор, а отчасти... заменял им религию...»

— Когда Чернышевского увозили с Мытнинской площади в Петербурге после свершения обряда гражданской казни — какая-то девушка бросила вслед цветы. Это была Сашенька Лебедева — в дальнейшем ненадолго и не слишком счастливая жена Ивана Александровича Худякова. Она «не была революционеркой... Она была обыкновенной женщиной — влюбчивой, страстной, в меру капризной, в меру вздорной, способной к бурным ссорам и искреннему раскаянию... Она хотела семьи, хотела любить и быть любимой...»

Худяков в записках среди прочего жалуется на жену: «Привыкшая к нежному воспитанию, она не могла переносить тех лишений, которые для меня были ничем».

Эту жалобу еще как-то можно понять. Но как понять другую?..

«...Зато все силы ее сосредотачивались на самой страстной физической любви... Прощай мое воздержанье. Прощай здоровье!»

Здесь прямое нарушение каких-то естественных законов бытия. Ведь совсем молодой человек! «Эта убежденность не могла бы существовать без другой убежденности, что жизнь его, а следовательно, и здоровье имеют иное, гораздо более высокое предназначение».

(Впрочем... Здоровье и вправду было не ахти. Портрета Худякова не сохранилось — но мемуаристы набросали портрет, может, не менее четкий, чем фотографический: «...худощавый, болезненный, крайне нервный. <...> Его съезженная фигурка постоянно что-то высматривала, к чему-то прислушивалась, за чем-то озиралась по сторонам. <...> Это был фанатик юркий, хихикающий, разговорчивый и „покладистый“. Однако под этой кажущейся „покладистостью“ опытный наблюдатель усматривал настоящего аскета и фанатика, упрямо преследующего одну завладевшую им задачу».)

Я привожу много цитат. Меня волнует анализ, проведенный Кавториным.

«Задача политического деятеля, — писал Худяков, — несравненно труднее задачи любого ученого гения: он должен иметь дело с самыми разнородными представителями общества <...>; из обыкновенного человека он должен образовать политического деятеля; он должен иметь в виду бесчисленные комбинации, которые могут произойти от его действий, от действий его друзей, <...> он должен дать им часть своего гения, а это вещь не всегда возможная».

Кавторин показывает очень точно, «что он (Худяков. — *Б. Г.*) имел в виду, выводя на бумаге такие возвышенные слова, как „передать им часть своего гения“, „иметь в виду бесчисленные комбинации“ и т. п. — всего-то, оказывается, „использование людей“, разыгрывание их руками и зачастую даже „втемную“ для них желательных политических действий», когда уже произойдет покушение Каракозова на царя и пойдут аресты — в том числе и тех, кто не связан был политически с Ишутиным и его кружком, — «справедливо возмущаясь жестокостью полиции в отношении этих людей, Худяков за собой никакой вины в их поломанных судьбах не чувствует. И это тоже, между прочим, станет характерной чертой всей революционной этики».

Покушение Каракозова 4 апреля 1866 года поставит перед Россией кровавый вопрос. На который почти век будут идти с той и с другой стороны одни кровавые ответы.

Автор очерка о Худякове напомним нам — или откроет для многих существование, в частности, организации «Ад» внутри Ишутинского кружка, созданной самим Ишутиным. «Для счастливого социалистического будущего планировалась всесильная тайная полиция. Но и в настоящем „Ад“ не должен был остаться без работы. Во-первых, шпионаж и шантаж подозреваемых в измене; во-вторых, приобретение любыми путями денежных средств для нужд „Организации“. В этом направлении успели продвинуться дальше всего. П. Николаев сумел приобрести столь мощное влияние на несовершеннолетнего (заметьте особо. — *Б. Г.*) члена „Общества взаимопомощи“ Виктора Федосеева, что тот согласился отравить отца (!), а наследство передать „Организации“...» Не слабо?.. «Как видим, эсеровские и большевистские экспроприации были задуманы задолго до появления большевиков и эсеров, ибо если мир есть воплощение зла, то зачем ему деньги?.. Они нужны на дела добрые...»

Маколей писал об истоках французской революции: «Партия, преступившая по каким-то бы ни было мотивам великие законы нравственности, неизбежно впитает в себя все подонки общества. Это многократно засвидетельствовано религиозными войнами. <...> Едва становилось известно о безграничной вседозволенности, как под знамя веры стекались тысячи негодяев, которым безразлично было праведное дело».

Худяков, судя по всему, к этому «Аду» не принадлежал и узнал о нем хоть что-то только в самом конце, по приезде в Москву, перед 4 апреля. Но покушение Каракозова осуществилось как будто при его участии. Хотя это и не было доказано судом. И в чем был смысл покушения, до сих пор остается неясным. Чего ждали от этого акта?.. Напугать общество?.. Но... «Вспомните подпольных героев Достоевского, вспомните до каких гигантских размеров разрасталось в их душах значение задуманной „пробы“. Кириллов в „Бесах“ — тот был даже уверен, что исполнение задуманного „своеволия“, то есть самоубийства, тут же освободит все человечество от страха смерти!.. Да интеллектуальные отношения гордого и таинственного мудреца Ивана и убогого Смердякова представляются мне чуть не списанными с пары Худяков — Каракозов, а вся будущая нечаевщина — отнюдь не случайным наростом на революционном движении, а неизбежным последствием его „родовой травмы“, присущей ему крайней конфронтации и презрения к внешнему миру „во зле лежащему“».

Что делать! Надо признать, не интеллигенция как таковая, а революционеры в большинстве были, как всякая оппозиция, «оттиснуты, как точный негатив / По профилю самодержавной власти». Это родовая черта всех революций — их «родовая травма» (по Кавторину) — неумолимое сходство в методах действия с той властью, какую они пытаются свергнуть. Но это уже, что называется, — не свойство самих революций, а свойство «белка».

Иван Худяков будет умирать в Верхоянске, в ссылке, в сумасшедшем доме. И почти не узнает родную мать, наконец-то добравшуюся к своему Ванечке.

Последней работой его, право, недюжинного ума будет перевод Библии на якутский язык. Эту Библию жандармы при очередном обыске у него отберут. Не имея возможности занять чем-то свою голову, он сойдет у с ума...

Книгу Кавторина пронизывает внутренний спор между подлинной интеллигентностью — как воспитанием интеллигента в себе (по большей части самовоспитанием) и мессианством и связанной с ним самоуверенностью — тоже интеллигентским свойством, но сугубо неинтеллигентным стремлением — навязать свою волю другим, продиктовать другим, пусть и выстрадавшие тобой, но только твои собственные правила игры. Что в революционной истории России очень часто превращалось в попытку продиктовать народу свои личные представления о его, народа, счастье. И в итоге оборачивалось уголовщиной.

Но в письме царю Александру III по поводу возможного приговора первомартовцам — Желябову, Перовской и их товарищам — Лев Толстой писал: «Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них такой идеал, который был бы выше их идеала, включал бы в себя их идеал...»

Примерно в те же дни Толстой писал Страхову: «...надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его (человека. — Б. Г.) во зло, а не в дурных свойствах гордости, невежества. И для того, чтобы указать соблазны, вовлекшие революционеров в убийства, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей — не отговорки, а настоящий источник соблазна».

В финале книги Кавторина ученый Менделеев — уже больной, умирающий, работает над записками: «Дополнения к постижению России».

«Маша вынула перо из сжавшихся пальцев, которые так ослабли, что не смогли разжаться. Уложили, укрыли, вышли — путь отдохнет. Через несколько часов его сердце остановилось».

В рукописи, лежащей на столе, так и осталась недописанной последняя фраза: „В заключение считаю необходимым хоть в общих чертах высказать...“

Не высказал. Не успел.

Право же опасно, господа, даже из любви к нему, даже из жалости вынимать из руки российского интеллигента перо, когда пытается он постигнуть судьбы своей загадочной родины».

На задней стороне обложки книги «Петербургские интеллигенты» написано: «Петербургский интеллигент **Владимир Васильевич Кавторин** родился в 1941 году в Никополе.

Окончил Литературный институт им. М. Горького.

Прозаик, критик, публицист,

автор восьми книг прозы и исторического исследования

„Первый шаг к катастрофе“».

Названная книга имеет право на отдельный анализ. И автор этих строк питает надежду когда-нибудь произвести его. Но это, к сожалению, — вне объема настоящей статьи.

Кавторин любил эту тему и знал ее достаточно широко. Мы много беседовали о ней, потому что сама тема сейчас — повод для бесконечных спекуляций нашего нового, исключительно в духе самодержавия, видения истории России.

Молодому царю Николаю II советовали отменить коронационные праздники на следующий день и на том самом месте, где погибло множество

людей в давке — на Ходынском поле. Около 2000 человек — убитых и покалеченных. Но он пренебрег советом. После Ходынки китайский посол Ли Хун-чжан спросил Витте: «— Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено государю?.. — Я сказал, что не подлежит никакому сомнению... — Ну, у вас государственные деятели неопытные; вот когда я был генерал-губернатором Печилийской области, то у меня была чума, поумирали тысячи людей, а я всегда писал богдыхану, что все благополучно... Ну... зачем я буду огорчать богдыхана сообщением, что у меня умирают люди?.. — После этого я подумал, — пишет Витте, — ну, все-таки мы ушли далеко от Китая!..»

Кавторин рассказывал о газетах, вышедших в обеих столицах России в дни коронации Николая II, и с ужасом почти говорил о том, что там было все: во что были одеты дамы и какие бриллианты и диадемы были на них — только не было ни слова о погибших на Ходынке... Как историк он владел тем, чем даже среди историков владеют немногие — он знал цену вольтеровскому: «Бог в деталях».

Моя мать покоится на кладбище «Памяти жертв девятого января» — всего в нескольких шагах от памятника, и это не чужое мне место. Кто помнит сегодня об этих людях?.. Там были женщины, дети... там был русский рабочий класс, который шел к своему царю подать петицию о своем положении. Шел с хоругвями и крестами и во главе с православным священником. Кстати, само это шествие было результатом нескольких лет упорной работы русской полиции по привлечению рабочих к властям и, напротив, отвлечению их от революции («Зубатовское движение»). Кто придумал этот расстрел?.. Сегодняшний златоуст и преданный защитник самодержавия пытается объяснить нам с экрана телевизора, что царь просто не умел беседовать с народом и потому не мог принять петицию... (А если ты не можешь даже принять петицию, тебе незачем, тебе *нельзя быть* русским царем. Только и всего!) Недавно ушедший от нас поэт Илья Фoniaков написал о другом схожем событии того времени:

Годовщина Ленского расстрела —
 Было дело — помнилось, болело,
 А теперь вот — нет.
 Царь канонизирован за то, что
 Был расстрелян сам <...>
 Ну а тех — и не было как будто.
 Вечный сон глубок..

— И кто вспомнил в 2005 году эту, одну из самых мрачных годовщин русской истории — годовщину Девятого января?.. Через несколько дней после 9 января генерал Трепов привел к царю депутацию из достаточно дистиллированных представителей рабочих — и царь им сказал: «Я вас прощаю!»

«Раз за столом кто-то произнес слово „интеллигент“, на что государь заметил: „Как мне противно это слово“, добавив, вероятно, саркастически, что следует приказать Академии наук вычеркнуть это слово из русского словаря...» (Из мемуаров Витте).

(«Интеллигенция <...> настолько безответственна, настолько... <...> это слово вообще, по идее, надо ликвидировать...» — напомним приведенное выше интервью. Как грустно!)

В одном из разговоров с князем Святополком-Мирским — редкой фигурой на посту министра внутренних дел при Николае II — «императрица резко заметила: „Да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ всегда был и будет за царя“. На это Мирский ответил: „Да, это верно, но события всюду творит интеллигенция, народ же сегодня может

убивать интеллигенцию за царя, а завтра разрушит царские дворцы — это стихия!»»

Вспомним еще раз Маколея: «Обычный софизм, которым защищают дурное правление, на самом деле, значит лишь одно: народ следует держать в рабстве, поелику рабство породило в нем рабские пороки...» И далее: «Мы полагаем правилом без исключений, что жестокость революции зависит от злоупотреблений властью, породивших эту революцию».

Тема интеллигенции, особенно русской, от веку, что бы ни говорили по этому поводу ее враги, — это тема равнодушия к судьбе собственного народа. В каких бы иногда нелепых, иногда даже катастрофических формах это равнодушие не проявлялось.

«Известно, что петербургские интеллигенты рождаются далеко от невских берегов...»

Владимир Кавторин явился на свет в Никополе, детство провел в Азербайджане, закончил школу в Сумгаите... (Он писал впоследствии, вспоминая выпускной вечер в школе, что в дни страшного сумгаитского погрома среди его одноклассников оказались не только те, кто прятал армян, но и те, кто участвовал в погроме.) Он служил в армии в стройбате на полуострове Мангышлак (где когда-то был в ссылке, в солдатах Тарас Шевченко). Там получил туберкулез и известную дозу радиации. Кстати, это пребывание в армии он вспоминал тепло — с юмором и даже какой-то ностальгией. Потом попал в Литературный институт в Москве, откуда был выброшен, чуть не с последнего курса, вместе с исключением из кандидатов в члены партии: дал товарищу прочесть письмо Солженицына — товарищ и донес. Кавторин защищал диплом уже только через несколько лет. В итоге он оказался в Ленинграде, и началась типичная биография «петербургского интеллигента».

Он был прозаик, публицист, критик и видный представитель гражданского общества в Петербурге, что звучит, может, чуть странно, имея в виду, сколько было сказано всеми о необходимости существования этого общества и о том, что оно не всегда заметно в нашем мире и лишь иногда просверкивает как бы из облаков. Тем не менее это как раз тот случай, когда надо присоединить и такое определение. Он был одним из учредителей нынешнего Союза писателей Санкт-Петербурга, непременным участником всяких форумов общественности — всех ленинградских, а потом петербургских «трибун», неутомимым спорщиком и полемистом от природы своего литературного дарования: спокойным, ироничным, жестким и уважительным к человеку. Он сказал однажды о ком-то из своих противников — кажется, из нацболов: «Хорошие ребята! Только идеологию выбрали неважную!» Его почти многолетняя полемика с профессором В. Чубинским в журнале «Нева» была у всех на слуху и вызывала множество откликов.

Я увидел его впервые в редакции ленинградского журнала «Аврора» буквально за несколько дней до разгрома этого журнала и фактического разгона его редакции за помещение на 75-й странице очередного номера (что сочли очень важным — именно на 75-й!) рассказа тяжелобольного в то время писателя Виктора Голявкина. Там была некоторая доля юмористической интонации по отношению к юбилейной шумихе вообще. А в этот месяц отмечался как раз 75-летний юбилей Л. И. Брежнева, и кто-то — бдительный — заметил. (Рассказ перед тем года два валялся в редакции и попал именно в этот номер совершенно случайно: было лишнее место.) Но... Леонид Ильич юбилей любил и награждения любил, — и такую ошибку никак нельзя было простить. Одного музредактора на радио тоже чуть не поперли с работы за то, что в этот день с утра, в детской передаче, прозвучала, как всегда в этот

час, известная песенка: «К сожаленью, день рожденья только раз в году...» Но здесь удалось отстоять.

Кавторин был моим другом, и я всегда буду благодарен за эту встречу судьбе. Хотя все вышло случайно... Он вел мой вечер в Ленинградском Союзе писателей в 1988-м, я вряд ли мог объяснить себе тогда, почему предложил вести мой первый вечер в Союзе, при достаточно сложной личной ситуации моей в этой организации, почти незнакомому мне, плотному, симпатичному человеку, с которым мы до того лишь раскланивались при встрече. Такие вещи происходят вдруг. Вдруг я привел ему цитату из книги Марка Блока «Апология истории». Вдруг оказалось — он тоже любит эту книгу и, отдельно еще, любит эти слова: «Тексты, даже самые ясные и податливые — говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать». Много поздней, когда мы подружились уже — он сам стал напоминать мне немного Марка Блока, французского историка-медиевиста, который в разгар войны и французского поражения оказавшись в Лондоне в безопасности — имея полную возможность читать там лекции о своих Средних веках и быть далеко от страшного новейшего времени, — бросил все, ринулся назад, в Париж, ушел в Соппротивление и в итоге был схвачен гестапо и погиб. Но в подполье, перебираясь с квартиры на квартиру, написал эту книгу, «Апология истории», которую, конечно, не закончил. Кавторин напоминал мне его своей преданностью кабинетной науке — истории, в сочетании с тягой *делать* историю или, во всяком случае, *осмыслять* неотступно в те дни и часы, когда она только еще формируется. Он сам умел «спрашивать» исторические тексты — спрашивать саму историю, откуда что взялось в ней, и из всех даров, отпущенных ему, дар историка был, несомненно, одним из самых важных. В трудные дни наступавшей все более безысходно болезни — уже в последние месяцы, он написал, может, лучшие свои статьи «Девяностые — лихие или великие?», цикл из трех статей, «Уроки великой реформы» — все они были напечатаны в журнале «Звезда». Там же, чуть ранее, он опубликовал умную, глубокую — необыкновенно тонкую и сдержанную по тону, — статью на самую, может, большую сегодня, во всяком случае самую неопределенную, тему: «Не будем спорить о патриотизме» («Звезда», 2009, № 8).

Там он сказал, в частности, о днях Великой французской революции и об одном из антигероев ее: «Когда пали жирондисты, к числу которых Барер принадлежал, заслужить прощение новых победителей было делом нелегким. Но он старался, и вожди Горы сумели преодолеть свою неприязнь. „Национальный Конвент не потерпит, — витийствовал он, — чтобы наша армия употребляла такое слово, как милосердие, в отношении рабов Георга и машин Йорка. Смерть каждому английскому солдату!“ <...> К счастью, те, кто доказывает свой патриотизм жизнью, всегда меньшие патриоты, нежели доказывающие его словами. Солдаты, которым сообщили о приказе Конвента расстреливать пленных, ответили: „Мы не будем стрелять в них. Отправьте их в Конвент. Если депутатам нравится убивать безоружных, пусть делают это сами...“»

Он создал еще несколько очерков о людях той великой французской смуты — и это было, ей-богу, из лучшего, что мне довелось читать на эту тему (даже у Маколея — который тоже писал о Барере). Он обещал продолжить, написать книгу. Но вокруг рушился, страдал и пересоздавался сегодняшний мир — и писатель без конца возвращался к нему. В том или другом жанре.

Когда он был уже болен и либо подолгу находился в больнице, либо писал наперегонки со смертью — журнал «Звезда» опубликовал главы из романа «Чужая собственная жизнь» — может, главной его вещи: он, во всяком случае, верно полагал ее таковой. И это была снова книга о русском

интеллигенте, который живет в провинции, застрял в провинции и пытается «сеять разумное, доброе...», почти обезоруженный тем, что его посевы вытаптываются на каждом шагу...

Книга, я надеюсь, наконец выйдет в свет полностью. И к ней не раз обратятся те, кто любит этот мир и хочет увидеть его преображенным любовью. И ее еще отрецензируют подробно...

«Каждый живет в своем мире, среди людей, созданных собственным воображением. Вот он, Губов, — в мире тихого провинциального интеллигента, преподавателя литературы и истории, руководителя краеведческого кружка, и ему хорошо в этом мире, нигде не жмет, не давит. И сам он хорош в нем, так зачем же высказывать, зачем распутывать, что там и как в мире совсем ином, большом, том, что меняет его учеников, делая их чужими людьми — глупыми следователями, тоскующими ветеранами далеких войн, убийцами и убитыми. Надо ли расширять мир свой до бесконечности, до тех пределов. Где все равно ничего не понять, где ты всего лишь крохотная букашка, ползущая по кем-то разостланной карте... Быть может, искусство жить как раз заключено в разумном ограничении своего мира?...» — Это зерно книги, ее боль, ее главный вопрос.

Портрет Губова — главного героя романа — масштабен. Он заставляет нас вновь поверить в русскую интеллигенцию, в российскую духовность... во все наши попытки быть верными себе и оттого полезными этому миру и людям. Губов когда-то бежал из Петербурга, после долгих скитаний, включая Сахалин, осел в провинции — в Сосновске. (Место придуманное. Общероссийское.) Женится. Обрет любовь: жену Таню, двух мальчишек. Учителствует. И до поры ему здесь хорошо — покуда не начинает сознавать, что все, чему он учил своих питомцев, рассыпается на глазах... оборачивается обманом и тленом.

Повествование начинается с того, что Губов сталкивается с тремя дембелями, которые преследуют беременную женщину, убегающую от них с мужем. Он заступает за женщину. Получает бутылкой по голове... А в итоге оказывается, что один из дембелей его бывший ученик. — И один из лучших, увлекавшийся историей. Но они все трое — из Афгана, а там они научились чему-то, чего не было в его, Губова, учебной программе. Чему он не учил...

«— А Сержику все равно, — пояснил Петька. — Он кого хочешь убить может — привык... Но вообще это вы правильно — баб бить не стоит... Все, чему вы учили нас, правильно. Это жизнь, паскуда, неправильная — ни круглая, ни квадратная...»

История простая. Парня послали на войну, девушка вышла замуж за делягу... «Да че полюбила? Родители уломали... а только выскочила она за Опенкина, директора молокозавода...»

Вот в этой неправильной «паскуде-жизни» бьется, как в силках, живая и праведная человеческая душа, полная надежды и веры. Или, верней, душа, которая начинала с надежд и веры.

Гибнет другой бывший ученик — Коля Рамкин. В его гибели как-то замешана местная мафия. Пока еще на дворе советская власть, и пока еще мафия целиком на государственном уровне. Товарищ Жизло — бывший директор суперфосфатного завода... И одно из главных лиц в округе.

«А правду говорят, что вы на Журиха это... копаете? Ну, насчет Коли Рамкина и всего такого? <...> И правильно! Правильно! Вы нас, конечно, учили, чтоб за справедливость... — наклоняясь (он теперь был много выше Вадима Ивановича), прямо в лицо ему жарко прошептал Ивин, — да против Журиха... тут, Вадим Иванович, никто вас не спасет. Тут такая одна шайка-лейка...»

Но учитель начинает *копать*. Его предупреждают — проводят обыск в доме и у его друзей. И с обыском приходит бывшая ученица. «Но скажи, говорю, на милость, тебе не противно таким заниматься? Молчит. У нас, Вадим Иванович, дисциплина, а у меня — ребенок! То есть... я ей еще сочувствовать должен... Она и в школе была такая старательная...»

А потом оказывается, что искали вовсе какие-то заводские журналы. Не имеющие отношения к нему, но имеющие отношение к тому самому Жизло. Обычная советская шелутень — приписки. Притом многолетние. Новый директор завода Глеб Анатольевич Яковлев, сам рассказал ему об этом в бане. Это то, на что Яковлев наткнулся, придя на завод...

Яковлев — фигура особая в романе. Может, почти такая же важная, как сам Губов. Это — другая ипостась той же советской интеллигенции. Тоже сын репрессированного в сталинские времена. Тоже бьющийся о стену советских порядков. Тоже умеющий рисковать. Пытающийся сделать карьеру и почти удачно... Но... Любовь, редкая женщина Аза Тусонян с цыганскими глазами. Он бросает накатанные дорожки в столицах и просыпается однажды в этом Затрушенске. То есть в Сосновске, директором забытого Богом суперфосфатного завода и наследником кучи дерьма, оставленного здесь бывшим директором товарищем Жизло, но зато мужем фантастической Азы, с цыганскими глазами и необыкновенными серьгами в ушах... которую привез с собой (любовь!), и она теперь здесь — врачом-рентгенологом в местной поликлинике. Она так загадочно улыбалась — «кто ж ее знает, что думала, так вот слушая его да помалкивая».

Но потом Аза ляжет в больницу на Песочную в Ленинграде, и ей ампутируют одну грудь, затем другую... В больнице она вдруг обрушит на него всю загадку своей улыбки. И весь ужас ее... скажет, что он «может не приезжать, ничем он ей не обязан, да ни на что уже и не нужен».

— И Ивану передай, чтоб не ездил, нечего ему тут...

— Какому Ивану?

— Жизло, какому ж еще?..

— А он ездит?.. От профсоюза? — совсем по-дурачки спросил Яковлев.

— Союз у тебя с ним профессиональный. Скорее молочный. За одну сиську держались — ту, что доктор Семенов отрезал...»

Так прояснилась судьба Яковлева, какой она была на самом деле. И что в маленькой комнатке рентгенокабинета в поликлинике был дом свиданий. (Больше в Сосновске было не найти помещения.)

Надо сказать, образ Азы Тусонян, жены Яковлева, вроде будто сторонний в романе. Не из той природы. Он занимает место странное... Среди идеологических схем жизни в основном порядочных интеллигентных героев возникает Мефисто-женщина. Сладость греха и нестерпимая печаль. Мрачное обаяние порока.

Она говорила мужу еще раньше: «Учти, это не волки, — это стая собак. Загрызут не потому, что голодны, а потому, что ты на них не похож. А ты не похож. К тому же и не какой-то учитель — знаешь действительно многое». (Вот и скажи после этого, что она вовсе не любила его!)

Но Яковлев все же рискнет — и отдаст те самые «заводские тетради» учителю. Чтоб тот свез в Ленинград — Быче. Некогда известному исполнителю авторской песни, барду — а ныне Бычину, влиятельному в юридических кругах ленинградскому прокурору. И учителя убьют по дороге, когда он повезет документы, — ржавой трубой. И Бычин ничего не сможет сделать и ничего доказать — или ему не дадут доказать. Вот и все.

Наверное, роман Кавторина что-то важное потерял бы, если б не две вставки. Фрески. Как бы на фоне которых разворачивается повествование о нашем времени. Одна из фресок (врезок) связана с началом XIX века

в России, с убийством императора Павла I 11 марта 1801 года в Петербурге. А другая — с нулевыми годами уже века XX и историей террористов-революционеров из боевой организации эсеров. Фрески эти органически вплетены в роман. Дело в том, что Вадим Губов писал, сочинял — и товарищи видели в нём талантливого писателя и всегда надеялись, что однажды он привезет из своих дальних странствий некую папочку... И все скажут: «Да! Это то самое!»

Во всяком случае, две «папочки» Губова, которые вплетены в роман, имеют огромный смысл в нём, они укрупняют действие и разворачивают частную историю героев начала 1980-х — конца 1990-х годов минувшего века на фоне исторической жизни России.

...Губов когда-то решил сжечь эти повести. Поручил жене. А она оставила. Замечательная сцена в романе, когда он вдруг заикнулся про них, думая, что их нет, а жена соскочила с постели и принесла: идет совершенно нагая — и четыре папки прижаты к груди. «Рукописи не горят» и все прочее.

Эту сцену вспоминаешь невольно, когда постаревшие друзья Губова, много лет спустя, появляются в ее доме, то есть в доме Яковлева. Друзья долго сомневаются — идти, не идти? «За Яковлевым она уже пятнадцать лет, вдвое больше, чем за Вадькой!»

«— Уж очень меня такие люди интересуют! (говорит один из друзей. — Б. Г.)»

— То есть какие?..

— Такие! Которым все достается. Чужие жены, чужие дети. Даже чужие жизни!..

— Что ты имеешь в виду?..

— Ну ты же сам мне рассказывал: Вадька погиб, ввязавшись в какие-то яковлевские дела, везя его документы... <...> Это как на войне: теоретически пуля может попасть во всякого, но всегда есть те, кто первыми идут и гибнут, и те, которые остаются живы и собирают трофеи...»

Правда, издали Вадькину книжку при «спонсорской поддержке Г. А. Яковлева», так что... Он теперь местный олигарх — в Сосновске...

Друзья входят в дом, минуя охрану, и долго объясняют охранникам, что они... «Тут к вам... Говорят, Вадима Ивановича друзья. — И ко мне наклонился: — Фамилия?..» Жена именует Яковлева исключительно по имени-отчеству — Глеб Анатольевич. Про сына она говорит: «Закончил ФИНАК, помогает Глебу Анатольевичу, тот им очень доволен...» «У Глеба Анатольевича сегодня важный гость...» Про портрет бывшего мужа, который где-то спрятался в самой глубине: «У Глеба Анатольевича большие дела, разные люди бывают. Я не хочу, чтоб спрашивали о Вадике. Это только мое...» Правда, признается в какой-то момент: «Я и сейчас иногда ночью и думаю, что умерла вместе с ним. Нет, не умерла, а...»

Друзья смотрят в окно, как Яковлев провожает важного гостя, как суетится охрана... «„Отъезд секретаря обкома“... Впрочем, охраны в те времена было поменьше, да и дисциплинка у нее, в сравнении с этой, хромала...»

А потом оказывается, что это — бывший прокурор Ивантеев. Тот самый. Что когда-то прикрывал Жизло... — а теперь «„Минералбанк“», собственной персоной». Кстати, сын Жизло нынче тоже — замминистра. Изменилось время.

За все надо платить в мире. Даже за доброту. Яковлев, чтоб иметь возможность быть добрым, должен был вступить в союз со злом. Одно из самых трагических искушений жизни!

После на глазах друзей Губова охрана изгоняет еще одного бывшего друга Яковлева. Да и Губова тоже... Правда, пьяница — Дроздов, что с него возьмешь?.. Гости понимают, что им тоже пора уходить... Под конец Глеб, Глебка, старший сын Губова («Глебку не признал, что ли? Да ведь он-то —

Вадим вылитый!»), кричит им: «Я тоже хотел бы понять, почему вы, все ваше поколение, которое так ничего и не поняло в своей жизни и даже, по собственному признанию, сотворило с собой и страной совсем не то, что хотело... Почему вы все еще пытаетесь кого-то учить? Почему думаете, что именно ваш опыт имеет какую-то особую ценность, что только вы и понимаете что-то, а молодые...»

Мать пытается прервать все это, но это уже — конец. И конец романа в том числе.

«...оглянулся на Яковлева... Он сидел в кресле, не шевелясь, рассматривая на свет рюмочку с коньяком».

Губов проиграл. Как проиграл Петр Семенов и генерал Ростовцев. И Иван Худяков, и великий царь Александр II. И жандармский полковник Зубатов. И священник Георгий Гапон. И граф Витте, и его недолговременный, но усердный сотрудник — Дмитрий Иванович Менделеев. (Который перед смертью тоже пытался понять... Помните? «Дополнения к постижению России: «В заключение считаю необходимым хоть в общих чертах высказать...» «Не высказал, не успел».) Как его, Менделеева, зять — поэт Александр Блок, мечтавший о «человеке-артисте», который когда-нибудь должен явиться, и написавший поэму «Двенадцать».

«Чужая собственная жизнь»... Само название романа с небольшим приближением можно считать одним из общих определений Культуры. — Ощущение причастности к чужой жизни, как к своей собственной.

Фолкнер сказал когда-то о другом писателе своего поколения — о Томасе Вульффе: «В конце концов все мы потерпели неудачу. Но его неудача была лучшей, потому, что он предпринял самую трудную попытку из всех нас сказать самое главное». Кроме удач еще бывают лучшие неудачи!

«Я думаю, что люди шире идеологии. И в этом их спасение! Я думаю, что последствием этого кризиса либерализма должна быть некоторая коррекция либерализма и коррекция других идеологий, в том числе и социал-демократической. Я думаю, что ни одна идеология никогда не может быть до конца адекватна миру, хотя она необходима как модель. Я думаю, что если кризис будет осознан, то будет найдено и решение. Опасны только неучтенные силы».

Это было в докладе, прочитанном Кавториным в 2005 году. И мысль, безусловно, принадлежала не только писателю, историку — но и крупному современному мыслителю.

Владимир Кавторин ушел из жизни 20 апреля 2011 года в результате не слишком удачной операции на сердце, после которой он почти два года бился за жизнь. Последнюю статью для «Знамени» он закончил за два дня до впадения в кому. Он чуть-чуть не дотянул до 70 лет...

Он когда-то закончил очерк о Семенове-Тян-Шанском: «На дворе стоял 1914 год... И тут требовались иные свидетели, иное жизненное искусство, и Бог прикрыл ему глаза...»

«...был такой, как его время, и если время повторится, то виноваты будут не все, а только те, кто его повторит» (В. Кавторин. «Чужая собственная жизнь»).

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

ГЕННАДИЙ БАРАБТАРЛО

СКОРОСТЬ И СТАРОСТЬ

Дмитрий Набоковъ (10 мая 1934 — † 22 (23?) февраля 2012)

1

Умер он от инфекционного воспаления легких, в больнице в семнадцати верстах от той, где умер его отец вследствие сходного респираторного обострения болезни. И прожил он на свете без полугода столько же, сколько его отец. Тут странная симметрия: он родился, когда его отцу было 35 лет, и пережил его почти ровно на столько же. Даже и день его смерти странным образом перекликается с известной дилеммой дня рождения отца: тот родился 10 апреля — то есть 22-го по новому календарю, но в европейской эмиграции отмечал его 23-го (заодно с Шекспиром, который тоже родился 10-го, до календарной реформы на Западе); согласно большинству некрологов его сын скончался 22 февраля, но по другим сведениям, может быть более надежным, это случилось около трех утра 23-го. Эти совпадения, столпившись, не могут не останавливать на себе внимания, но их мельтешение и притупляет его. И однако ни старший Набоков, ни младший не счел бы их вовсе не стоящими внимания.

Отец его писал, что жизнь — «только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями», пред-жизненной и той, «к которой летим со скоростью 4500 ударов сердца в час». Это сказано прямо с порога «Других берегов», книги воспоминаний, ограненной как роман, которая в английском оригинале называлась «Убедительное доказательство» (существования автора, как он сам объяснял). В начале книги будущий мемуарист, трех лет от роду, впервые приходит в сознание самого себя, когда бредет по аллее парка между своими родителями, которые держат его за руку с каждой стороны; в следующем поколении мы видим, как отец и мать трех-, четырех-,

Тезисы этого эссе напечатаны в виде краткого некролога, названного «К другим берегам», в газете «Коммерсантъ» в номере от 27 февраля 2012 г. Печатается с сохранением некоторых особенностей правописания автора.

Геннадий Александрович Барабтарло (род. в 1949 г.) — поэт, эссеист, прозаик, переводчик. Автор книги «Сочинение Набокова» (СПб., 2011) и др. Живет в США.

© Геннадий Барабтарло, 2012

© The Estate of Vladimir Nabokov, 2012 (Перепечатка запрещена)

пяти- и, наконец, шестилетнего Мити ведут его к выходу из Европы (и из книги), держа каждый за руку и задерживаясь на берлинских, пражских, парижских железнодорожных мостах в ожидании скорого поезда, к пристани, где их ждал пароход к другим берегам.

Продолжения этой пантомимы из трех движущихся разновысоких фигур в третьем колене не следует. С его смертью пресеклась мужская линия от Владимира Дмитриевича Набокова: оба дяди были бездетны, он был единственный сын, не оставивший по себе потомства. Превращение ветвистого родового древа в безлиственный ствол в двух всего поколений происходило в русской эмиграции едва ли не с настоятельностью закона природы. Эта его бездетность эмблематична и в ином смысле: за редкими исключениями, герои Набокова не имеют своих детей, а те, что имеют (никогда больше одного), лишаются их.

Не женился он главным образом оттого, что при жизни родителей, которых он любил с редким в наше время благоговением к обоим, их пример и понятия казались ему настолько выше тех, которые установились в мире ко времени его возмужания, что он никакой знакомой женщины не мог вообразить их невесткою. А после их смерти его удерживали от брака — однажды, казалось, близкого — привычки шестидесятилетнего уже холостяка.

2

Англичане называют надгробное слово «евлогой», то есть добрым словом, благословием. Все знают и на разные лады повторяют за афинским мудрецом в переложении на латынь, что *de mortuis nil nisi bonum*. Это оттого, конечно, что даже язычники понимали, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется на том свете, где участь покойника нам неведома и, быть может, совсем не покойна.

Он был необычайно одарен, и у него было много слабостей, но он не был повеса и бонвиван, как полагают те, кто его не знал. И он не играл роли барина, как думают знавшие его верхогляды: он и был русский барин, ильи-ростовского типа, хотя и не без усвоенной ван-виновой примеси. Того типа, который мог быть по шею в долгах, но жил все на ту же широкую ногу, издерживая вдвое больше своих доходов, и не мог отказать себе в удовольствии дать за горничной абсурдно щедрое приданое. Барина того рода, которого обворовывает прислуга, подобно тому как отраденский Митенька облапошивал графа Илью Андреича, или как камердинер — Каренина, или как челядь наперебой обкрадывала старую графиню Томскую, или как швейцар Устин — Набоковых, о чем все они догадывались и на что смотрели сквозь пальцы.

Это был не только обаятельнейших манер и такта, но и серьезного и тонкого ума человек, который, благодаря совершенному владению тремя новыми языками помимо родного, двадцати пяти лет отроду начал переводить книги отца на английский и итальянский. Он был нетвердо уверен в своем письменном русском языке, правилам которого его обучал отец, но речь его была благородного происхождения и качества, с унаследованным грассированием и каким-то неуловимым наклоном и характерным тембром, который теперь почти нигде не встретишь и за границей, не говоря уже о земле его предков. Его выговор и фразеология настолько отличались от ныне утвердившегося лоскутного говорка, что когда он начал по-русски отвечать на вопросы в телевизионных интервью, то многие его слушатели полагали как нечто само собой разумеющееся, что он забыл родной язык или, может быть, никогда его толком не знал. То же самое говорили за двадцать лет перед тем и о его отце, когда «Лолита» в его русском переложении получила хождение

в «содружестве независимых государств». Необычайная способность транспортировать слова через языковые границы и идиоматические заставы сделала его лучшим переводчиком сочинений отца в прозе и стихах на английский и итальянский.

3

Еще при жизни матери он взял на себя громадное и все растущее дело посмертных изданий книг отца, тщательнейшей охраны его авторских прав и чести его имени. Тут он сделал гораздо больше ошибок, чем в своих переводах, сначала весело стреляя из пушки по воробьям, потом из аркебузы по стервятникам, а потом, когда с тонким воем подступили гиены, заряды вышли и пришлось перейти на дробь. Издание черновых карточек «Лауры» было, по моему мнению, которое ему было известно, последней такой ошибкой.

Тут неизбежно приходится задержаться, чтобы ответить на ухмылку и покачиванье головой или указательным пальцем тех, кто бранил его последними словами за «предательство отца», а меня — за то, что взялся за русское издание подлежавшего уничтожению черновика. При его жизни это было затруднительно, теперь же можно обозначить пунктиром контур этого дела, поскольку это меня касалось.

О том, что Набоков незадолго до смерти распорядился сжечь «Лауру», я знал с 1981 года от его вдовы, которая призналась, что покуда не сделала этого, но не исключала того, что когда-нибудь наберется решимости. После ее смерти в 1991 году сын много лет не знал, как поступить с манускриптом. Я предлагал ему устроить частное аутодафе на его квартире в Монтрё, в узком кругу друзей — что-то вроде сцены сожжения писем Севастьяна Найта по его смерти в самом начале романа, согласно его строгому распоряжению, а в письмах этих был ключ к загадке «истинной жизни» Найта, которую его брат и биограф разгадывает на протяжении всей остальной книги. Из этой затеи ничего не вышло, но кто бы мог подумать, что будет время, когда несколько друзей соберутся у него на квартире в день его рождения, после погребения в могиле родителей бочковатой урны с его прахом — через пятьдесят дней после кремации его тела в похоронном заведении, расположенном над русской церковкой св. великомученицы Варвары в городишке с интересным названием Вэ-Вэ!

Ничего не вышло и из другого моего проекта, еще более фантастического: он тогда писал большой роман, и я как-то раз предложил ему телескопически внедрить в него останки «Лауры» — как бы роман в романе внутри третьего, вроде слоистого стихотворения Лермонтова о полдневном зное и мертвом сне. Эта шальная идея «метонимически реализованного наследия», казавшаяся мне тогда счастливым компромиссом, конечно, тотчас заглохла. В 1999 году, к столетию Набокова, «Ученые записки» для специалистов, издаваемые Канзасским университетом, объявили конкурс на лучшее подражание манере Набокова, и его сын послал (анонимно, разумеется, как и остальные участники) два отрывка из «Лауры»; читатели поставили, как это ни забавно, один пассаж на третье, другой на последнее (из пяти) место.

Это, кажется, и все, что мне было известно об этой вещи, когда весной 2008 года мне телефонировала Никки Смит, давнишний литературный агент Набоковых, и предложила прислать копии карточек и транскрипцию с тем, чтобы, прочтя их и сличив, я подал бы совет: публиковать или нет. С той же просьбой она обратилась еще к четырем или пяти лицам из числа тех, чье мнение могло бы иметь для него значение. Впервые прочитав весь сохранившийся текст, я написал ему длинное письмо, где подробно излагал восемь причин, по которым печатать «Лауру» не следовало. Но такое мнение

оказалось чуть ли не единственным, и хотя он сказал, что серьезно его обдумает, я не удивился, когда вскоре узнал, что он решился печатать.

Увидев, что дело кончено, я предложил перевести написанные главы «Лауры» на русский и снабдить их описательной и истолковательной статьей, так как полагал, что таким образом выйдет меньше вреда: я представлял себе, как это может выглядеть в переложении на преобладающее теперь наречие, которое отлично от русского языка Набокова, как «эбоник» американских негров отличается от языка Эмерсона, и от этого делалось не по себе. Русская книжка вышла в двух вариантах, тиражом в десять раз превышавшим оригинальное английское издание и десятикратно же против оригинала разбраненное, в печати и непечатно.

В неловком, трудном, полном околичностей предисловии, от публикации которого, во всяком случае по-русски, я безуспешно пытался его отговорить, он разбросал там и сям несколько намеков и скрытых указаний на гнет материальных и нематериальных обстоятельств, вынудивших, после долгих колебаний, принять это решение, обстоятельств, о которых здесь не место говорить, но которые, как он полагал, оправдали бы его в глазах отца. У него не осталось решительно никого, кто имел бы право подвергнуть сомнению это его предположение, — и, уж конечно, никого, кто мог бы его осудить за это.

4

У него был настоящий литературный дар: переводы его, в том числе стихов, поразительно точны, изобретательны и вместе элегантны; он сочинил, как уже сказано, большой роман и напечатал превосходно написанные воспоминания под названием, которое можно бы перевести как «Сбывшиеся сны и гибелью грозящие положения».

Вообще, это был, повторю, человек исключительных дарований. Получив благодаря жертвенным стараниям родителей превосходное домашнее воспитание и отличное образование в частной гимназии, а потом в Гарварде, он учился в лучшей в мире вокальной школе в Милане, вступив на поприще профессионального оперного баса. Он дебютировал в «Богеме» в роли Коллина, философа из первого акта; в последнем он закладывает любимую шинель, чтобы на вырученные деньги купить лекарство для умирающей любовницы друга (которого играл Паваротти, тоже дебютант в тот вечер). И бас и тенор получили первые призы. Родители его были в зале, и трудно себе представить, чтобы у Набокова не мелькнула мысль о вывернутом наизнанку гоголевском сюжете.

Несмотря на ранний успех, а он пел на лучших оперных сценах в продолжение более двадцати лет, карьера его высоко не залетела. Она требовала нераздельной самоотдачи, между тем как он все время делил ее с отнимающими время и силы увлечениями, среди которых автомобильные гонки были одно время главным, причем тоже на лучших европейских сценах: знаменитый автодром в Монце, рядом с Миланом, был в двух шагах от его квартиры, и гоночные машины Формулы-1 (с открытыми колесами) часто сотрясали окна своими басами-профундо. Он и там взял множество призов. В то время гонщики разбивались чаще и фатальнее, чем теперь, и это его увлечение было предметом ужасных тревог его родителей: подобно пожилому родителю ненормального юноши из «Условных знаков», они с замирающим сердцем ждали у телефона в комнатах, которые с начала 1960-х годов занимали в старом крыле огромной гостиницы «Палас» в Монтрё, когда он наконец позвонит после очередной гонки, чтобы подтвердить, что жив и цел. «Хочется перекреститься всякий раз, что он звонит», — признался

как-то Набоков своей сестре. С тем же затаенным ужасом они дожидались у подножья высоченных Тетонских скал в Вайоминге, тревожно глядя вверх, где в быстро сгущавшихся сумерках горный массив уже терял очертания и казался просто расплывчатой свинцовой равнодушной стеной, не зная, что их семнадцатилетний сын застрел на узком карнизе в двух верстах над ними.

Боль он мог выносить чрезвычайную (однажды полетел из Флориды в Швейцарию со сломанной на теннисе ступней, при его почти двухметровом росте и шестипудовом весе), отважен был отчаянно. И он всегда звонил им. Когда, выкарабкавшись через окно из горячей «феррари» (у нее на большой скорости на шоссе из Монтрё в Лозанну отказали тормоза и она на лету влетела в парашют), он лежал потом с обгоревшим телом в огромном пузыре в лозанской клинике, превозмогая дикую боль, — слабым, но спокойным голосом он известил по телефону старую мать (отец уже умер), что не может, как уговаривались, обедать у нее вечером. Конечно, это героика некоторых героев романов Набокова, но она была ему свойственна по натуре, а не усвоена подражанием.

5

С начала 1940-х и до конца 1950-х годов, в прозе и в стихах, его отец подвергает своих вымышленных юношей всевозможным напастьм и ужасным, часто смертельным, опасностям. Он как будто хотел обезвредить тот или другой вариант несчастья в действительности, предварительно вообразив и описав его в художественном вымысле, полагая, быть может, что судьба избегает всякого плагиата. То же самое и с той же, видимо, целью делал Пушкин, причем довольно часто — то будто бы в шутку, как в «Дорожных жалобах», то очень серьезно, как в страшном «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». Безжизненное тело на далеком холме в странном полурифмованном английском стихотворении военных лет, которое начинается «В младенчестве, упав, бывало...»; похищенный злодейской народной властью и замученный мальчик Давид Круг из «Под знаком незаконнорожденных»; несчастный юноша, мучимый «условными знаками»; долговязый астронавт Ланс, улетевший в невообразимое пространство, а его немолодые родители неотрывно глядят сквозь слезы в ночные звездные небеса и воображают, как он карабкается по уступам, утесам, ущельям мрачных зубчатых пропастей космоса с героическими названиями из «Короля Артура», как некогда лазал по отвесным скалам в Колорадо, а они ждали его внизу; даже, может быть, Лолита — все это звенья еще более длинной серии подставных лиц, как бы мальчиков (иногда и девочек) для битья.

6

Его сопротивление одолевающей мир тяге влево, тому, что называется духом времени, в чем бы он ни выражался, было весьма последовательно и довольно целостно. Он знал, например, что «зеленая» политика непременно краснеет, как томаты, если им дать полежать в темном месте. Само собой разумеется поэтому, что, как и его родители, он был непреклонный и непромокаемый антисоветчик. В совдепии он не бывал; бывший петербургский дом своего отца и еще тогда не сгоревшее бывшее имение в Рождествене он впервые увидел уже в смутное время. В середине 1990-х годов он мне телефонировал, сказав, что его приглашают в Питер и в Москву, и он не знает, ехать или нет, и как было бы хорошо, если бы вдвоем.

Несмотря на искренность наших старых и добрых отношений, они были не таковы, чтобы он нуждался в моих советах, и он редко обращался ко мне с просьбами, поэтому я был особенно тронут. В его кругу было очень мало русских друзей. Я сказал ему то, что, как мне казалось, сказали бы ему в этом случае его родители, но он в конце концов поехал. Не в одном только смысле это было для него как бы посещение музея: дом Набоковых на Морской был отчасти превращен в мемориал (который он потом опекал как мог), а сам город, получив назад свое имя в его парадном варианте, оставался столицей «ленинградской области». Не всякий сбывшийся сон выходит так, как снилось.

7

В первый раз я увидел его в августе 1981 года. Я тогда переводил «Пнина» для мичиганского издания, и мы с Верой Набоковой каждый день сидели в маленьком кабинете ее покойного мужа, с овальным окном, выходившим на Женевское озеро, обговаривая каждую фразу перевода. Это было что-то вроде защиты магистерского сочинения, на которой вдова Набокова была вместе оппонентом и подсказчиком. Тут в комнаты вошел ее очень высокий и чрезвычайно любезный сын, вкативший свой под статью высокий велосипед: он вернулся с длинной прогулки по набережной и поцеловал руку сидевшей матери. Та спросила его о каком-то нас затруднившем техническом термине, он очень осторожно подал свое мнение, и скоро удалился: «Не буду вам мешать». Так началось наше знакомство — с образа двух огромных колес в маленькой комнате.

С 2001 года невропатологическое заболевание на фоне начавшегося диабета не позволяло ему ездить на автомобиле так, как он привык, то есть на очень большой скорости. Лет за пятнадцать перед тем он как-то раз встречал меня на вокзале в Монтрё. У меня не было с собой багажа (я остановился в Женеве), только портфель с рукописями рассказов Набокова, подлежащих переводу, но он посадил меня в свою темно-синюю «феррари кваттро-вальволе» (поэзия большинства итальянских автомобильных терминов переводится на другие языки технической прозой; этот значит всего лишь «о четырех клапанах» — на каждый из восьми цилиндров) и на гоночной, прижимающей к сиденью скорости, переключая передачи рукой, пятнистой от пересадок кожи после ожогов, промчал меня метров триста, отделявших вокзальную стоянку от гаража «Палас-отеля». «Прошу прощения, я так привык», — извинился он, твердо тормозя у заднего входа и одновременно удерживая рукой мое подавшееся вперед, непривязанное тело.

Скорость — не умозрительная, тахикардически приближающая к черте вечности, но кинетическая, особенно производимая двигателем внутреннего сгорания и измеряемая тахометром на приборной доске — была его страстью. Он преследовал ее на всех стихиях. Он мчался по Атлантическому океану на своем скоростном катере длиной в тридцать восемь футов и мощностью в девятьсот лошадиных сил и летал на вертолете над Средиземным морем. И оттого так странно и грустно было видеть его в инвалидном кресле, передвигающемся по квартире со скоростью десяти оборотов колес в минуту. Так и в последний раз, что я его видел, за полгода до смерти, возобновился первоначальный двухколесный образ. Только тогда он стоял рядом с велосипедом и переставлял его с большой легкостью, а теперь сидел между двумя колесами, опираясь о подлокотники исхудавшими руками.

Предпоследний роман Набокова кончается странной фразой, которая, по замыслу, должна принадлежать одному прежде умершему персонажу, ко-

торый встречает героя книги, только что прибывшего к иному берегу. И хотя автор, увидев, что никто ничего не понял, решился сочинить неловкое интервью с самим собой, дабы объяснить, что повествование всей книги ведется духами уже скончавшихся, но все еще действующих лиц, и что этого именно духа можно распознать по его слабости к английским идиомам, которыми он любил при жизни шеголять, причем некстати и неверно, — не смотря, говорю, на все эти объяснения, мне трудно теперь, когда Дмитрий Владимирович Набоков умер, отказаться от мысли, что ими не исчерпывается смысл этой фразы, которую только очень отдаленно можно передать по-русски так: «Тише едешь, сынок, — дальше и дальше будешь».

В младенчестве, бывало, на пол
упав, он продолжал лежать
плашмя, не шевелясь, как будто
не зная, плакать или встать.

Холма на склоне, после боя,
плашмя лежит он в мураве,
и ни о чем не нужно думать:
теперь ни встать, ни зареветь.

11. 11. 1942¹

¹ Перевод мой. — Г. Б.

АНДРЕЙ БАБИКОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Неизвестные стихи Набокова под маркой «Василий Шишковъ»

Памяти Д. В. Набокова

1

В предпоследней, шестьдесят девятой, книжке «Современных записок», вышедшей в Париже в июле 1939 года, когда до нападения Германии на Францию оставалось десять месяцев, так настойчиво повторяется тема конца (М. Алданов — «Начало конца», О. Фельтгейм — «Конец ссылки», Ю. Рапопорт — «Конец зарубежья»), что задним числом этот ряд сочинений в ре миноре не кажется случайным «выбором редакции» и на их фоне даже в обычном, тонким курсивом набранном уверении «Продолжение следует» звучит скорее философская, а не конторско-бытовая нота. В той же тональности моцартовского «Реквиема» в этом номере лучшего эмигрантского журнала написан некролог Берберовой «Памяти Ходасевича», умершего 14 июня в госпитале Бруссе, очерк Сирина «О Ходасевиче» и стихи В. Шишкова «Поэты». Здесь обе линии — смутного предчувствия «конца всему» (из набросков ко второму тому «Дара»): эмигрантской литературе, мирной жизни, русской общности за рубежом, — и личной утраты: друга, выдающегося

Эта работа уже подходила к концу, когда пришло известие о смерти Дмитрия Владимировича Набокова. Неизменно внимательно и доброжелательно относившийся к моим изысканиям на протяжении нелегких для него последних пятнадцати лет и всегда старавшийся выкроить время среди своих многочисленных трудов, чтобы ответить на мою просьбу или обсудить спорное место, он позволил мне ознакомиться с рукописями его отца в американских архивах, где я провел одни из лучших минут своей жизни, за что я всегда буду ему благодарен.

Андрей Александрович Бабилов (род. в 1974 г.) — исследователь литературы русской эмиграции, составитель, редактор, переводчик и комментатор нескольких изданий произведений Владимира Набокова, для которых подготовил ряд архивных сочинений писателя: полное собрание драматургии (В. Набоков. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб., 2008), сценарий «Лолиты» (СПб., 2010), «Лаура и ее оригинал» (СПб., 2010), полное собрание рассказов Набокова (в печати). Автор романа «Оранжерея» (СПб., 2012). Живет в Москве.

© Андрей Бабилов, 2012

© The Estate of Vladimir Nabokov, 2012 (Перепечатка запрещена)

© Андрей Бабилов (публикация), 2012

поэта, родственной души — естественным образом сходятся, образуя новую тему и по-новому окрашивая, как вечерние фонари обреченный к сносу дом, события тех предвоенных лет, в которых все связано: беспомощность Лиги Наций, скверное питание, странности *Drôle de guerre*, скудость гонораров, тревожные слухи. Написанные на смерть Ходасевича и подписанные недавно взятым новым псевдонимом Василий Шишков (только для стихов, для прозы указывался прежний адресат — В. Сири́н), «Поэты» содержали удивительно ясный отчет о «положении дел», воздавали должное «потомку Пушкина по тютчевской линии» и открывали поэтическую тетрадь Набокова с чистой страницы. Вот эти девять строф, как они были опубликованы в журнале (но в современной орфографии).¹

Поэты

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет... плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим: еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали, —
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей...
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна в отдаленье, поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;

красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит:
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане, —
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, —
а может быть проще: молчанье любви...

Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны (любви безнадежной),
молчанье зарницы, молчанье зерна.

Василий Шишков

«Поэты» Набокова — тот редкий случай, когда стихи приобретают известность, далеко выходящую за пределы их литературного назначения. Они стоят особняком и среди других стихотворений поэтов-эмигрантов младшего поколения, и среди собственных стихотворений Набокова. Такому особому месту они во многом обязаны своей подписью и связанной с этой подписью историей. Для чего же Набокову понадобился этот «Василий Шишков», этот посредник между «В. Сириным» и «В. Набоковым» с отсутствующей и потому безупречной репутацией? Предлагаемое самим автором объяснение если и не передегеривает колоду фактов, то во всяком случае выбрасывает козырем тот, что кажется далеко не самой высокой масти.

Впервые о цели этой мистификации Набоков рассказал десять лет спустя на публичном выступлении в Нью-Йорке. Чтение «Поэтов» он предварил следующим подробным пояснением:

«Я теперь прочту три стихотворения, сочиненных мною в Париже *в начале войны* (здесь и далее, кроме особо указанных мест, курсив мой. — А. Б.). Первые два² появились в „Современных записках“ за выдуманной подписью „Василий Шишков“. Не могу удержаться, чтобы не объяснить причину этого скромного маскарада. В те годы я догадывался, почему пронизательность влиятельнейшего зарубежного критика делалась до странности тусклой, когда он брался за мои стихи. Этот талантливый человек был известен тем, что личные чувства — соображения дружбы и расчет неприязни — руководили, увы, его пером. Мне показалось забавным испробовать на деле, будет ли он так же вяло отзываться о моих стихах, если не будет знать, что они мои. При содействии двух редакторов „Современных записок“, дорогих и совершенно незабвенных Фондаминского и Руднева³, я прибегнул к этой маленькой хитрости, приписав мои стихи несуществующему Шишкову. Результат был блестящий. Критик восторженно отозвался о Шишкове в „Последних новостях“ и чрезвычайно на меня обиделся, когда выяснилась правда».⁴

Здесь следует обратить внимание на одну важную оговорку и одно вопиющее умолчание: Набоков относит время написания «Поэтов» не к лету, а к осени 1939-го («в начале войны», которая, как известно, началась 1 сентября: «1939. Осенью грянула война», — пишет Набоков в набросках к продолжению „Дара“) и не упоминает Ходасевича. Последнее обстоятельство позволяет ему совместить время публикации двух шишковских стихотворений, в действительности отделенных девятью месяцами, и назвать только одну, утилитарную, причину их появления — доказать предвзятость «влиятельнейшего критика». Позднее, уже в середине 1970-х годов, он назвал ту же причину публикации «Поэтов» в примечаниях к сборнику «Стихи», вышедшему уже после его смерти: «Это стихотворение... было написано *с целью поймать в ловушку почтенного критика* (Г. Адамович. «Последние новости»), который автоматически выражал недовольство по поводу *всего*, что я писал».⁵ В этом лаконично-категоричном комментарии Набоков еще резче обостряет свое многолетнее противостояние с Георгием Адамовичем, чем это было в действительности, указывая уже не только на свои стихи как на объект его неприязненного внимания, а на все свои произведения. Наконец, еще один позднейший автокомментарий с любопытным хронологическим сдвигом находим в англоязычном сборнике рассказов «Истребление тиранов» (1975), где в примечании к рассказу «Василий Шишков» Набоков приводит свой перевод «Поэтов» со следующим пояснением: «Желая несколько развеять мрачность парижской жизни *в конце 1939 года* (полгода спустя я переключал в Америку), я как-то раз вздумал сыграть с самым известным эмигрантским критиком Георгием Адамовичем (который так же регулярно поносил мои сочинения, как я стихи его учеников) в невинную игру, напечатав в одном из двух ведущих журналов стихотворение, подписанное моим

новым псевдонимом, с тем чтобы узнать его мнение об этом свежем эмигрантском авторе в еженедельной литературной колонке, которую он вел в парижской газете „Последние новости“. <...> Русский оригинал этого стихотворения появился в *октябре или ноябре 1939 года*, если память меня не подводит, в журнале „Русские записки“, и в своем критическом обзоре Адамович отозвался о нем с исключительным энтузиазмом⁶ (перевод мой. — А. Б.). В этом сообщении Набоков вновь относит время сочинения «Поэтов» к осени, а не к лету 1939 года и, словно нарочно путая следы, — к другому журналу (в котором он тоже печатался); кроме того, как и на том выступлении в Нью-Йорке в 1949 году, он ни словом не упоминает потустороннего корреспондента «Поэтов» — Владислава Ходасевича. К вящему недоумению следует отметить, что его оппонент почти три десятилетия спустя не только отлично помнил, когда появились «Поэты», но и косвенно связывал эти стихи с Ходасевичем (далее мы увидим, насколько в действительности прочна была эта связь). В 1965 году, путая имя Шишкова с именем советского детского писателя, Адамович писал А. Бахраху: «А насчет того, что у Набокова есть строчки, которых не написать бы Ходасевичу: у него были стихи в „Современных записках“, *еще до войны*, где что-то было о „фосфорных рифмах последних стихов“, за подписью Б. Житкова. Меня это стихотворение поразило, я о нем написал в „Последних новостях“, спрашивая и недоумевая: кто это Житков? — и не зная, что это Набоков. Конечно, в целом Ходасевич больше поэт, чем он. Но у Набокова есть *pointes*, идущие дальше, по общей, большей талантливости его натуры».⁷

Набоков завершает свое примечание к рассказу «Василий Шишков» и всю историю литературной вражды с Адамовичем безжалостной эпитафией (Адамович умер в 1972 году): «У него в жизни было только две подлинные страсти: русская поэзия и французские матросы».⁸

Итак, в интерпретации Набокова события развивались следующим образом: осенью 1939 года он публикует «Поэтов» с целью проучить Адамовича, выражавшего недовольство по поводу его стихов / «всего»; зловерный, но наивный Адамович, восхищенный стихами Шишкова, вскоре выступает с хвалебной речью в «Последних новостях» — газете, где он вел свой критический отдел. Затем в той же газете Набоков публикует свой разоблачительный рассказ «Василий Шишков» («В декабре? Здесь я вновь не могу ручаться в точности», — признается Набоков в том же примечании⁹), поместив в него, как он утверждает, «критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича».¹⁰ Затем вновь выступает Адамович, вынужденный оправдывать свой промах искусностью набоковской «подделки» под другого, одареннейшего поэта. Таким образом, Набоков сосредоточивает события, относящиеся к Шишкову, вокруг нескольких осенне-зимних месяцев 1939 года, стремясь связать их с началом войны и концом русской эмигрантской литературы.

В действительности события развивались иначе. Вот их краткая хронология.

14 июня, в день, когда Набоков возвратился из Лондона в Париж, умирает Ходасевич. Вскоре после его смерти (предположительно) Набоков сочиняет «Поэтов»: как следует из переписки редакторов «Современных записок», Руднев получил их ранее 18 июня и затем послал М. Цетлину (редактору поэтического отдела), который в это время находился в Лондоне. Вот что Цетлин пишет в ответ Рудневу, обсуждая состав посвященного Ходасевичу номера: «Стихи С<ирина> эффектны, но не стоят его прозы! Ты очень удачно выбрал, кому дать написать о Ходасевиче. Вейдле был бы хорош для критической статьи, а Берб<ерова> и Сирина дадут, верю, портрет».¹¹ Редакторам журнала было известно, кто скрывается под именем Шишкова:

21 июня Руднев писал Набокову: «С внутренним конфузом подсчитал, сколько полагается Вам и Шишкову по самому высокому тарифу; покрывив душой перед самим собой, — еще умножил на 2, — и все же вижу, до чего ничтожная сумма получается — всего 166 фр. Простите «Совр<еменные> зап<иски>» за их убогость».¹² В июле 1939 года выходит журнал со стихотворением «Поэты». 17 августа Адамович в «Последних новостях» печатает свой восторженный отзыв. 12 сентября Набоков в тех же «Последних новостях» выпускает свой *последний* русский рассказ «Василий Шишков» — так сказать, последние новости об авторе «Поэтов» и небезызвестном Сирине. 22 сентября, прочитав инвективу Набокова, Адамович признает свое поражение, отдавая должное «дарованию» и «изобретательности» Сирина, и делает верное, по сути, замечание, отчасти оправдывающее его промах: «Каюсь, у меня даже возникло подозрение: не сочинил ли все это Сирин, не выдумал ли он начисто и Василия Шишкова, и его стихи? Правда, стихи самого Сирина — *совсем в другом роде*».¹³ В октябре Набоков сочиняет второе шишковское стихотворение («Обращение») и посылает его З. Шаховской¹⁴, после чего следует короткий эпилог: той же осенью Адамович добровольцем вступает во французскую армию, в марте 1940 года Набоков в последнем номере «Современных записок» печатает под именем Шишкова свое «Обращение», символично соседствовавшее со стихами покойного Ходасевича, а в мае того же года Набоковы из охваченной войной Европы отплывают в Америку.

Такова общеизвестная канва этой почти детективной истории. Исследователи на разные лады пересказывают ее как своего рода анекдот из table-talk: гениальный и недооцененный писатель подвергает завистливого и предвзятого критика изощренной литературной пытке, — но только представляется, что, упрощая ее мотивы и сокращая число действующих лиц ради выразительности и сюжетной емкости, Набоков лишь искал пример для известной оскарвайльдовской апории о том, что жизнь подражает литературе (Ходасевич — Кончееву, Адамович — Мортусу, Сирин — Годунову-Чердынцеву). И его поздняя попытка свести эти небезупречные, но пронзительные *les vers de la mort* со всеми их шифрами и шлейфами к давнишней и совершенно исчерпанной (в виду перемены декораций, жительства, языка) литературной тяжбе, вытянув из запутанного клубка одну-единственную, пусть яркую, нить, при более пристальном рассмотрении перестает казаться следствием странной забывчивости и вызывает массу вопросов.

Разве Адамович выражал недовольство «по поводу *всего*», что писал Набоков? Вовсе нет. В октябре 1937 года Адамович напечатал восторженную рецензию на вторую главу «Дара»¹⁵, в феврале 1939 года, незадолго до публикации «Поэтов», дал в «Последних новостях» на редкость высокую оценку рассказу «Лик», отметив «исключительный», «несравненный» талант Сирина.¹⁶ Но если бы и так, уместно ли было, затаив обиду, затевать литературную игру с недругом на страницах журнала, на одну пятую посвященного памяти Ходасевича? Разве некрополь подходящее для этого место? Или у Набокова все-таки было намерение, вопреки его утверждению в эссе-некрологе «О Ходасевиче», кое-кого чувствительно «задеть кадиллом»? Можно ли объяснить публикацию «Поэтов» под именем Василия Шишкова единственно желанием напомнить о блестящем очерке Ходасевича «Василий Травников» (1936), описывающем судьбу «одареннейшего поэта» (Г. Адамович) измайловского круга? Почему Набоков упоминает имена двух редакторов «Современных записок» и не упоминает имени Ходасевича? Показался ли ему десятилетие спустя печальный повод к сочинению «Поэтов» менее значительным, чем казался тогда, когда он называл Ходасевича «крупнейшим поэтом нашего времени» и «гордостью русской литературы» («О Ходасевиче»)? И если так, то почему четверть века спустя, в предисловии к английскому

переводу «Дара» (1962) Набоков вновь повторил свою беспримерно высокую оценку Ходасевича: «Этого мира больше не существует. Нет больше Бунина, Алданова, Ремизова. Нет Владислава Ходасевича, великого русского поэта, никем еще в этом веке не превзойденного»¹⁷ Хотел ли Набоков во что бы то ни стало обособиться от эмигрантского писательского круга, в том числе отчасти и от Сирина, и обратить внимание на свои новые во всех смыслах стихи? Можно ли, наконец, свести «шишковское» дело к облаве на «зоила» Адамовича, к стремлению еще раз поддеть давнего и не раз уже поддетого противника (довольно будет вспомнить «Адамову голову» из «Калмбрудовой поэмы „Ночное путешествие“»¹⁸ и «Христофора Мортуса» в «Даре»), искренне не любившего стихов В. Сирина и однажды принявшего сторону З. Гиппиус и Г. Иванова в газетно-журнальной драке, что была развязана грубой рецензией последнего («Числа». 1930. № 1)? Или к тому были другие, более важные и менее явные причины, имевшие отношение к писательским и жизненным перипетиям самого Набокова, во второй половине 1930-х годов переживавшего разлад не с одной лишь своей пушкинско-бунинской музой?

Письменные свидетельства, неизвестные автографы, соположение дат, имен и сочинений открывают куда более далекую перспективу, чем можно судить по тому краешку картины, что Набоков предпочитал выставлять на общее обозрение.

2

Стремление к драматическому напряжению и сюжетной завершенности в авторской версии шишковской истории отразилось и в ее позднейших литературоведческих интерпретациях. Значение Ходасевича в «Поэтах» оказалось сведено к роли соратника Набокова по затянувшейся расправе с пристрастным критиком, а сами стихи отставлены на второй план. Вот как описывает эти события крупнейший исследователь Набокова Б. Бойд, автор двухтомной биографии писателя:

«На протяжении тридцатых годов и Ходасевич и Набоков, защищая друг друга от нападок парижских критиков, пришли к убеждению, что их противниками — и особенно Адамовичем, наиболее влиятельным из них, — двигало не что иное, как зависть. За последние пять лет Набоков написал несколько прекрасных стихотворений, но ни одно из них не увидело свет. Казалось, публиковать их не имело смысла: хотя даже Адамович вынужден был признать, что Набоков пишет блестящую прозу, он по-прежнему отвергал его поэзию, и другие критики ему вторили. После смерти Ходасевича Набоков написал еще одно стихотворение — „Поэты“. Чтобы поймать Адамовича в ловушку, он использовал необычный для своих зрелых стихов размер, подписался псевдонимом „Василий Шишков“ и отправил стихотворение в „Современные записки“. Его розыгрыш удался даже лучше, чем мистификация Ходасевича, придумавшего в 1936 году Василия Травникова».¹⁹

В этой моцарт-и-сальериевской трактовке литературная жизнь русского Парижа представлена таким образом, будто поэты печатали свои стихи для критиков, а критики из зависти разносили их в пух и прах, втайне ими наслаждаясь. Удивительно, как при подобном отношении к литературе и литераторам Адамович смог снискать репутацию влиятельнейшего критика и на чем в таком случае она зиждилась. Выходит, что Набоков не печатал свои стихи во второй половине 1930-х годов исключительно из убеждения, что их ожидает холодный прием у Адамовича, как будто от критических фельетонов последнего зависела писательская слава Набокова, любое сочинение которого с начала 1930-х годов, будь то роман, эссе, пьеса или стихи,

с восторгом принималось широким кругом его почитателей и охотно печаталось издателями газет и журналов. С другой стороны, если бы Адамович третировал Набокова-поэта из зависти, ничто не помешало бы ему из того же чувства разнести яркие стихи Шишкова. Не стоит забывать и того, что Набоков первым позволил себе резко пренебрежительно отозваться об Адамовиче, тогда уже влиятельном парижском критике и известном поэте: в рецензии на 37-й номер «Современных записок» в январе 1929 года он высказался о нем так: «О двух стихотворениях Адамовича — лучше умолчать. Этот тонкий, подчас блестящий литературный критик пишет стихи совершенно никчемные».²⁰ На эту уничижительную аттестацию последовал скорее мягкий ответ Адамовича в декабре 1929 года: «Сирин дебютировал в литературе как поэт. В стихах его чувствовалось несомненное версификаторское дарование, но иногда не было ни одного слова, которое запомнилось бы, ни одной строчки, которую хотелось бы повторить. Стихи были довольно затейливы, гладки, умны, однако водянисты. Первый роман Сирина, „Машенька“, — мало замеченный у нас, — мне лично показался прелестным <...>. Сразу стало ясно, что к прозе Сирин имеет значительно больше расположения, чем к стихам».²¹ Ошибкою было бы думать, что в их последующем многолетнем противостоянии все дело было в зависти или в обидных шпильках Набокова. Причиной тому была разность их взглядов на искусство, на Пушкина, на Достоевского, на цеховые ценности и коллективное творчество, на место писателя-эмигранта в русской литературе. Ошибкою было бы думать также, что взгляды их были совершенно различными. Адамович хорошо разбирался в поэзии, и Набоков это знал. В стихах Шишкова было что-то такое, что по настоящему тронуло критика и что не было доведено в стихах Сирина. Сама тема ухода, конца, «последних стихов» была близка его мыслям: в эссе 1936 года с красноречивым названием «Немота» Адамович писал об эмигрантской поэзии, что «нельзя отделаться от впечатления, что поэты не пишут, а дописывают», что «дух... уходит из стихов — и „плачет, уходя“».²²

По Бойду также следует, что «Поэты» отличались от других стихотворений Набокова только своим необычным размером (четырёхстопный амфибрахий) и подписью, в остальном же они были ничуть не лучше тех его «прекрасных» стихов, что Адамович не признавал, и что именно подпись и редкий у Набокова стихотворный размер ввели критика в заблуждение. Это предположение оспаривает М. Шраер. Подробно разбирая обстоятельства шишковской мистификации, он справедливо указывает, что не избранный Набоковым в «Поэтах» стихотворный размер обманул Адамовича, который в 1939 году едва ли «мог столь детально помнить весь метрический репертуар Набокова, особенно если учесть, что Набоков, по всей видимости, не публиковал стихов под своим именем с 1935 года»; его очаровала та «удивительная точность и сдержанность», с какой Набоков в этом стихотворении «рассматривает вопросы <...> жизненно важные для эмигрантских кругов».²³

В самом деле, немногие стихотворения Набокова первой половины 1930-х годов, когда производительность его музыки резко пошла на убыль, — «Безумец», «На закате», «Формула», «Вечер на пустыре», «Как я люблю тебя», «Незнакомка из Сены» — замкнуты на личности поэта, обращены к нему самому, его прошлому, его дару. Он спрашивает себя: «Что со мной?», «О чем я думал столько лет?»; он восклицает: «Какой закат!», «Как ты умела глядеть!»; в них есть только «я» и «ты», «они» словно не существуют. И вдруг после почти полной остановки стихотворчества Набоков как будто открывает новый поэтический клапан и сочиняет в январе 1939 года одно из лучших своих стихотворений (и пожалуй, лучшее в отношении оригинальной моторики чередования мужских рифм и дактилических) «Мы с тобою так верили», посвященное И. В. Гессену и впервые подписанное «В. Шишковъ».²⁴

Уже в этих стихах, напечатай Набоков их под именем Шишкова, непросто было бы узнать руку Сирина, и, стало быть, уже тогда, в январе 1939 года, Набоков, если бы хотел, мог поставить свой опыт над Адамовичем. В них с особым нажимом выражен разлад Набокова с самим собой, недовольство своими юношескими сочинениями («до чего ты мне кажешься, юность моя, / по цветам не моей, по чертам недействительной»), тем Сириным, который, по его собственному замечанию, «писал все те же очень правильные стихи».²⁵ В романе «Взгляни на Арлекинов!» Набоков ретроспективно очень точно от имени Вадима Вадимовича N описал суть этого разлада: «В то время у меня, казалось, было две музыки: настоящая, истеричная, искренняя, дразнившая меня летучими обрывками образов и ломавшая руки над моей неспособностью принять чародейство и безумие, даровавшиеся мне, и ее подмастерье, ее девочка с палитрой и эрзац, здравомыслящая малышка, заполнявшая рваные пустоты, оставленные ее госпожой, пояснительной или ритмо-восстановительной мякотью, которой становилось все больше и больше по мере моего удаления от изначального, эфемерного, дикого совершенства. Коварная музыка русских ритмов сулила мне иллюзорное избавление, подобно тем демонам-искусителям, что нарушают черное безмолвие преисподней художника имитациями греческих поэтов и доисторических птиц. Новый и окончательный обман совершался в Чистой Копии, когда каллиграфия, веленевая бумага и китайская тушь на короткое время умасливали мертвые вирши. И подумать только, ведь почти пять лет я вновь и вновь брался за перо и каждый раз попадался на этот трюк, пока не выгнал вон эту нарумяненную, брюхатую, покорную и жалкую подручную».²⁶ Не став публиковать «Мы с тобой так верили», в следующем шишковском стихотворении, «Поэтах», Набоков развил успех, впервые приблизив свои стихи к уровню своей же прозы тех лет. По какой-то причине, имевшей, возможно, отношение к смерти молодого талантливого поэта Б. Поплавского (1935), как предположил М. Шраер, и позднее — Ходасевича и острого ощущения завершенности двадцатилетнего периода русской литературы за рубежом, Набоков отказывается от демонстративного отрицания своей причастности к какой бы то ни было общности; теперь он говорит: «мы уходим», «нас доконали», «пора нам уйти» — под маской Шишкова он вдруг заговорил от имени всех поэтов-эмигрантов. На перемену тона и строя его стихов также повлияла, по-видимому, смерть его матери весной 1939 года, с которой для него были связаны самые первые стихотворческие переживания.

Несмотря на то что к концу 1930-х годов Набоков, по-видимому, уже твердо решил переезжать в Англию или Америку и писать по-английски (в январе 1939 года он закончил свой первый английский роман «Истинная жизнь Севастьяна Найта»), судьбы эмиграции, направления русской литературы продолжали волновать его так же сильно, как и в самые первые берлинские годы. В очерке «О Ходасевиче» он обращается к парижским «поэтам здешнего поколения», предостерегая их от общих мест — «лечебной лирики» или Сены, пишет едкую рецензию на сборник «Литературный смотр» (Париж, 1939), где продолжает свой спор с авторами круга Гиппиус и Адамовича, несколько раз выступает с чтением своих произведений на литературных вечерах (в Париже, Брюсселе, Лондоне). Среди его архивных бумаг 1939—1940 годов есть несколько, показывающих, что в это время он живо откликался на события общественного и даже политического толка. В декабре 1939 года он подписывает вместе с И. Буниним, З. Гиппиус (!), Д. Мережковским, М. Алдановым и другими «Протест против вторжения в Финляндию». В начале 1940 года он пишет «Воззвание о помощи», призывая обратить внимание на «последних русских интеллигентов, вымираю<щих> в одичалой Франции» и «наших бедных эмигрантских детей».²⁷ В июне 1940 года, уже нахо-

дьясь в Нью-Йорке, он пишет очерк «Определения», где называет «Хитлера» «автором бешеной брошюры» и «ничтожеством», а в заключение подводит итог русской эмиграции: «Бедность быта, трудности тиснения, неотзывчивость читателя, дикое невежество средне-эмигрантской толпы — все это возмещалось невероятной возможностью, никогда еще Россией не испытанной, быть свободным от какой бы то ни было — государственной или общественной — цензуры. Употребляю прошедшее время, ибо двадцатилетний европейский период русской литературы действительно завершился вследствие событий, вторично разбивших *нашу* жизнь».²⁸

«Поэты» показывают, что иначе, с иным напором своего искусства и в лучших его традициях Набоков откликнулся и еще на одно печальное событие в жизни русской эмиграции — смерть Ходасевича.

«Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев», — признавался Набоков в «Других берегах», особо выделив из близких ему по духу писателей-эмигрантов одного Ходасевича: «Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему».²⁹ Их сближение, которого не следует преувеличивать, во многом основывалось на общей неприязни к кругу Адамовича, на которого Набоков прозрачно намекает в том же месте своего автобиографического романа, говоря о «влиятельных врагах» Ходасевича³⁰. В действительности они не были особенно близки со времени их знакомства в Париже в 1932 году, редко писали друг другу письма, и к середине 1930-х годов уже начало иссякать то тепло, что возникло между ними в литературных беседах, послуживших, по свидетельству Н. Берберовой, для сцен с Кончеевым в «Даре». Ходасевич игнорировал Набокова-поэта (в его позднем эссе «О Сирине» он ни слова не уделил его стихам), Набоков — его критические работы (в эссе «О Ходасевиче» он посвятил этой части его литературного багажа только две взятые в скобки строчки: «...а критические высказывания Ходасевича, при всей их умной стройности, были ниже его поэзии, были как-то лишены ее биения и обаяния»³¹). Со второй половины 1930-х годов Ходасевич начал охладевать и к набоковскому дару: «Сирин мне вдруг надоел (*секрет от Адамовича*) (курсив Ходасевича. — А. Б.), и рядом с тобой он какой-то поддельный», — писал он Берберовой в марте 1936 года.³² Набокова же начинали утомлять менторство и желчность старшего поэта: «Завтракал я — вчера — у Кянджунцевых, оттуда поехал к Ходасевичу: у него пальцы перевязаны — фурункулы, и лицо желтое, как сегодня Сена, и ядовито загибается тонкая красная губа (а темный, чистенький, узенький костюм так лоснится, что скользко глазам). <...> Владислав ядом обливал *всех* (курсив Набокова. — А. Б.) коллег, как обдают деревца против фил<л>оксеры, Зайцевы голубеют от ужаса, когда он приближается», — писал Набоков жене 3 февраля 1936 года.³³

Однако все эти годы они оставались единомышленниками и продолжали пристально следить за литературными успехами друг друга. За несколько лет до появления «Поэтов» на Набокова произвела сильное впечатление «Жизнь Василия Травникова», прочитанная Ходасевичем на литературном вечере в Париже (10 февраля 1936 года), на котором выступал и Набоков с чтением рассказов. Вот что он писал жене в Берлин: «Вечер же прошел, пожалуй, даже успешнее, чем прошлый раз, публики навалило много (причем валили, пока Ходасевич читал, а читал он очаровательную вещь — тонкую выдумку с историческим букетом и украшенную псевдо-старинными стихами). Я сидел с Буниным (в пальто и касетке, нос в воротнике, боится безумно простуд) и раздобревшим, напудренным Адамовичем...»³⁴ Стихи вымышленного Травникова были, разумеется, написаны Ходасевичем, о собственных стихах которого Адамович однажды заметил, что их узнаешь сразу и без ошибки,

«под ними не нужна подпись».³⁵ Известный своими пушкинскими изысканиями и тщательным «Державиным» (1931), Ходасевич казался вполне надежным историком литературы и не вызывал подозрений. Тонкая выдумка была принята Адамовичем, с которым у Ходасевича были свои счеты по поводу «Чисел», за настоящую архивную находку: «В. Ходасевич прочел жизнеописание некоего Травникова, — писал Адамович в своей урочной рубрике в „Последних новостях“, — человека, жившего в начале прошлого века. Имя неизвестное. В первые 10—15 минут чтения можно было подумать, что речь идет о каком-то чуде, самодуре и оригинале <...>. Но чудак, оказывается, писал стихи, притом такие стихи, каких никто в России до Пушкина и Баратынского не писал: чистые, сухие, лишённые всякой сентиментальности, всяких стилистических украшений. Несомненно, Травников был одареннейшим поэтом, новатором, учителем: достаточно прослушать одно его стихотворение, чтобы в этом убедиться <...>. Надо думать, что теперь историки нашей литературы приложат все усилия, чтобы разыскать, изучить и обнародовать рукописи этого необыкновенного человека».³⁶ Несколько дней спустя, к большому смущению рецензентов, Ходасевич выступил с сеансом саморазоблачения. Автор не скрывал пушкинской генеалогии проделки. Василий Григорьевич Травников был поэтом в той же мере талантливым и неизвестным, в какой Иван Петрович Белкин был талантливым и неизвестным прозаиком. И тем более примечательно, что почтенный критик, вопреки вкусу и здравому смыслу при всяком печатном случае принижавший значение Пушкина³⁷, попался на эту пушкинскую удочку.

Спустя три года после этого литературного вечера Набоков решил раздвоиться в посвященном Ходасевичу номере журнала на всем известном Сирина, поместив эссе «О Ходасевиче», и безвестного Шишкова, поместив там же «Поэтов». Нетрудно представить, насколько острым было его удовольствие, когда тот же Адамович, почти в тех же словах и с той же сумятицей чувств, с какой приветствовал открытие поэта Василия Травникова, выразил свое восхищение стихами Василия Шишкова. «Кто такой Василий Шишков? — скорее восклицал, чем вопрошал Адамович. — Были ли уже где-нибудь стихи за его подписью? <...> В „Поэтах“ Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий их напев, и всюду разбросаны те находки, тот неожиданный и верный эпитет, то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которое никаким опытом заменить нельзя <...> Кто это, Василий Шишков? Откуда он? Вполне возможно, что через год-два имя его будут знать все, кому дорога русская поэзия».³⁸

Кому дорога русская поэзия. Едва ли, впрочем, от Адамовича можно было ждать раскрытия авторства «Поэтов». Сомнительно, чтобы и кто-либо другой из непосвященных мог бы назвать укрывшегося под маской Шишкова автора. К тому времени стихи Набокова почти перестали появляться в печати. Последний сборник его стихотворений («Возвращение Чорба. Рассказы и стихи») вышел в 1929 году, следующий («Стихотворения 1929—1951») выйдет только в 1952-м; собственно, если не считать стихов, включенных в его прозу, например написанных от имени Федора Годунова-Чердынцева в романе «Дар» или от имени Турвальского в пьесе «Изобретение Вальса», в конце 1930-х годов о Сирине-поэте, писавшем, бывало, по несколько стихотворений в день, мало что могло напомнить. О нем стали забывать — тем прочнее, чем ярче разгоралась его слава беллетриста. Примечательно, что уже в 1930 году, после успеха «Защиты Лужина», Набоков, отвергая предложение участвовать в сборнике молодых поэтов, несколько преждевременно заметил: «Я не молод и не поэт».³⁹ Сетуя на небрежность критики в отношении стихов Ходасевича (в посвященном ему очерке), Набоков как будто имел в виду и себя тоже: «Кроме того, он последнее время не печатал стихов, а читатель забывчив, да и критика наша <...> не имеет ни досуга, ни случая

о важном напомнить».⁴⁰ Стоит ли удивляться тому, что Адамович не заметил в «Поэтах» фирменных сириных аллитераций («фосфорные рифмы», «рыданья рекламы», «красы, укоризны», «молчанье зарницы, молчанье зерна»), типично сиринской парадоксальной образности (не глаза привыкают ко тьме, а сама беззвездная ночь «находит свои очертания») и свойственной ему (правда, чаще в прозе, чем в стихах) геммологической метафорике («текучих ее изумрудов»), и пристального внимания к потайным смыслам (те же «изумруды», совершающие образно-смысловое сальто-мортале в седьмой строфе⁴¹), и прописных букв в начале строк, и экономных скобок? И еще много другого; например, как бы призрак кавычек над галлицизмом «добрых людей» (*les bonhommes*), характерный оптический отпечаток в первой строфе, «лунатиков смирных», странным образом напоминающих слова Адамовича из его критического очерка «Сириин» (1934), а именно те строки, где Адамович касается его поэзии: «Лунатизм... Едва ли есть слово, которое точнее характеризовало бы Сирина. Как у лунатика, его движения безошибочно ловки и находчивы, пока ими не руководит сознание, — и странно только то, что в стихах, где эта сторона его литературного дара могла бы, кажется, найти свое лучшее выражение, он рассудочно-трезв и безмузыкален».⁴² Правда, было в этих стихах и нечто новое у зрелого Набокова — мелодраматические многоточия (убранные в последующих изданиях), упоминание «последних стихов», так пришедшихся Адамовичу по душе, потому что были в эсхатологическом ключе «парижской ноты», и, разумеется, редкий у Сирина трехсложный размер, напомнивший критику, очевидно, Лермонтова (например, его «Русалку»), которого он ставил выше Пушкина в довольно надуманном, впрочем, противопоставлении.⁴³

О размере и источниках следует сказать особо. В самых общих своих метрических очертаниях «Поэты» действительно восходили к лермонтовской традиции через посредство символистов, развивших ее, прежде всего Бальмонта и Блока. В отличие от Пушкина, Лермонтов намного чаще пользовался трехсложными размерами — анапестом, дактилем и особенно амфибрахией. К концу 1930-х годов интерес самого Набокова к трехсложным размерам возрос; в стихотворении «Слава», написанном в 1942 году, он называет своим излюбленным размером анапест. В этой связи стоит отметить как бы на полях одно любопытное типологическое родство, состоящее в том, что «увлечение трехсложниками (преимущественно амфибрахией и дактилями)» схожим образом пережил в 1930—1934 годах, то есть когда ему было примерно столько же лет, сколько Набокову в конце 1930-х годов, другой тенишевец — Осип Мандельштам.⁴⁴ Но если стихи Лермонтова (его «Русалку» Набоков пристально разбирал в это время, сочиняя свое продолжение пушкинской «Русалки») и Блока могли быть удаленными метрическими ориентирами «Поэтов», то более близким стала «Баллада» (1921) Ходасевича, написанная, правда, не четырехстопным, как «Поэты», а трехстопным амфибрахией. Об этом стихотворении в своей рецензии 1927 года («Владислав Ходасевич. Собрание стихов») Набоков отозвался с безусловным восхищением. Отметив «поразительную ритмику» и «острую неожиданность образов, оказывающих какое-то гипнотическое действие на читателя», он приходит к мнению, что в «Балладе» «Ходасевич достиг пределов поэтического мастерства».⁴⁵

Стихотворения, насколько нам известно, сопоставительному разбору не подвергались. Вот краткий отчет по этому предмету.

Помимо метрики «Поэты» сближаются с «Балладой» и тематически. У Ходасевича описывается состояние поэта, когда в момент отчаяния его вдруг посещает вдохновение и «косная, нищая скудость» жизни отступает, сменяясь страстной речью и музыкой, предвещающей сочинение стихов: «Бес-связные, страстные речи! / Нельзя в них понять ничего, / Но звуки правдливее смысла / И слово сильнее всего». Медленно нарастающее напряжение

этих стихов настолько поглощает внимание и «околдовывает слух», что не сразу замечаешь своеобразие их — например, холостые строки или то, как точно шестая переломная строфа делит стихотворение на две равные части, на два крыла, по пять строф в каждом. Образный переход в «Балладе» совершается от безмолвия, косности и неподвижности (дважды повторенный глагол первого лица «сизжу») к движению, дважды повторенному «пению», к «вращательному танцу». Ключевая шестая строфа (после которой происходит смена ритмического рисунка) содержит и единственное утверждение стихотворения: «Но звуки правдивее смысла / И слово сильнее всего». Этому утверждению, с его библейским подтекстом, в «Поэтах» Набокова отвечают строки: «...пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, — / а может быть проще: молчанье любви...» Набоков как будто соглашается с тем, что «слово сильнее всего», но переводит заемную максиму Ходасевича в личностный план: отрешенье от русского слова, родной речи (в начале 1939 года Набоков закончил свой первый английский роман), а также смерть поэта как молчание, замирание напева (позднее эта метафора будет развита Набоковым в английском стихотворении «The Room» («Комната»), о поэте, умирающем в одиночестве в номере отеля). Как в «Балладе» повторяется тема пения, музыки, звуков, противостоящих косности, скудости жизни, так в «Поэтах» повторяется тема молчания, отрешенья от слова, невысказанности, этой скудостью обусловленной («но музы безродные нас доконали»). С другой стороны, в «Поэтах» переход «с порога мирского» (из эмпирических сеней, по созвучию соотнесенных с парижской Сенной, в потусторонность), как кажется, полемически обращен к «безвыходной жизни» alter ego «Баллады». В то время как «Баллада» начинается с описания пассивности и замкнутости («Сизжу, освещаемый сверху, / Я в комнате круглой моей»), в зачине «Поэтов» говорится о движении и выходе «из комнаты», чему отвечает в предпоследней строфе метафорический переход «с порога мирского / в ту область», для которой Набоков подбирает слова: «пустыня», «смерть». У Ходасевича в первой строфе подчеркивается убожество и искусственность обстановки комнаты: «Смотрю в штукатурное небо / На солнце в шестнадцать свечей», у Набокова в первой строфе лирический герой покидает комнату (свеча гаснет) и оказывается в естественной среде, во мраке «беззвездной ночи», который идентичен, очевидно, той идеально черной вечности, о которой Набоков говорит в самом начале «Других берегов». (Попутно здесь следует отметить этот частный и частый у Набокова многосоставный образ — жизни, времени, человеческого тела как дома, жилища, повторяемый им из стихотворения в стихотворение, из пьесы в пьесу, из романа в роман.⁴⁶) «Штукатурное небо» «Баллады» становится «высоким небом» в «Поэтах», шестнадцать электрических свечей — настоящей колеблемой свечой. К этой же группе образов, связанных со светом и мраком, домом и «той областью», относится и самая яркая аллитерация стихотворения — «на фосфорных рифмах», так запомнившаяся Адамовичу: слово «фосфор» происходит от греческого «светоносный», что возвращает нас и к гаснущей свече и к самой русской поэзии, русскому слову («с последним, чуть зримым сияньем России»), сохраненному в сенях эмиграции вопреки наступившей на родине тьме. Последние стихи, последняя попытка «донести тебя, чуть запотелое / и такое трепетное, в целости» («Вечер на пустыре», 1932) ввиду «молчания отчизны» и беззвездной европейской ночи. Неслучайным представляется в этой связи и повтор эпитета «текущие звезды» из «Баллады» в описании рекламных огней у Набокова: «текучих ее изумрудов»; образ, который подспудно, скорее на интуитивном уровне, выдает размышления самого автора о смерти (изумрудов), как и «сумерки» в предыдущей строфе.⁴⁷

Кроме этих завуалированных образно-тематических и метрических переключек с «Балладой» имеются в шишковских «Поэтах» отсылки и к другим

произведениям Ходасевича и даже к его собственному имени. Так, последняя строка «Поэтов» («молчанье зарницы, молчанье зерна») прямо указывает на сборник Ходасевича «Путем зерна» (1920), с его евангельским подтекстом о пшеничном зерне, а характерное определение «*беззвездная* ночь» в первой строфе (в стихах Набокова как будто больше не встречающееся), возможно, призвано напомнить стихотворение Ходасевича «Смотрю в окно — и презираю...» (из того же сборника «Тяжелая лира», что и «Баллада»), в котором находим: «Один *беззвездный* вижу мрак». ⁴⁸ Этот эпитет у Ходасевича, в свою очередь, отсылает к началу первой главы «Возмездия» Блока: «Тобою в мрак ночной, беззвездный / Беспечный брошен человек». Подпись «Василий Шишков», как уже было сказано, призвана была напомнить помимо прочего о поэте Василии Травникове. Наконец, как пронизательно заметил А. Долинин, в первой, несколько искусственной, строке «Поэтов», а именно в двух словах «свеча переходит», содержится анаграмма имени самого поэтического визави Набокова — «Ходасевич». ⁴⁹ Черновик стихотворения «Поэты», о котором подробнее речь впереди, подтверждает правильность этого замечания, поскольку изначально первые строки у Набокова были иными: «Пора, мы уходим, склоняется пламя / и гаснет...»; Набоков зачеркнул их и сверху написал окончательный вариант. Кроме того, первая строка «Поэтов» отсылает к началу стихотворения Ходасевича «Путем зерна»: «Проходит сеятель по ровным бороздам...», с заключенной в ней неполной анаграммой имени его автора.

Так, воздавая должное ушедшему поэту, Набоков не только связал свой новый псевдоним с именем выдуманного Ходасевичем Травникова, не только различными способами зашифровал предмет своего панегирика в образно-тематической ткани текста, вводя многочисленные отсылки к «Балладе» и имени ее автора, но еще и самый размер выбрал с оглядкой на нее (удлинив на стопу трехстопный амфибрахий Ходасевича); возможно, именно поэтому он и не называл в поздних автокомментариях к «Поэтам» имени Ходасевича — чтобы не отказывать читателю в удовольствии самому обнаружить все это. (Хотя иной может и возразить: а не переоценил ли он прозрачность и прочность такой необычной гробницы?)

Всех этих тонкостей Адамович не мог предполагать в стихах неизвестного Шишкова. Едва ли он мог бы заметить и то, что с другой, внутренней, стороны «Поэты» 1939 года переключались с ранним стихотворением Набокова с тем же названием, вошедшим в сборник «Горний путь» (1923). В этих стихах, написанных еще в Кембридже, иной метрический строй, иная интонация (но не тональность) и близкий образно-тематический ряд: «еще иссякнуть не успев» (в 1939 году: «со списком еще не приснившихся снов»), «наш замирающий напев» (в 1939 году: «отрешенье от слова», «молчанье»), «нам так невесело и тесно» (в 1939 году: «но музы безродные нас доконали»), «перья розовой зари» (в 1939 году: «укоризна вечерней зари») и, наконец, тот же центральный мотив ухода: «...что мы уходим навсегда...» ⁵⁰ Выбор названия для стихотворения 1939 года, вероятно, объясняется желанием Набокова связать их с этим ранним опытом, чтобы показать ту эволюционную пропасть, что отделяла теперь стихи молодого В. Сирина от стихов зрелого Набокова.

Когда любопытство зрителей достигло высшей точки, по всем правилам драматургии на сцене появился лично Василий Шишков. Рассказ с его именем в заглавии был опубликован в «Последних новостях» — то есть даже слишком на виду, так как именно в этой газете Адамович вел свое ежене-

дельное литературное обозрение. В этом коротком рассказе, почти лишенном развития и того, что можно назвать повествовательной ретро- и перспективой (что выделяет его из ряда поздних русских рассказов Набокова, тяготеющих к более крупной форме, — «Весна в Фиальте», «Истребление тиранов», «Лик»), сюжет сосредоточен на таинственной судьбе молодого поэта Шишкова, недавно перебравшегося в Париж и вскоре бесследно исчезающего. Зачин рассказа отсылает к первой, воображенной встрече Федора Годунова-Чердынцева с Кончеевым в «Даре» (литературное собрание, в перерыве два поэта покидают зал, их диалог), только теперь в роли известного автора выступает рассказчик, а в роли начинающего поэта — неизвестный Шишков. Как и в «Даре», собеседник рассказчика — поэт и фигура вымышленная, а сам рассказчик, как и Федор Годунов-Чердынцев, не полностью отождествляется с автором, хотя и прямо назван в английском переводе рассказа «господином Набоковым». Следующая их встреча, эскизно начертанная в рассказе, начинается с розыгрыша: Шишков дает рассказчику прочитать тетрадь своих стихотворений, которые оказываются бездарными, о чем рассказчик прямо говорит ему. «Стихи были ужасные — плоские, пестрые, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмотностью рифм».⁵¹ Шишков признается, что это была фальшивая тетрадь, нарочно заполненная графоманскими стихами. После этого он предлагает ему свой «настоящий паспорт» — тетрадь со своими настоящими, очень сильными стихами, среди которых и известные нам «Поэты». Этот «невинный обман» понадобился Шишкову, как он поясняет, чтобы удостовериться в беспристрастности суждений рассказчика — и здесь как будто обыгрывается ситуация с Адамовичем: как Шишков добивался откровенного мнения рассказчика о своих стихах, так и Набоков, предъявив «Поэтов», свои «настоящие» стихи, услышал наконец беспристрастное суждение критика. Причем собственное мнение Шишкова о книгах рассказчика, которое он высказывает с той же откровенностью, на которую рассчитывал в отношении своих стихов, представляет собой смесь критических высказываний о «пустоте», «бессодержательности» и ловкой «искренности» набоковской прозы, к концу 1930-х годов уже ставших общим местом на поверхностных оценках Набокова.

Вот что говорит Шишков рассказчику в их вторую встречу в холле гостиницы: «Кстати, во избежание недоразумений, хочу вас предупредить, что я ваших книг не люблю... Вы обладаете, *чисто физиологически*, что ли, какой-то тайной писательства, *секретом каких-то основных красок*, то есть чем-то исключительно редким и важным, которое вы, к сожалению, *применяете по-пустому*, в небольшую меру *ваших способностей*... разъезжаете, так сказать, по городу на сильной и совершенно вам *ненужной* гоночной машине и все думаете, куда бы еще катнуть...» А вот что писала о Набокове З. Гиппиус несколькими годами ранее (переключки выделены курсивом): «В так называемой беллетристике еще обольщает порою, у того или другого литератора, его *специальная способность*, словесная и глазная. За *умение* приятно и красиво соединять слова, „*рисовать*“ ими видимое, мы по привычке называем такого находчивого человека „*талантивым писателем*“. <...> К примеру назову лишь одного писателя, из наиболее способных: Сирина. Как великолепно умеет он говорить, чтобы сказать... *ничего!* Потому что *сказать* ему — *нечего*».⁵² Сходные отзывы находим и у «монпарнасца» В. Варшавского: «Именно какое-то несколько даже утомительное избытие *физиологической* жизненности поражает... в Сирине. Все чрезвычайно сочно и *красочно*... Но за этим... *пустота*... Как будто бы Сирин пишет не для того, чтобы назвать и сотворить жизнь, а в силу какой-то *физиологической потребности*».⁵³ И наконец, у Адамовича: «Сиринская проза напоминает китайские тени: фон ров-

ный, белый, ничем не возмущенный и не взбаламученный, а на нем в причудливейших узорах сплетаются будто бы люди, будто бы страсти, будто бы судьбы. Попробуйте взглянуть в промежуток, в щелины, в то, что зияет между ними: *там ничего нет*, там глаз теряется *в... пустоте*; «Некоторые его страницы вызывают *почти физическое удовольствие*, настолько все в них крепко спаяно и удачно сцеплено...»⁵⁴ Стоит обратить внимание на почти буквальное сходство в определениях у Шишкова и критиков Набокова: «чисто физиологически» и «физиологическая потребность», «по-пустому» и «в пустоте», «секрет каких-то основных красок» и «специальная способность рисовать». Таким образом, Набоков ставит Шишкова в один ряд со своими хулителями, то есть создает между собой и своим героем максимально возможную дистанцию, намного дальше той, что отделяет Годунова-Чердынцева от Кончеева («На всякий случай я хочу вас предупредить, — сказал честно Кончеев, — чтобы вы не обольщались насчет нашего схождения: мы с вами во многом различны, у меня другие вкусы, другие навыки...»); и при этом Шишков в своей оценке не касается почему-то стихов рассказчика, что было бы естественно, когда речь идет о поэзии, а говорит о его прозе, о его романах, словно поддерживая тем самым общее мнение, что поэзия к концу 1930-х годов стала у Набокова чем-то второстепенным, незначительным — мнение, вопреки которому Набоков и создал этого самого Шишкова.

В рассказе находит продолжение и развитие тема «ухода», «конца», начатая в «Поэтах», и связанная с ней тема неприятия подпорченной яви. В стихах Набоков от имени Шишкова говорит: «Нам просто пора, да и лучше *не видеть* / всего, что сокрыто от прочих очей: / *не видеть* всей *муки* и прелести мира...» В рассказе Шишков, по сути, повторяет то же другими словами: «...ведь вы сами *видите*, — может с другого бока, но все-таки должны *видеть*, — сколько всюду *страдания*, кретинизма, мерзости, — а люди моего поколения ничего не замечают...» В последнюю их встречу Шишков перебирает и последовательно отбрасывает различные способы своего удаления (в том числе за поэтической ненадобностью для его создателя Набокова): отъезд в Африку, в Россию, уход в монастырь, самоубийство, и останавливается на единственном чистом решении — «исчезнуть, раствориться». Он не поясняет, как исчезнуть, в чем раствориться, и вскоре он действительно исчезает, оставив рассказчику до востребования только свой «настоящий паспорт» — тетрадь стихов (а настоящие стихи всегда пишутся *poste restante*), одно из которых рассказчик и публикует в журнале — «Поэты».

Примечательно, что этот метафорический уход Шишкова придуман Набоковым как будто для того, чтобы еще раз провести полемическую параллель с высказываниями Адамовича. Как нам представляется, он навеян одним из самых известных критических очерков Адамовича «О литературе в эмиграции» (1931), где критик походя задевает Набокова и где речь идет как раз о противостоянии искусства и жизни: «...у наших здешних беллетристов, испуганных, вероятно, всем тем, что в мире произошло, чувствуется желание самоокопаться, уйти в свой улиточный домик — и мало у них творческого „альтруизма“, готовности собой пожертвовать. Один из них мне на днях признавался: „если я буду писать о внешнем, я в нем *растворюсь*, я *перестану существовать*...“ Можно было возразить: в таком случае и не стоит вам существовать, ибо лишь то в человеческой <жизни> ценно, что выдерживает испытания жизнью и не уничтожается. И невольно вспомнились мне слова Блока — из письма к начинающему поэту: „раскачитесь выше на качелях жизни...“».⁵⁵ Почти теми же словами Шишков в рассказе Набокова говорит о своем желании «исчезнуть, раствориться», он как будто не выдерживает испытания жизнью со всем ее «страданием, кретинизмом и мерзостью», он не хочет больше качаться на качелях жизни. Если это так,

то есть если Набоков предполагал в рассказе дискуссию с Адамовичем о пресловутой башне из слоновой кости, он как будто утверждает, что его Шишкову все же стоит существовать и что, с другой стороны, уход от «внешнего» мира для писателя не только возможен, но порой и желателен.

Оторванность Набокова от насущных проблем — лейтмотив критики Адамовича и его круга. О том же говорит рассказчику и Шишков, излагая ему идею своего журнала «Обзор Страдания и Пошлости»: «Конечно, я не обольщаюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне кажется, идея моего журнала вас заинтересует со стилистической стороны...» Парадокс состоит в том, что вопрос стили и приключения духа на фоне «дуры-истории» — это, по Набокову, и есть главные мировые проблемы. В своих поздних русских книгах, и особенно ярко в «Приглашении на казнь», Набоков все острее и безжалостней трактует тему противостояния художника и обывателя. Миру, воспринимаемому в категориях социально-временных, миру общедоступных чувств и отношений он противопоставляет многомерную картину, где «реальность» имеет различные подотделы и секретные линии связи, и предлагает свой уникальный взгляд на вещи, сочетающий строгий научный подход со страстным исканием сверхчувственного опыта, к которому он относил и искусство. В своем позднем эссе «О Сирине» (1937), обобщившем многое из того, что было замечено им о Набокове ранее, Ходасевич одним из первых обратил внимание на эту особенность его мировоззрения: «Сирину свойственна сознаваемая или, быть может, только переживаемая, но твердая уверенность, что мир творчества, *истинный мир художника*, работой образов и приемов создан из кажущихся подобий реального мира, но в действительности из совершенно *иного материала*, настолько иного, что переход из одного мира в другой, в каком бы направлении ни совершался, подобен смерти. Он и изображается Сириным в виде смерти».⁵⁶ Однако, каким бы справедливым ни было это замечание *sensu lato*, переход из одного мира в другой у Набокова не всегда изображается в виде смерти — по-видимому, как и жизнь, смерть у него не одинакова для всех, точнее иная для *иных*. Не потому ли в «Поэтах», как и в рассказе об их авторе (а позднее и в английском стихотворении «Комната»), Набоков, твердо веря в то, что поэт «умирает не весь», не может назвать того, что происходит с ним, когда он отрешается от «популярной реальности» (плеоназм из набросков к продолжению «Дара») и подбирает различные эвфемизмы для непостижимой метаморфозы: «Сейчас переходим с порога мирского / в ту область... как хочешь ее назови: / пустыня ли, смерть, отрешенье от слова...?»

За несколько дней до смерти Ходасевича Набоков писал жене из Лондона об одном из своих самых поразительных случаев ясновидения: «Сегодня был разбужен необыкновенно живым сном: входит Илюша (И. И. Фондаминский. — А. Б.) (кажется, он) и говорит, что по телефону сообщили, что Ходасевич „окончил земное существование“ — буквально».⁵⁷ Взятые в кавычки слова сложены так, что оставляют возможность для презумпции некоего другого, *неземного* существования, даже наталкивают на мысль об этом, по-новому освещая всю историю с публикацией «Поэтов» (особенно ту ее сторону, где физическое событие смерти поэта превращается в метафизический «переход» «в ту область») и напоминая парадоксальное утверждение Фальтера («Ultima Thule», 1939—1940) о том, что «мы с вами все-таки смертны, но я смертен *иначе*, чем вы». Это сновидческое сообщение (Набоков, конечно, знал, что Ходасевич тяжело болен: в «Камер-фурьерском журнале» последнего отмечено, что за несколько дней до помещения в госпиталь к нему приходил Набоков — не приняли) тем более поразительно, что в «Даре» сборник стихотворений Кончеева носит название «Сообщение», а Мортус (*лат.* «мертвец») в третьей главе характеризует его как «пьески о полусонных видениях».⁵⁸

Все это не могло пройти бесследно для Набокова, который очень серьезно относился к такого рода «совпадениям». Предсказанная им смерть Ходасевича могла помимо прочего вновь обратить его к образу Кончеева и повлиять на сюжет «второго тома „Дара“», в котором, если судить по наброскам, центральным событием становится смерть жены героя — Зины, а Кончеев впервые появляется «во плоти», хотя и под другим именем. В образе Василия Шишкова Набоков как будто вновь обращается к фатально-несчастливому герою «Дара» Яше Чернышевскому, молодому поэту, окончившему жизнь самоубийством, чтобы предложить иное развитие темы судьбы и сказать, что гробница хотя и «прочна», но «прозрачна» (в первой главе «Дара»: «...загородка, отделявшая комнатную температуру рассудка от <...> призрачного мира, куда перешел Яша, вдруг рассыпалась, и восстановить ее было невозможно...»). Работая в 1939 году над «романом призрака»⁵⁹ (скорее всего, речь идет о «Solus Rex» или продолжении «Дара»), Набоков, возможно, предполагал описать форму существования — «существенности вопреки», некую посмертную метаморфозу созидающего духа, нечто подобное тому, что происходит (без подробностей) с Дандилио в «Трагедии господина Морна» и с Цинциннатом в самом конце «Приглашения на казнь». О главенстве темы смерти у Набокова очень пронизательно написал тот же Адамович в 1936 году: «Сирин все ближе и ближе подходит к теме действительно ужасной: к смерти... Без возмущения, протеста и содрогания, как у Толстого, без декоративно-сладостных безнадежных мечтаний, как у Тургенева в „Кларе Милич“, а с непонятным и невероятным ощущением „рыбы в воде“... И тот, кто нас туда приглашает, не только сохраняет полное спокойствие, но и расточает все чары своего необыкновенного дарования, чтобы переход совершался безболезненно».⁶⁰ (Эти слова, сказанные за сорок лет до набоковской «Лауры», вполне могли бы пригодиться для рецензии на ее недавнюю скандальную — в исконном значении слова — публикацию.) Отметим между прочим неслучайную, по-видимому, перекличку этого «перехода» и в эссе Ходасевича, и в заметке Адамовича со строками «Поэтов»: «Сейчас переходим с порога мирского...»

Отвергнутое Шишковым самоубийство как один из способов «прервать», «уйти» имело прямую тематическую связь с ранним — отвергнутым — вариантом «Поэтов». В недатированном черновике стихотворения, хранящемся в архиве Набокова в Нью-Йорке и подписанном «Василий Власов», после строфы, которой в окончательном виде стихотворение завершалось, была еще одна, десятая строфа, перечеркнутая Набоковым.

Прежде чем обратиться к этим отставленным, но не уничтоженным стихам с их отчетливыми водяными знаками, необходимо сделать небольшое отступление об их подписи. Псевдоним «Василий Власов» у Набокова больше нигде не встречается, как нет у него и героев с этим именем, в отличие от Шишкова, фамилию которого носит герой рассказов «Обида» и «Лебеда». Перед публикацией «Поэтов» Набоков заменил «Власова» на «Шишкова», но оставил то же имя Василий, что говорит о его особой важности. Что же оно значило для Набокова? Фамилию Шишкова носила в девичестве прабабка Набокова по отцовской линии баронесса Нина Александровна фон Корф, Василием был назван прадед Набокова по материнской линии Рукавишников, сибирский золотопромышленник. Однако Набоков, выбирая псевдоним для «Поэтов», имел в виду, по-видимому, другого Василия Рукавишникова — брата своей матери. Со стороны матери это был у Набокова единственный близкий родственник, сделавший любимого племянника наследником (он умер сорока пяти лет от роду в 1916 году) своего миллионного состояния и имения Рождествено. В «Других берегах» Набоков посвятил ему несколько лучших страниц, еще раньше он отразил его черты в образе писателя Севастьяна Найта. В этом чудаковатом, неуживчивом

и несчастливом человеке Набоков задним числом видел близкую себе писательскую и даже поэтическую натуру: «...терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука — как звали его друзья-иностранцы — отдал мучительную дань осенним краскам...»⁶¹ Упомянутая в «Других берегах» подробность об участии дяди Василия в лисьих охотах в Италии есть и в начале «Севастьяна Найта», где, описывая знакомство родителей Севастьяна, Набоков сообщает, что «Их первая встреча была как-то связана с охотой на лисиц в Риме».⁶² Как Севастьян Найт, Василий Иванович почти не использовал русский язык, как и он, имел обыкновение ложиться навзничь на пол, страдал сердечной болезнью и умер от грудной жабы «совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем».⁶³ Набоков завершает «Истинную жизнь Севастьяна Найта» в январе 1939 года и тогда же сочиняет стихи «Мы с тобою так верили», впервые подписывая их псевдонимом Василий Шишков, в котором совмещает обе свои родственные линии — материнскую (Василий) и отцовскую (Шишков).

Финальное исчезновение Севастьяна Найта, его не то полуприсутствие, не то полуотсутствие в этом мире, фатальная неустроенность в нем, схожим образом повторяется в судьбе Василия Шишкова. В сохранившейся десятой строфе «Поэтов», как и в рассказе, отбрасывалась мысль о самоубийстве, взамен которого поэту предлагается «исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах», заменив глухое «тут» на волшебное «там» созданием собственного мира, со своим кругом героев и собственной развязкой:

Прощай же, перо! А грядущим поэтам
давай пожелаем всю ночь выбирать
меж бездной двора и тупым пистолетом —
и поутру чистую выбрать тетрадь.

Заманчиво было бы предположить, что по изначальному замыслу Набокова «Поэты» и рассказ о Шишкове должны были составлять некое художественное целое, дополняя одно другое или противореча друг другу, как поэма Шейда и примечания Кинбота. Но это, скорее всего, не было так хотя бы потому, что рассказ был инспирирован благожелательным отзывом на стихи заклятого критика и только через месяц после этого с целью продлить удовольствие напечатан. Несомненно другое — стихи «Власова» должны были напомнить читателю финал «Дара», продолжение которого Набоков обдумывал как раз в 1939 году, когда сочинил «Поэтов»; причем из сопоставления двух метрически различных, но тематически, синтаксически и лексически близких строф на ум приходит мысль о том — пушкинском — направлении, в котором удаляется всякий истинный поэт у Набокова:

Прощай же книга! Для видений —
отсрочки смертной тоже нет.
С колен поднимется Евгений, —
но удаляется поэт.

В романе эти стихи написаны в строчку — и тот же прием Набоков использует в рассказе «Василий Шишков», взяв в кавычки его последние, по видимому, принадлежащие Шишкову (как предположил М. Шраер), поэтические строки: «прозрачность и прочность </> такой необычной гробницы». В английском переводе рассказа эти строки подаются уже как двустишие. Вероятно, именно оттого, что приведенная нами последняя строфа «Поэтов» слишком открыто указывала на «Дар» и его автора, Набоков и вычеркнул ее. По той же причине, судя по всему, он заменил В. Власова на В. Шишкова,

так как инициалы первого, В. Вл., выдавали настоящего автора стихов с головой. Кроме того, «Шишков» ему нужен был помимо всего прочего для заключительной меандры изящной виньетки, связывающей «Поэтов» с Ходасевичем и Пушкиным, стихи которого «К морю» (1824) подразумеваются в концовке «Дара» и в десятой строфе «Поэтов». Мы имеем в виду следующий катрен:

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красоты
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

Написанное на смерть Байрона, умершего в апреле 1824 года, это стихотворение было напечатано в IV части альманаха «Мнемозина»; подобным образом, поместив «Поэтов» в «Современных записках» (здесь важная параллель к названию пушкинского «Современника»), поступил и Набоков по отношению к Ходасевичу. Сравнивая Байрона со «свободной стихией» («Он был, о море, твой певец. / <...> / Как ты, могущ, глубок и мрачен, / Как ты, ничем неукротим») Пушкин использует двусмысленность персонификации, чтобы, говоря о море, попрощаться с Байроном: «Прощай же, море!» Его слова «И долго, долго слышать буду / Твой гул в вечерние часы» относятся, таким образом, и к Черному морю, у берегов которого он находился в одесской ссылке, и к стихам Байрона. Другой запоминающийся образ в девятой строфе, относящийся уже к острову Святой Елены и умершему там Наполеону, — «Одна скала, гробница славы...» — мог отразиться в концовке «Василия Шишкова», поскольку стихи, оставшиеся от исчезнувшего изгнанника Шишкова, — это его прочная гробница славы.

В начале своего очерка о Ходасевиче Набоков называет его «крупнейшим поэтом нашего времени» и «литературным потомком Пушкина по тютчевской линии». Намеренно или нет, он только повторяет слова одного рецензента по поводу его собственных стихов (сборник «Гроздь»): «Сирин — один из последних *потомков* знатного рода. За ним стоят великие деды и отцы: и Пушкин, и Тютчев, и Фет, и Блок».⁶⁴ Это была бы слишком грубая мысль, что со смертью поэта и пушкиниста Ходасевича Набоков полагал себя единственным из оставшихся законных наследников Пушкина, и все же она не лишена резона. Ведь и избранный Набоковым новый псевдоним должен был помимо прочего напомнить о царском ельском товарище Пушкина и дальнем *родственнике* Набокова, нелюбимом племяннике академика А. С. Шишкова Александре Ардалионовиче Шишкове (1799—1832), тоже поэте, которому Пушкин посвятил известное послание в стихах и к которому пророчески писал из Одессы: «Впрочем, судьба наша, кажется, одинакова, и родились мы, видно, под единым созвездием». В том же письме он его спрашивает: «Что стихи? куда зарыл ты свой золотой талант? под снега ли Эльбруса, под тифлисскими ли виноградниками? Если есть у тебя что-нибудь, пришли мне — право, сердцу хочется».⁶⁵ После его трагической смерти (он был зарезан на улице неким А. П. Черновым, с которым собирался драться на дуэли) Пушкин хлопотал об издании его сочинений — история, повторенная Набоковым в рассказе с публикацией стихов исчезнувшего В. Шишкова.

Это постоянное — тайное и явное — присутствие Пушкина выполняло у Набокова некую охранительную функцию, с одной стороны, удерживая его на самой высокой точке искусства и вдохновляя его чисто пушкинской идеей совершенства, а с другой — отлучая отступников от избранного им источника. «Не трогайте Пушкина, — одергивает Годунов-Чердынцев в „Даре“ поэта Кончеева, когда тот заикается о слабостях неоконченной пушкинской „Русалки“. — Это золотой фонд нашей литературы». Резкость тона объясня-

ется настойчивыми попытками эмигрантских критиков, и особенно Адамовича, принизить значение Пушкина или хотя бы указать на его «слабости». ⁶⁶ Вопреки им Годунов-Чердынцев в набросках к продолжению «Дара» дописывает пушкинскую «Русалку» в военном Париже и под вой сирен читает свое окончание Кашееву (или Кошееву) — как по-новому назван у него Кончеев после смерти его прототипа — Ходасевича. ⁶⁷

Ходасевич не был единственным, по-видимому, прототипом Кончеева. Обычно Набоков смешивал черты нескольких человек в своих персонажах, как, например, в Жоржике Уранском («Пнин») он соединил двух Георгиев — Иванова и Адамовича. Противопоставляя в «Даре» Годунова-Чердынцева и Кончеева Христофору Мортусу, в котором находили также черты З. Гиппиус ⁶⁸, Набоков отобразил действительное противостояние Ходасевича и свое собственное с кругом Адамовича, Иванова, Гиппиус и Оцуца. Подтверждением умышленности фиксации в «Даре» этой расстановки сил служит признание Набокова в 1962 году в предисловии к английскому переводу «Дара», что он отразил в Кончееве некоторые собственные черты. Любопытно, что в разговоре Годунова-Чердынцева с Кашеевым о «Русалке» последний упоминает Ходасевича — как если бы Василий Шишков упомянул бы где-нибудь Набокова:

Г<одунов-Чердынцев>: „Меня всегда мучил оборванный хвост «Русалки», это повисшее в воздухе опереточное восклицание: «Откуда ты, прекрасное дитя?» [«А-а! Что я вижу...» — как ласково и похабно тянул Х ⁶⁹, вполпьяна, завидя хорошенькую.] ⁷⁰ Я продолжил и закончил, чтобы отделаться от этого раздражения“.

К<ашеев>: „Брюсов и Ходасевич тоже. Куприн обозвал В<ладислава> Ф<елициановича> нахальным мальчишкой — за двойное отрицание“ ⁷¹

Г<одунов-Чердынцев> читает свой конец.

К<ашеев>: „Мне только не понравилось насчет рыб. Оперетка у вас перешла в аквариум. Это наблюдательность двадцатого века“.

Отпускные сирены завывли ровно.

К<ашеев> потянулся: „Пора домой“.

Г<одунов-Чердынцев>, держа для него пальто: „Как вы думаете, *донесем*, а?“

К<ашеев>, напряженным русским подбородком прижимая шарф, исподлобья усмехнулся:

„Что ж. Все под немцем ходим“.

(Он не совсем до конца понял то, что я хотел сказать.) ⁷²

На этом пушкинском «*продолжении*» в неосуществленном втором томе «Дара» должна была закончиться эмигрантская глава биографии Сирина. Ему суждено было «в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле» «исчезнуть», «раствориться» в своих книгах, а Набокову, совершив мучительную метаморфозу, возникнуть вновь в образе американского писателя. С «В. Сириным» было покончено, но «В. Шишков», под чьим паспортом он перешел в эту новую область, умолк не окончательно.

На этом наш пространный комментарий к «Поэтам» с вылазками в сои запредельные области можно было бы и закончить: критик проучен, герой увенчан, поэт удалился, когда бы вопреки апофеозу и падению занавеса у этой истории не следовало продолжение.

«Было бы очень жаль, если бы беглец Шишков оказался существом метафизическим, — писал Адамович после выхода рассказа, все еще не желая верить, что все это придумал Сирин. — Было бы большой отрадой узнать

другие его сочинения и убедиться, что умолк он не окончательно».⁷³ Как бы в ответ на эту просьбу Набоков в марте 1940 года публикует второе стихотворение из «хорошей» шишковской тетради («Обращение») и затем сочиняет еще два, подписывая их именем Василия Шишкова, которых Адамовичу узнать уже не пришлось.

Сохранившиеся в нью-йоркском архиве Набокова неизвестные стихотворения «Василия Шишкова» не датированы. Однако одно из них, как следует из его содержания, было написано уже в Америке, по меньшей мере два года спустя после появления «Поэтов».

Не знаю, чье журчанье это —
ручьев, сверчков, зверей ночных...
Вся ночь поет взамен ответа
волненью дум заповедных.

Как быть? Поверить ли, что правом
на битву преображена,
в сей битве с варваром кровавым,
подобной праведным державам
вдруг стала грешная страна?

Иль говорок избрать особый,
шутить, чтоб не сойти с ума...
В садах, впотьмах, в боях... должно быть <,>
журчанье это — жизнь сама.

Иль уповать с любым бараном,
что чуждые полки пробьют
историю своим тараном
и бравый царь с лицом румяным
из бреши выйдет тут как тут?

Иль возопить: восстань, Россия,
и двух тиранов сокруши!
— Мессия... как еще? «стихия»,
о, бедные мои, немые,
не мыслящие камыши...

Как вас там гнет, и жжет и ломит,
в каком дыму, в аду каком...
Тих океан и тихо в доме,
я ничего не слышу, кроме
журчанья ночи за окном.

Вас. Шишков

Стихотворение написано чернилами на листе бумаге с черновиком этого же стихотворения, без деления на строфы. Вариант строк в пятой строфе: «о, бедные мои, родные»; вариант последних строк: «я ничего не слышу, кроме / неровной рифмы под пером».

Вероятнее всего, это стихотворение было написано вскоре после нападения Германии на СССР. Предположение исходит из биографических сведений: 26 мая 1941 года Набоковы выехали из Нью-Йорка на автомобиле в Калифорнию и прибыли в Пало-Альто 14 июня. Там они сняли дом рядом с кампусом Стэнфордского университета, недалеко от тихоокеанского залива, где прожили до 11 сентября 1941 года⁷⁴ и где, следовательно, узнали о начавшейся войне с Россией. Это было первое путешествие Набокова к побережью Тихого океана, полное энтомологических радостей и дорожных

впечатлений, вошедших впоследствии в «Лолиту». В последней строфе, в словах «Тих океан» Набоков завуалированно указал на место их сочинения — на другом берегу континента, у вод Тихого океана. Таким образом, место и время появления этого нового стихотворения Василия Шишкова предположительно устанавливаются следующие: Пало-Альто, июнь—сентябрь 1941.

Стихотворение продолжает линию гражданской лирики в двух первых опубликованных стихотворениях Шишкова, с их обращением к России, и вновь вызывает в памяти пушкинские мотивы (заявленные, как мы помним, уже в самом выборе псевдонима): строчка «В садах, впотьмах, в боях...» напоминает пушкинское «И где мне смерть пошлет судьбина? / В бою ли, в странствии, в волнах?» («Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 1829).

Другое сохранившееся стихотворение Шишкова (время и место сочинения которого определить не удалось) возвращает нас к истории с неожиданным появлением и исчезновением поэта в рассказе Набокова:

Нет, я не тень, я существую
существенности вопреки!
Еще плывущую, живую,
я отнимаю у реки.

Дыханье музыки спасенной,
вот утверждение мое;
ступени вглубь души бездонной,
вот истинное бытие.

Но дальше? Не оставить там ли
моих найденышей ночных?
Слова, слова, слова... О, Гамлет,
ты призрак, ты ничто без них.

Василий Шишков

Куда более отвлеченное и менее «сочиненное», чем предыдущее, это стихотворение (отдельный лист бумаги, чернила), возможно, было написано вскоре после публикации рассказа как поэтический ответ на последнюю реплику Адамовича, сожалевшего, что Шишков оказался «существом метафизическим», то есть лишь тенью своего создателя. Упоминание Гамлета отсылает к следующему слову Шишкова в рассказе: «Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да, кроме того, боюсь последствий, которые и не снились любомудрию Гамлета». Вновь обращаясь к теме рассказа, Набоков в этом стихотворении утверждает жизненную силу слова, отрешенье от которого он сравнивает со смертью в «Поэтах», силу, заставляющую поверить в «истинное бытие» писательских «найденейшей». В начале стихотворения он говорит не о спасении тонущей Офелии, а о спасении «музыки», то есть, как и в «Поэтах», о поэзии и русском слове, подразумевая следующее место в трагедии Шекспира:

...и она с цветами вместе
упала в плачущий ручей. Одежды
раскинулись широко и сначала
ее несли на влаге, как русалку.
Она обрывки старых песен пела,
как бы не чуя гибели — в привычной,
родной среде. Так длится не могло.
Тяжелый груз напившихся покровов
несчастную увлек от сладких звуков
на илистое дно, где смерть.⁷⁵

Вот эти «обрывки старых песен», пушкинские «сладкие звуки» («Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв»), «музыку» Ходасевича («И музыка, музыка, музыка / Вплетается в пенье мое») Набоков и старался спасти во что бы то ни стало на этих и других берегах.

Прибавив к известным стихам Василия Шишкова два этих новых стихотворения, мы можем хотя бы частично восстановить содержание его «хорошей» поэтической тетради:

«Мы с тобою так верили» (Париж, январь 1939);

«Поэты» (Париж, предположительно 14—17 июня 1939);

«Обращение» (Париж, октябрь 1939);

«Не знаю, чье журчанье это...» (предположительно Пало-Альто, июнь-сентябрь 1941);

«Нет, я не тень, я существую...» (предположительно 1939—1941).

Теперь уже нельзя сказать, было ли у Набокова намерение продолжать сочинять «под Шишкова», чтобы, может быть, когда-нибудь заполнить и издать *его* тетрадь целиком, или он намеревался ввести стихи этого вымышленного поэта в более обширное сочинение, как он сделал в «Даре» со стихами Годунова-Чердынцева. Как бы то ни было, следствия шишковской мистификации вышли далеко за границы парижской литературной игры, поскольку причины ее были много значительнее, чем те, что впоследствии приводил Набоков. Печатаая «Поэтов» в июле 1939 года, он не мог быть уверен в том, что они вызовут восторженный отзыв Адамовича (отзыв мог быть сдержанным, отзыва могло не быть вовсе). Восхищение критика этими стихами придало шишковскому делу известное направление задним числом, то есть действительно осенью 1939 года, как указывал Набоков в своих комментариях, а именно 12 сентября, когда он, воспользовавшись открывшейся возможностью расквитаться с Адамовичем, напечатал рассказ «Василий Шишков», представив публикацию «Поэтов» литературными силками и оставив утаенным сюжет со своим поэтическим посланием умершему Ходасевичу. Десять лет спустя, уже обосновавшись в Америке, он вдохнул в свою парижскую мистификацию новую жизнь, пустив читателей и исследователей по ложному следу. Посвященные Ходасевичу стихи были написаны не «с целью поймать в ловушку известного критика», как утверждал Набоков, а с целью самому освободиться от «добровольно принятых на себя оков», начав писать стихи под другим именем — как бы с чистого листа. На эту перемену его поэтического облика повлияли различные обстоятельства его парижской жизни: крушение его юношеской модели семейного счастья в 1937 году, смерть матери весной 1939 года, безнадежная, вопреки славе, бедность, сочинение первого английского романа, означавшего переход в новую литературную область, смерть Ходасевича, конец русской европейской литературы. Пережив свое второе поэтическое рождение, Набоков в Америке продолжает сочинять стихи от имени Шишкова, уже вне всякой связи с парижской мистификацией, давно раскрытой, а с тем, чтобы удержаться на достигнутой высоте или, говоря его собственными словами, чтобы закрепить это «позднее обретение твердого стиля». ⁷⁶ Когда же это ему удастся и он сочиняет свои лучшие после «Поэтов» русские стихотворения «Слава» (1942), «Парижская поэма» (1943), «К кн. С. М. Качурину» (1947), только тогда Набоков подписывает их своим настоящим именем.

¹ Современные записки. Кн. LXXIX. Париж, 1939. С. 214—215.

² «Поэты» и «Обращение» («Отвяжись, я тебя умоляю...»), печатавшееся впоследствии под названием «К России».

³ И. И. Фондаминский погиб в Освенциме в 1942 г., В. В. Руднев умер во французском По в 1940 г.

⁴ Цит. по: В. Набоков. Заметки для авторского вечера «Стихи и комментарии» 7 мая 1949. Публ. Г. Глушанок // Владимир Набоков: pro et contra. Т. 2. СПб., 2001. С. 136.

⁵ В. Набоков. Стихи. Анн Арбор, 1979. С. 319.

⁶ Цит. по: The Stories of Vladimir Nabokov. N.Y., 2008. P. 679.

⁷ Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Сост. Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. М., 2000. С. 622—623.

⁸ The Stories of Vladimir Nabokov. P. 679. В последнем своем законченном романе «Взгляни на арлекинов!» (1974) Набоков выводит Адамовича в нескольких сатирических обликах: Демьян Василевский (с реверсивным намеком на первого советского критика Набокова Демьяна Бедного), Христофор Боярский (с «Христофором Мортусом» в предмете) и Адам Атропович (с намеком на «непреклонную» мойру Атропос). Ходасевич, напротив, выведен в нем в комплиментарном образе выдающегося американского поэта Audace, что по-французски значит «отвага», «дерзость» и произносится «Одас» — средняя часть фамилии Ходасевича. В облике этого персонажа Набоков отразил и внешнее сходство с Ходасевичем: «Бесценнейшим из моих новых друзей стал для меня хрупкий на вид, печальный, с несколько обезьяньим лицом человек <...> пленительно-талантливый поэт Одас...» Стоит прибавить, что помимо прямого сравнения Набоковым в письме к жене (еще в 1932 году) лица Ходасевича с обезьяньей мордочкой и подразумеваемого сопоставления с Пушкиным («Кажется, Грибоедов первый назвал его мартышкой», — писал Ходасевич в книге «О Пушкине»), в этом месте «Арлекинов» скрыт намек на известное стихотворение Ходасевича «Обезьяна» (1919), переведенное Набоковым на английский в 1941 году.

⁹ Там же.

¹⁰ В. Набоков. Стихи. С. 319. Ни «разбора» стихотворения, кроме одного мелкого замечания о слоге, ни «похвал Адамовича» в рассказе нет.

¹¹ «Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакции. Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. Т. 1. М., 2011. С. 895, 897.

¹² Там же. С. 895. О величине гонора можно судить по тому, что номер «Современных записок» продавался по 35 франков.

¹³ Цит. по: М. Шраер. Набоков: темы и вариации. СПб., 2000. С. 232.

¹⁴ Автограф стихотворения с подписью «Вас. Шишков» и датой «X. 39» сохранился в архиве З. Шаховской в Вашингтоне. См.: М. Шраер. Набоков: темы и вариации. С. 220.

¹⁵ Г. Адамович. [Рец.] Современные Записки. Кн. LXIV. Часть литературная // Последние новости. 1937. 7 октября.

¹⁶ «Мне много раз приходилось писать о творчестве Сирина — всегда с удивлением, не всегда с одобрением. Рад случаю полностью воздать должное его исключительному, „несравненному“, — как говорят об артистах — таланту. Какие бы у кого из нас с ним ни были внутренние, читательские раздоры и счеты, нельзя допустить, чтобы эти расхождения отразились на ясности и беспристрастии суждения» (Г. Адамович. Литература в «Русских записках» // Последние новости. 1939. 16 февраля. № 6534. С. 3. Цит. по: <http://emigrantika.ru/rusparis/425-com>. Проект О. Коростелева).

¹⁷ В. Набоков. Предисловие к английскому переводу «Дара». Пер. Г. Барабтарло и В. Набоковой // В. Набоков. Дар. СПб., 2009. С. 474—475.

¹⁸ «Бедняга! Он скрипит костями, / брэнча на лире жестяной; / он клонится к могильной яме / Адамовою головой...» (В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. В 5 т. Т. 2. СПб., 1999. С. 669).

¹⁹ Б. Бойд. Владимир Набоков. Русские годы. М.—СПб., 2001. С. 588—589. См. также: В. Старк. Неизвестный автограф Набокова или история одной мистификации // Звезда. 1999. № 4. С. 40—41; С. Давыдов. Шишки на Адамову голову: о мистификациях Ходасевича и Набокова // Звезда. 2002. № 7. С. 194—198. М. Шраер предлагает иной взгляд на эти события, отмечая значение смерти Ходасевича в издании «Поэтов».

²⁰ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 2. С. 671.

²¹ Г. Адамович. [Рец.] «Современные Записки». Кн. 40 // Иллюстрированная Россия. 1929. 7 декабря. № 50 (239). С. 16. Цит. по: Классик без ретуши. С. 57.

²² Г. Адамович. Немота // Последние новости. 1936. 24 сентября. С. 3. Цит. по: Критика русского зарубежья. В 2 ч. Ч. 2. Сост., преамбулы, примеч. О. А. Коростелева, Н. Г. Мельникова. М., 2002. С. 53.

²³ М. Шраер. Набоков: темы и вариации. С. 223.

²⁴ Автограф этого стихотворения приводит В. П. Старк (Звезда. 1999. № 4. Третья полоса обложки).

²⁵ Письмо от 1 августа 1925 г.: Письма В. В. Набокова к Г. П. Струве. Ч. 1. 1925—1931. Публ. Е. Б. Белодубровского и А. А. Долинина // Звезда. 2003. № 11. С. 121.

²⁶ Перевод мой. (Vladimir Nabokov. Look at the Harlequins! London, 1980, P. 41).

²⁷ Архив Набокова в коллекции Бергов в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

²⁸ Там же.

²⁹ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 317—318.

³⁰ О высокой оценке Ходасевича-критика, уравновешивающего влияние критика-Адамовича, существует немало свидетельств современников; приведем одно из них в письме редактора «Современных записок» Руднева профессору Бицилли от 14 июня 1939 г.: «Ходасевичу все хуже. <...> Ужасно мне его жалко, и как человека, и как большую культурную силу, кот[орую] теряет эмиграция. (— А монополия остающегося Адамовича на пользу литературе не пойдет.)» (Современные записки (Париж 1920—1940). Из архива редакции. Т. 2. М., 2012. С. 633).

³¹ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 590.

³² В. Ходасевич. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. М., 1997. С. 528.

³³ Это письмо вошло в подборку писем Набокова к жене, напечатанных в журнале «Сноб» (2010. № 11): В. Набоков. Письма к Вере. Публ. О. Ворониной при участии Г. Барабтарло. С. 194.

³⁴ Там же. С. 195.

³⁵ Г. Адамович. Литературные беседы // Звено. 1925. 27 июля. № 130. С. 2.

³⁶ Цит. по: В. Ходасевич. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 539.

³⁷ Например, в юбилейном пушкинском номере «Современных записок», в котором начал печататься «Дар»: «Он не мог томиться о „звуках иных“ — потому что для него иных миров нет <...>. Пушкин сам собою ограничен, сам в себе замкнут. Ему „все позволено“ и оттого на христианский слух в поэзии его есть что-то ужасно-грешное <...> Лермонтов и Гоголь — будто стремятся замолить явление Пушкина, как, впрочем, почти вся позднейшая литература, как Достоевский» и т. п. (1937. № 63. С. 200—201).

³⁸ Г. Адамович. Последние новости. 17 августа 1939. Цит. по: М. Шпраер. В. Набоков. Темы и вариации. С. 223.

³⁹ В. Набоков. Письма к Вере. С. 193. Этому неожиданному признанию отвечает заключительная строка его известного эссе «Каким бы полотном батальным ни являлась...» (1943): «Увольте — я еще поэт!»

⁴⁰ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 590.

⁴¹ Ср. известные поздние стихи Набокова: «и, как от яда в полном изумруде, / мрут от искусства моего» (В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 434). Мы не приводим стихи Набокова по внушительному собранию его поэтических произведений в «Библиотеке поэта» (В. В. Набоков. Стихотворения. Вст. ст., сост., подг. текста и прим. М. Э. Маликовой. СПб., 2002), как хотелось бы в рассуждении удобства, из-за огорчительной недобросовестности этого издания. Следует заметить, что главной заботой составителя должно быть не собственное введение, пусть и содержащее полезные наблюдения (которых у Маликовой собрано немало), а все-таки любовно точное воспроизведение сочинений автора, которому это введение посвящено. Здесь не место указывать на многочисленные погрешности в составленном Маликовой томе стихотворений (порой с пропажей целых строк — с. 339), довольно будет обратить внимание на то, что даже хрестоматийная строчка Пушкина, на которой обрывается «Русалка», напечатана с грубой ошибкой: «Откуда ты, *преlestное* дитя» (с. 358). В самом деле, откуда?

⁴² Г. Адамович. Сирия // Последние новости. 1934. 4 января. С. 3. Цит. по: Классик без ретуши. С. 197.

⁴³ Этот любопытнейший сюжет эмигрантской критики — Лермонтов vs. Пушкин — подробно разбирает А. Долинин (Три заметки о романе «Дар» // А. Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб., 2004. С. 234—236).

⁴⁴ М. Л. Гаспаров. Эволюция метрики Манделштама // Жизнь и творчество О. Э. Манделштама. Воронеж, 1990. С. 346.

⁴⁵ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 2. С. 650—651. «Балладу» Ходасевича и еще два его стихотворения Набоков избрал для перевода на английский язык и опубликовал под названием «Орфей» вскоре по своему переезду в Америку (New Directions in Prose and Poetry. Ed. by J. Laughlin. Norfolk, Conn., 1941. P. 599—600).

⁴⁶ Подробнее об этом см.: А. Бабилов. Образ дома-времени в произведениях В. В. Набокова // Культура русской диаспоры: Набоков: 100. Таллинн, 2000. С. 91—99; В. Набоков. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. Сост., предисловие, комм. А. Бабилов. СПб., 2008. С. 552.

⁴⁷ В «Вечере на пустыре» Набоков рифмует «сумерки» и «умер».

⁴⁸ Стихи Ходасевича приводятся по новому изданию: В. Ф. Ходасевич. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 1. Сост. Дж. Малмстада и Р. Хьюза. С. 137. М., 2009.

⁴⁹ Это наблюдение приводит М. Маликова во вст. ст. к кн.: В. В. Набоков. Стихотворения. С. 35.

⁵⁰ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 1. С. 548—549.

⁵¹ Там же. Т. 5. С. 408.

⁵² А. Крайний [З. Гиппиус]. Современность // Числа. 1933. Кн. 9. С. 143. Цит. по: А. Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 244.

⁵³ В. Варшавский. [Рец.] В. Сирин. «Подвиг». Издательство «Современные Записки» 1932 // Числа. 1933. Кн. 7—8. С. 266.

⁵⁴ Г. Адамович. О Сирине. Цит. по: Классик без ретуши. С. 196, 198.

⁵⁵ Г. Адамович. О литературе в эмиграции // Последние новости. 1931. 11 июня. С. 2. Цит. по: Критика русского зарубежья. В 2 ч. Ч. 2. С. 47.

⁵⁶ В. Ходасевич. О Сирине. // Возрождение. 1937. 13 февраля. С. 9. Цит. по: Классик без ретуши. С. 223.

⁵⁷ Архив Набокова в коллекции Бергов в Публичной библиотеке Нью-Йорка. Цит. по: В. Набоков. Трагедия господина Морна. С. 626.

⁵⁸ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 4. С. 349.

⁵⁹ Н. Н. Берберова — И. А. Бунину 30 марта 1939 г.: «Видаюсь с Сириним и его сыном (и женой). <...> Живется им трудно и как-то отчаянно. Пишет он „роман призрака“ (так он мне сказал. Что-то будет!» (Переписка И. А. Бунина и Н. Н. Берберовой (1927—1946). Публ. М. Шраера, Я. Клоца и Р. Дэвиса // И. А. Бунин. Новые материалы. Вып. II. Сост. О. Коростелев, Р. Дэвис. М., 2010. С. 53).

⁶⁰ Г. Адамович. Перечитывая «Отчаяние» // Последние новости. 1936. 5 марта. С. 3. Цит. по: Классик без ретуши. С. 126.

⁶¹ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 185.

⁶² В. Набоков. Истинная жизнь Севастьяна Найта. Пер. Г. Барабтарло. СПб., 2008. С. 27.

⁶³ В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 181.

⁶⁴ К. В. [Мочульский К. В.] В. Сирин. Гроздь. Стихи. Берлин: Гамаюн, 1923 // Звено. 1923. 23 апреля. № 12. С. 4. Цит. по: Классик без ретуши. С. 23.

⁶⁵ А. С. Пушкин. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 10. М., 1958. С. 72.

⁶⁶ Подробнее об этом см.: А. Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 234—236 (где исследователь, в частности, отмечает: «На протяжении целого десятилетия — с 1927 по 1937 год — неумоимо вел свою кампанию против пушкинского наследия сам Г. Адамович. Для него Пушкин если и „чудо“, то „неприятно-скороспелое, подозрительное, вероятно с гнильцой в корнях“; он недостаточно глубок, недостаточно религиозен, недостаточно страстен; это, в отличие от Лермонтова, — художник без дальнейшего пути, не знающий „мировых бездн“ и полностью исчерпавший себя...»).

⁶⁷ За верность прочтения этого имени нельзя ручаться, так как оно в рукописи встречается только однажды, написанное к тому же не очень четко. А. Долинин, частично опубликовавший рукопись продолжения «Дара» в содержательной работе «Загадка недописанного романа», прочитал имя этого персонажа как «Концевев» (А. Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 283).

⁶⁸ См.: А. Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 243—244.

⁶⁹ Латинский «икс», не путать с инициалом Ходасевича.

⁷⁰ Квадратные скобки принадлежат Набокову.

⁷¹ Имеется в виду «Романс» (1924) Ходасевича, в котором он развил пушкинский набросок «В голубом эфира поле...». «Двойное отрицание» находим в следующих строках Ходасевича: «Догааресса молодая / На супруга не глядит, / Белой грудью не вздыхая, / Ничего не говорит». См.: А. Куприн. В. Ходасевичу // Русская газета. 1924. 3 мая. № 10; А. Куприн. Два юбилея // Русская газета. 1924. 13 июля. № 67. Я благодарю Олега Коростелева за уточнения по публикациям в эмигрантских периодических изданиях и его ценные критические замечания.

⁷² Архив Набокова в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне.

⁷³ Г. Адамович. Литературные заметки // Последние новости. 22 сент. 1939. С. 3. Цит. по: М. Шраер. В. Набоков. Темы и вариации. С. 233.

⁷⁴ Б. Бойд. Владимир Набоков. Американские годы. М.—СПб., 2004. С. 37—44.

⁷⁵ Перевод Набокова 1930 года: В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 3. С. 673—674.

⁷⁶ В предисловии к сборнику «Стихи и задачи» (1970). Русский перевод привожу по предисловию В. Набоковой к: В. Набоков. Стихи. 1979. С. VII.

ИЗ ГОРОДА ЭНН

ОМРИ РОНЕН

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Двести лет назад старостиха Василиса и мадам де Сталь победили Наполеона, женский грамматический род, Москва, одолел род мужской, Париж. Это объяснение я, старый феминист, предпочитаю онегинскому историческому скептицизму: «Гроза двенадцатого года / Настала — кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима иль русский бог?»

Но Бог помог: в культурных странах женщины обрели политическое равноправие. Это не значит, что в духовном и просто в личном отношении большинство противоположного пола приемлет их как равных. Борьба с подобным, еще более коварным видом неравенства, как правило, идет по неверному пути, иногда приводящему к отрицательным результатам, во всяком случае, с точки зрения тех, кто считает, что мы — один человеческий, а в некоторых языках и один грамматический род, хоть и два пола. Как ни трагично неравенство, некоторое чувство меры и юмора, не говоря уже о знании истории вопроса, здесь необходимо. Защитникам женских прав и чести, чем изобретать свою отдельную, каламбурную, но и карикатурную, к сожалению, историю, *herstory* вместо *history*, не худо бы сначала составить для повседневных воспитательных нужд простой «Календарь феминизма». В нем надо уделить место и главным вехам женоненавистничества и женобоязни. В этом году есть относящиеся к ним памятные даты: сто лет назад умер знаменитый мизогин Август Стриндберг, а исследователи жизни и творчества его почитателя Александра Блока отмечают столетие драмы «Роза и Крест», на которой лежит трагическая тень разочарования в идеале вечной женственности.

Один великий борец за разнообразие и за равноправие в разнообразии, выступая на «дамском банкете» почти сто лет назад с застойной речью о «бабьем уме», сказал со своей обычной колющей глаза правдивостью: «Когда мужчина выступает в роли крайнего феминиста, это всегда немного смешно». Но феминист-мужчина замечает со стороны то, чего, может быть, не замечает женщина, потому что для нее это свое, привычное, свой ум, а не тот чужой «бабий ум», над которым издевался тургеневский Пигасов.

Между тем даже пигасовское «дважды два — стеариновая свечка», если вдуматься, «премилая иногда вещица», и не в смысле асессора из подполья, а в смысле Бертрана Рассела: «Физика математическая не потому, что мы так много знаем о физическом мире, а потому, что так мало знаем; только

Редакция сердечно поздравляет Омри Ронена с 75-летием — 12 июля.

© Омри Ронен, 2012

его математические свойства мы можем открыть. Математическое знание на самом деле, всего лишь словесное знание. „3“ значит „2+1“, а „4“ значит „3+1“. Отсюда следует (хотя доказательство длинно), что „4“ значит то же самое, что „2+2“. Так математическое знание перестает быть таинственным». Спиноза в свое время сформулировал эту мысль не для физики, а для своей метафизической этики: «После того как люди убедили себя, что все, что происходит, происходит ради них, они должны были считать главным в каждой вещи то, что для них всего полезнее, и ставить выше всего другого то, что действует на них всего приятнее. Отсюда они должны были образовывать понятия, которыми могли бы выражать природу вещей, как то: добро, зло, порядок, беспорядок, тепло, холод, красота, безобразие... Истина навеки осталась бы скрыта от человеческого рода, если бы только математика, имеющая дело не с целями, а лишь с сущностью и свойствами фигур, не показала людям много мерила истины».

Делая выбор в этой дилемме Спинозы относительно «антропологического» принципа в познании, женщина, даже если она математик, — на стороне «целей», а не «сущностей». В частности, ее интересуют более следствия, чем причины, в особенности «первопричины».

Производя смотр своим опытам в рубрике «Из города Энн» за почти двенадцать лет, замечаю, как много их посвящено силе, заслугам и достижениям женщин. В слове «заслуги» нечто колет мою историческую память. Медаль «За боевые заслуги» во время войны чаще давали женщинам — не только штабному персоналу, но и связисткам, медсестрам и полевым санитаркам, и даже разведчицам и снайперам. Мужская боевая медаль была «За отвагу», ее ценили, а «За боевые заслуги» фронтовики к концу войны стали презирать и называли «За бытовые услуги». Но я не зачеркну слова «заслуги», и медаль эта мне нравится, ее можно видеть на киевской фронтовой фотографии Бориса Лапина, о котором речь будет ниже, он получил ее за Халхин-Гол. «*Sume superbiam quaesitam meritis*», «исполнись особенной гордостью заслугами» — сказано в самой знаменитой оде Горация.

Этой весной я почти одновременно прочел две горестные книги. Одна отважная и самоотверженная, это высокоталантливые записки Ирины Ильиничны Эренбург (1911—1997), дочери И. Г. Эренбурга и Екатерины (Клары) Шмидт-Сорокиной: отрывочные, к сожалению, документы самоотверженного женского пути с детства до глубокой старости. Другая, самолюбивая и отчаянная, это дневник даровитого и бездельного подростка, Георгия Сергеевича Эфрона (1925—1944), сына Марины Цветаевой и С. Я. Эфрона. Сопоставление двух таких памятников жизненного опыта, долгого и короткого, умудренного и полудетского, не совсем несправедливо: в центре первой книги воспоминания «французской школьницы», и оба автора — дети знаменитых писателей, присутствие или отсутствие которых так или иначе отражено в их жизни.

Дневник Георгия Эфрона («Мура») заставляет вспомнить роман Фридриха Горенштейна «Место», это записки из подполья без самодельных экспериментов над собой и средой, они не нужны, потому что их ставит перед героем сама жизнь без «достоевского» надрыва: рассказчик спокоен, надрывается сердце читателя.

Судьба «Мура» — не только личная и фамильная, но и литературно-историческая трагедия.

Этот семнадцатилетний мальчик-сирота составил сборник (позвав его «*Asie sovietique. 1942. Tachkent*») «лучших стихов», «*Diverses Quintessences de l'esprit moderne*. Различные квинтэссенции современного духа (XIX—XX веков). Антология цитат». Здесь фрагменты прозы Жида, Хаксли, Селина и Хемингуэя, цитаты из Бергсона и Тэна, отрывки из «*Senilia*» Тургенева,

стихотворения Бодлера, Верлена, Малларме, Валери, Мандельштама, Ахматовой и Гумилева. Цветаевой здесь нет. Когда «Гослит» отверг сборник ее стихов, сын записал в дневнике (23/ХІІ—40): «я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери — совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью». Вероятно, Мур был вполне прав с точки зрения «квинтэссенции современного духа». «Двадцатого столетья — он, / А я — до всякого столетья». 4 июля 1943 года, в Ташкенте, вечноголодный и главным образом о вкусной еде пишуший, он, бездельный подросток, обреченный на скорую гибель, нашел те лучшие слова, которые и останутся навсегда от его страшной жизни: «Вчера продал на 78 рублей книг — все книги продал: и Валери, и Маллармэ, и даже все книги М. И. И был сыт. Продавая эти книги, я гораздо более ощущал себя преступником, чем когда крал вещи у М. А. и часы у А. Г. Неизмеримо более! Но я рассудил, что если я попаду в Москву, как предполагаю, то там, если мне понадобится, я всегда смогу найти и Маллармэ и Валери в ГЦБИЛ. Вот насчет маминых книг — не знаю. Глупо и преступно против *sa memoire* то, что я продал эти ее книги с надписями ко мне: „Моему сыну...“ и т. д. Неужели я так мало ценю ее память и все наше общее прошлое? Ох, не знаю. Надо все оборвать — и все воскресить; начать новую жизнь, — но которая должна вернуть старое».

Не знаю, кто дал сборнику Ирины Эренбург заглавие «Я видела детство и юность XX века», ведь сама она первоначально хотела назвать ее «Так я жила» или «Годы разлуки». Броский издательский титул не соответствует содержанию: автор видел и чудовишно жестокою зрелость и обманувшую надежды старость века. Ее книга — послесловие к XX столетию и к одной из важнейших книг в истории СССР: к воспоминаниям ее отца. Эти воспоминания были протрясающей попыткой восстановить правду после десятилетий лжи, но их нельзя назвать правдивой книгой, ее правда пострадала от недомолвок, сглаживаний, сокращений и непреодоленных предубеждений. Да и нельзя сказать всю правду детям, а советский читатель 1960-х годов был ребенком. Мне нравится, как охарактеризовал воспоминания Эренбурга другой автор литературной автобиографии:

«Миллионы невинных будут воскрешены, если проснется сознание: и Манделштам в отрешках, на куче отбросов, и Мирский, которого столкнули под лед Охотского моря, и Тухачевский, смерть которого дала возможность Германии ворваться в Россию. Их страдания страшны, но гораздо страшнее, если эти страдания не приведут к сознанию. Отсутствие сознания еще страшнее, чем страдание. Если проснется сознание, то со страданием мы управимся сами!

„Страдать? Страдают все. Страдает темный зверь“, — но сознавать умеют не все. Эренбург, в сетях своих умолчаний, полупризнаний, отходов, колебаний, построил две строки своего силлогизма. Третьей нет и не будет, не ждите ее от него. Она должна быть в нас. Но он ведет нас нужной дорогой: от повести о страданиях к моменту сознания».

Это написала женщина, которая была «свободна в своих умолчаниях».

Книга дочери Ильи Эренбурга, «книга для взрослых» (как назвал ее отец свою первую, беллетризованную попытку автобиографии), содержит только правду и ничего, кроме правды. Если это не вся правда, то потому, что она не описывает зловонных и зловещих послевоенных лет, о которых Слуцкий сказал: «Не отличался год от года, / как гунн от гунна, гот от гота / во вшивой сумрачной орде», и только из предисловия Фаины Палеевой, приемной дочери Ирины Эренбург, мы узнаем, что в 1951 году у них был обыск... Книга состоит из вступительных воспоминаний о детстве, из двух дневников, литературного и личного, и из небольшой подборки писем в приложении.

Первый дневник был напечатан Горьким в альманахе «Год XVII» (1934) под заглавием «Лотарингская школа (заметки французской школьницы)» и под псевдонимом «Ирина Эрбург». Вскоре он вышел и отдельной книжкой.

Второй дневник И. И. Эрбург вела во время войны. Он не мог тогда предназначаться для печати. Структурно и композиционно его объединяет с первой, литературно обработанной книгой записок то, что в обоих включен чужой дневник, «дневник в дневнике», дневник французской школьницы Габи Перье, ставшей наркоманкой и преступницей, и дневник героической «Васены», московской десантницы-диверсантки и партизанки. В обоих подспудно проходит тема несчастной любви. Она служит фоном для истории трагической любви самой Ирины Эрбург.

Французские «заметки» имеют чисто литературную ценность и сами по себе, и как удачное, мотивированное дневниковой формой состязание со знаменитым телеграфно-кинематографическим отрывистым стилем Ильи Эрбурга. Кроме того, наблюдения дочери зоркостью, а главное — неприужденностью и хладнокровием суждений — нередко превосходят и журналистику и беллетристику ее отца. Вот несколько отрывков:

«В школе ужасное волнение. Мы должны выбрать лучшего товарища. <...> Вся школа заклеена афишами — одна больше другой. <...> Конкурентов обзывали рогносами, „вскрывали их личную жизнь“. Совсем как на выборах в Палату депутатов. Некоторые продавали свои голоса».

«Еще будучи в школе, я давала уроки. <...> Я вспоминаю об этих уроках со стыдом. <...> Это были обычно богатые люди. Детям они выдавали „в копилку“ по пятьдесят франков в неделю. Мне они платили по десять франков за урок в присутствии детей, великолепно разбиравшихся в цене денег, несмотря на свои восемь-десять лет».

«Я попробовала объявить в газете: „Даю уроки французского и русского“. Но все предложения исходили от мужчин, которым абсолютно не нужен был ни русский, ни французский языки, — их прельстило то, что я „русская“, — это сулило приключения».

«В первые дни университетских занятий я увлеклась покупкой учебников и вместо школьного портфеля завела студенческий коврик для книг. Грязная, темная и холодная Сорбонна вызвала во мне робость и уважение».

Этот «человеческий документ», заметки и дневник, оформлен так, что книга начинается с конца, с развязки. Перед отъездом в Москву автор читает в газетах о своей подруге Габи. «Розыски Габриэлы Перье остаются безуспешными». «Амазонка в автомобиле». «Студентка ограбила американца», восьмидесятилетнего дурака, который повез ее кутить в барах Монмартра. Двадцатидвухлетняя Ирина Эрбург, «Ирэн» дневника бедной Габи, ставит вопрос, на который книга ответит. Все ее герои — разные, но среди описанных ею одноклассников легко поместить Георгия Эфрона, хотя он четырнадцатью годами моложе. «Я вспоминаю снова наши школьные годы. Мне хочется понять, почему Пети плюет на все, Мартэн готов стать кем угодно, чтобы быть независимым, отчего Габи стала воровкой, Рауль равнодушен ко всему миру и к своему будущему... Все они были, в конце концов, неплохие ребята». Внимательный читатель «Лотарингской школы», где записки автора то и дело прерываются подлинным дневником Габи Перье, поймет: не «тайна подсознательного», о которой писали в глупых газетах, а тайна безлюбия или несчастной любви в злом мире заставила Габи искать отрады — с подружкой-лесбианкой — в той утешительнице, которую она называет «туманной, нежной, горькой Мореллой». Это имя из рассказа Эдгара По, переведенного Бодлером, означает героиня. По-видимому, оно было распространено в кругах парижской богемы, и не оно ли вдохновило образ Мореллы в стихах Поплавского:

Пойте доблесть Мореллы, герои, ушедшие в море,
Эта девочка вечность расправила крылья орла.
Но метели врываются и звезды носились в соборе,
Звезды звали Мореллу, не зная, что Ты умерла.

Под датой 9 мая 1945 года автор «Записок школьницы», а теперь «Дневника во время войны», вспоминает свою подругу Габи в минуту, когда выдержка изменяет ей, военной вдове «пропавшего без вести» и «отчисленного из Действующей Армии»: «День Победы. Утром пошла в комиссионный уз-нать, не продано ли пальто Бори. Нет. <...> Сейчас Браззавиль передает марши. Не могу быть одна. Мне нужен мужчина. Но покупателя нет. Сейчас играют „Le Chant du départ“ (здесь в примечании к тексту ошибка: автором слов этой песни был не Андре Шенье, ко времени ее написания уже казненный, а его приспособленец-брат Мари-Жозеф. — *О. Р.*). Вспомнила Габи, почему? Как все суетно...»

Только один раз, в День Победы, она позволила себе женскую жалобу, поэтому и вспомнила Габи, которая записала в дневнике перед экзаменами: «Ночь такая теплая, такая прекрасная, что хочется плакать. Вот я плачу. Шарль, мне необходима ваша любовь». Но Шарль не любит ее...

Накануне, 8 мая: «Сегодня капитуляция Германии. Весь мир празднует <...>, а у нас полная неизвестность <...>. Опять неизвестность — мы в руках Сталина».

Большой писатель, который мог много дать русской, французской и двуязычной наднациональной словесности, жил, но по трагическим обстоятельствам не осуществился в Ирине Ильиничне Эренбург.

В чем ее особенность?

У Чехова в рассказе «Жена» герой постепенно осознает, что казавшееся ему «бабьей логикой» есть перевод высшего, очень сложного, одновременно биологического и этического закона жизни на простой человеческий язык: «...кого <...> тревожила пробудившаяся совесть и кто беспокойно метался с места на место, желая то заглушить, то разгадать свою совесть, тот поймет, какое развлечение и наслаждение доставлял мне женский голос <...>, говоривший мне, что я дурной человек. Я не понимал, чего хочет моя совесть, и жена, как переводчик, по-женски, но ясно истолковывала мне смысл моей тревоги».

Ирина Эренбург была прекрасный переводчик — не только с французского на русский.

Ее «Дневник во время войны» помимо его ценности самого по себе должен также сыграть роль тайного и только теперь ставшего явным послесловия к тому общеизвестному, что писал ее знаменитый отец. Бесстрашное прямодушие у дочери сочетается с той сдержанностью, которую Тютчев назвал «божественной стыдливостью страдания».

Первая запись сделана 3 ноября 1941 в Куйбышеве. Ирина Ильинича передает ранние слухи о судьбе Киевской армии. «Говорят, она частично погибла, частично сдалась в плен. Приехал Осипов». Это журналист, он прошел шестьсот километров пешком по Украине. «Борю видел 20 сентября» — под Киевом (Киев пал 19-го). С тех пор муж Эренбург, Борис Лапин, неизменно присутствует в ее дневнике, мысль о нем и надежда на то, что он выжил, не покидают ее. В глубине своей это дневник о неумирающей любви, как дневник несчастного Мура — о безлюбье.

Борис Лапин не пользуется той известностью, которую он заслуживает.

Его поэзия и проза до сих пор не собраны и не изучены. Мальчиком я читал «Сталинабадский архив» в серии «Библиотека избранных произведений советской литературы. 1917—1947». Подборка не слишком «авангардных» стихотворений Лапина (одно, «Недалеко от Оренбурга», — с изъятием

важных строк) вошла в антологию «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» («Библиотека поэта», 1965). В 1976 году в Москве с предисловием Симонова увидел свет под заглавием «Только стихи» сборник Лапина и Хащревина, который недавно прислал мне из Лондона мой киевский школьный товарищ Ефим Славинский — с поправками и с вложением нескольких менее известных стихотворений, перепечатанных на машинке. Впервые я начал догадываться, каким поэтом был Лапин, по двум цитатам в «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам и по статье В. Ф. Маркова о русском экспрессионизме в ежегоднике «California Slavic Studies» (VI, 1971). Двадцать лет спустя одна моя талантливая аспирантка собиралась писать диссертацию о его сборнике «1922-я книга стихов», сделала интересный доклад, но потом оробела — и не диво. Только совсем недавно на Западе издали ценную монографию, сопровождающую первую публикацию ранней (1923) необыкновенной книги стихов Лапина «Гимны против века»: Valentin Belentschikow. Boris Lapins expressionistische *Hymnen gegen die Zeit*. Mit dem russischen Text und einer deutschen Interlinearversion von Ulrich Steltner (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2011).

Лапин, автор «Гимнов против века», был пограничником между веков, зная, что в конечном счете они стоят друг друга, век расстрельщиков-казачков и век «Игрушкой Гильотена / Довольных школяров».

«Не ты ли ночью пожелал / Проникнуть мыслью в старый свет? // Стой. Дальше?.. Дальше нет пути. / Ты освещен. Нельзя пройти. / Ты на границе. Нет пути. // Ты в память думал убежать? // — Я здесь. Не бойся, прокурор. / Я убегу — вернусь опять. //...На улице лежит туман. / И фонари плывут, горя. / Решетка. Пьяный хулиган, / Как в годы Блока и царя. // <...> // Все скучной вечностью грозит, / Здесь скукой воздух заражен. / Пойдешь назад — нога скользит. / Вперед? — не лезть же на рожон. // <...> // Нет, хуже нету ничего, / Чем жить с тобою, старый мир» (1925).

Но и новый мир и новая улица всё те же, что томили Блока, и Лапин находит, с «вдумчивостью топора», в своей безнадежной «Оде» новые образы, еще более гнетущие, чем блоковская аптека: «Шел я как-то со сквера / По осенней Тверской. / День был серый. Химера / Мучила мой покой. / <...> / Каждый, здесь проходящий, / Мнит, что он — судия, / В нем весь смысл настоящий, / В нем венец бытия. / Но от сфер, где собака / Тумбы правит закон, / Выбегают из мрака / Сто таких же, как он» (1925).

«Закон тумбы» определяет место художника в мире, в новом, как и в старом.

В этом историческая точность Лапина, к которой он стремился в стихах: «А я хочу быть точен! / Весь мир дошкольных наших лет / Был мертв и опорочен, / И начался советский мир, / И этот мир был прочен».

Старый мир был убит, но самое страшное от него осталось и пережило его на много лет, быть может, навсегда. Это страшное в сентябре 1941 года убило Лапина. Такой конец он предсказал в стихотворении «Недалеко от Оренбурга» (1923): «Когда нас вели на закате / Казаки в багровый овраг, / Мы пели, что смертью заплатит / Наш Деспот, Мучитель и Враг. / (Тот Деспот давно похоронен, / А нас отводили в овраг.)»

Все это ранние стихи. Позже Лапин стал переходить географические границы в поисках других, экзотических стилей страха и бесстрашия.

«Честь имею донести / Снисхожденью капитана» — это из рапорта японского разведчика. А это из «Стихотворения повстанца», подшитого к делу «для доклада майору Исия»: «Меня привели в городской острог / Японцы в розовых башлыках. / Я был уведен с кремнистых дорог, / С хребтов, курившихся в облаках. // <...> // Теперь не поймаете вы меня / Ни в красных горах, ни в диком лесу — / Я обернусь в крота и в коня, / В волка, в лохматую бабу-лису».

Киплинг подчас бывал Лапину образцом. Вот два стиха из вольного переложения «The Rhyme of the Three Sealers» («Now this is the Law of the Muscovite, that he proves with shot and steel»), «Повести о котиках»: «Но сибирский закон, говорят, суров (о, горе тебе, зверолов!). / Пушки и пули ждут хищников у русских берегов».

«Солдат, учись свой труп носить, / Учись дышать в петле, / Учись свой кофе кипятить / На узком фитиле. // Учись не помнить черных глаз, / Учись не ждать небес, / Тогда ты встретишь смертный час, / Как свой Бирнамский лес».

Вот кого потеряла Ирина Эренбург.

Я выбираю те места из ее дневника, которые относятся к моей теме: женщина как воплощение особенной личной и общественной силы, как переводчик темного языка совести, как автор пояснений к жизни и душе другого. Здесь этот другой, в первую очередь Илья Эренбург. Дочь нашла мужество сделать то, чего не осмелился сделать он. Фаина Палеева пишет в предисловии о своей приемной матери: «Два десятка лет она прятала и перепрятывала от КГБ рукопись „Черной книги“, переправила ее в Институт памяти жертв нацизма и героев Сопротивления — Яд Вашем (Израиль)». Отца в дневнике, как и в жизни, Ирина Ильинична называла «Илья», а отчима, Тихона Ивановича Сорокина (одного из прототипов доброго Алексея Спиридоновича Тишина в «Хулио Хуренито»), «папой». О ранних годах Ирины Ильиничны, о немецкой семье матери, о двух дядях, расстрелянных в Ленинграде в 1941 году за то, что они были немцы, читатель узнает из первой части книги, «Мое детство». Надо здесь отметить, что специальностью Эренбург, приобретенною в парижские годы, была прикладная психология, которой она и занималась сначала в Институте профессиональных заболеваний, а потом в течение года в Центральном научно-исследовательском институте психологии, пока прикладную психологию не объявили «лженаукой».

XI. 41. «Говорят, что покончила с собой Марина Цветаева. Надо же — приехать из эмиграции на родину и здесь повеситься. Довели». «Выступал Сталин. Сказал о 2-м фронте. <...> До этого разговор Ильи с Шолоховым об евреях. После поражения все всплыло. Шолохов говорит, что евреи трусы. Сколько антисемитизма». «Вспомнила кошмар последнего звонка. Меня разбудил телефон. Междугородний. Боря. Я свалилась с тахты и потеряла ориентир... <...> и в этот миг замолк телефон. Для меня навсегда». «Сегодня Илья и другие корреспонденты говорили, что в связи с поражением каждый пересматривает свою судьбу. У меня ее нет». «Я готова на вечную разлуку, лишь бы знать, что он жив. Слепой, безногий, но живой».

XII. 41. «Пока японцы бьют американцев, но это, наверное, в первые дни. Я верю в силу Америки». «8 лет нашего брака. 8 лет! И за это время я все больше любила Боря. Если ты жив... Как ужасно, что я не сделала тебя счастливым, а ведь могла. <...> Нам нужно было жить в другой век. Могло бы не быть всего, всего того, что нам мешало. Неужели тебя нет?»

«Жить в другой век». Это желание предугадал восемнадцатилетний Лапин: «На склоне кровавого темени / Военных пустыков / Слагайте гимн против времени / За мир упавших веков».

I. 42. Возвращение в Москву. «Илья еще не уехал. А я не знаю, чем мне бы помогла Москва. На фронте очень хорошо. Слухи опережают сводки. Теперь все живут будущим, которое недавно всем казалось несуществующим. Заговорили всерьез о Сталинской премии, даже у нас дома. Илья будет кончать роман <потерянные при эвакуации главы «Падения Парижа». — *О. Р.*>».

III. 42. «Завтра день моего рождения. Как же ты меня баловал. Илья и мама тоже будут стараться, но мне ничего не нужно. А вдруг... Сегодня появился Б. Волин. Он был в окружении в Дорогобуже, попал в плен, бежал к партизанам». «Илья выпил за мое здоровье, я тронута».

IV. 42. «Прочитала уйму дневников немцев, их письма. Ужасно, как один описывает истребление наших в Киевском окружении: как клопов.

Друг, товарищ, самое родное на свете существо — Боря!»

«В гостинице у Ильи проходной двор, а он ухитряется работать». «Подписала договор — буду собирать материалы о Зое Космодемьянской». «Сегодня Сталинская премия. Илья получил, и Валя ему достала торт. Многих волнует эта премия. Я их не понимаю». «Откуда взять хоть капельку надежды? Гайдар убит, почему же Боре остаться живым? Но так хочу верить».

«Кто-то говорит, что Борис и Захар <Хацревин> уехали в машине, в которую попала бомба. Полянов будто видел их по дороге на Сталино. Но я не верю, хотя очень хочу. Нет.

Была у матери Зои Космодемьянской. Деревянный дом без воды, без отопления, жили втроем в комнате в 16 кв. метров. Шура, брат Зои, спал на полу. Дощатый пол. <...> Мать Зои дала мне все: детский дневник Зои, ее сочинения, рассказала охотно о дочери, но без тепла. Очень оживилась, когда описала сцену установления имени повешенной партизанки. Приехало несколько матерей, но Любовь Тимофеевна одержала верх. Зое присвоено звание Героя Советского Союза, значит, Космодемьянским дадут квартиру. <...> Не знаю, кто будет ставить картину, но пока материал не для нашего времени. Будет очередная липа». «Был у меня Шура Космодемьянский. Хороший мальчик. Хочет стать художником, а мать требует, чтобы он пошел добровольцем на фронт. Рассказывал о Зое, ее не любили, а она и не нуждалась в близких ей людях. Мечтала совершить героический проступок, всю свою недолгую жизнь боролась против несправедливости. Говорила всем в лицо правду, не шла на компромиссы».

«Американцы бомбили японцев, но не та радость, как если бы бомбили немцев». «Пишу для французского радио о приемных детях. Очень хочется написать о Зое, но не пропустят, даже если изменить имя».

V. 42. «Сейчас звонил Илья, сказал, что очень понравились мои выступления по радио. Боря бы обрадовался. А мне-то что? <...> Илья сейчас читает по радио, мне пришло в голову, что, может быть, Боря это слышит. Идиотка». «Илья увлечен работой. Был трогательно внимателен ко мне». <Примечание: «Илья был очень скрытен и страдал от этого. Из писем разным людям, из его поступков, которые были мне не известны, поняла, что он меня любил, а я обижалась на его холодное отношение. Поняла, но поздно — его уже не было в живых»>. Выступала по французскому радио. Черт знает, как перекорректировали мой текст». «Ужасно обидно, что Настя <домработница, в октябре 1941 года. — О. Р.> сожгла рукопись Бориной книги — это непоправимо».

«Хоронили Зою на Новодевичьем. Убого и героично, как все у нас. Чудесные, совсем юные девушки в военном. Венок от парашютистов-десантников. Мать произнесла стандартную речь». «Читала по радио о Зое. Умеренно врала». «Матери Зои мало дочери-героини, ей нужно, чтобы сын сгорел в танке! Чудовищно, но Шура едет на фронт танкистом».

VI. 42. «Англичане второй раз налетели на Рур. Пять тысяч самолетов. Новый метод войны. Дай бог. Боря, я начинаю забывать тебя зрительно, это ужасно. <...> Как бы чудесно было, если бы мы были вдвоем, даже в окружении. <...> Боренька, знаю, что ты должен быть, иначе мы оба не будем. <...> Ты будешь мною гордиться — я работаю. Но что толку...» «Вернулся Илья. Обгорелый. Нерадостный». «С Ильей трудно — он погружен в себя».

VII. 42. «Илья счастливо устроен — активен плюс эгоцентризм. Прощу ли я историю с Борисом? <Примечание: „Киев был почти полностью окружен, и я попросила Илью поговорить с редактором «Красной звезды», чтобы тот отозвал Захара и Бориса. Для газеты они стали бесполезны. Почему-то Илья этого не сделал. Может быть, уже поздно?“>». «Рассказ об обращении Ильи

к евреям — как все сокращали». «Устала я. Мне 31 год — богатое прошлое и никакого будущего. В этой чудовишной жизни была хоть большая любовь».

VIII. 42. «Сводка прежняя. Видела женщину с медальоном, на котором еврейская звезда и еврейская надпись. Молодая». «Кончилась моя работа на радио. Марти хочет одних французов. Я огорчена. Мне необходима работа и много». «Сегодня лезла на стенку от внутреннего возмущения. Завтра иду к зенитчицам для испанского радио». «В Институте психологии: тишь да благодать, бюрократизм. Война отсутствует. <...> лекции о характере: „Когда влюбляются, меняется характер“. А когда ведешь танк на таран?» «Марти таки выпер меня с радио». «Выступала по радио последний раз. Окончательно отказалась — все Марти. <Примечание: «Я знала, что Андрэ Марти не любит Илью со времен гражданской войны в Испании, но не думала, что такой крупный политический деятель может перенести свою вражду с Ильей на меня»>». «Я попросила выпустить Настю <Как следует из контекста, Настя была арестована за кражу и разорение квартиры Эренбургов в октябре 1941 года. — О. Р.> — все равно не вернуть рукопись книги Бориса, которую она сожгла. Хитрая дура: ждала немцев, а повесила на видном месте фотографию Пассионарии с надписью Илье!» «Ночью вспоминала: жуткую мы жизнь прожили, но был Боря. Илья ужасно выглядит. Собирается на фронт».

IX. 42. «Я была в госпитале. Все хотят рассказать. Очень страшен человек, пробывший год в плену: по-детски радуется, что его не отправили в Сибирь». «Завтра Илья уезжает на фронт. Боюсь за него»

X. 42. «Илья говорит всю „правду“ инкорам. Он ездил на фронт. Второго фронта не будет, это ясно. Я болела и переехала к нашим в гостиницу. Взятась составлять книгу немецких дневников и писем для Ильи». «Илье дали генеральскую столовую. Мама думает о картошке, папа о сахаре». «Все уговаривают, что надежды нет, а я тебя жду, жду, когда иду на радио, жду по дороге в гостиницу, когда Илья возвращается из „Красной звезды“, ищу в сообщениях о партизанах, в немецких дневниках. А в действительности до конца войны я ничего не узнаю. Нальчик взят. Сталинград чудом держится».

XI. 42. «Вчера вечером речь Сталина. Илью повезли в Кремль за час до начала. Зачем? Таковы порядки». «Разнообразные у меня знакомые. Хорошо бы знать, кто стукач». «Заключила договор: медработники на войне. Теперь хлопоты, чтобы наконец уехать на фронт». «Была у наших, папа сказал: „Если бы не было партизан, была бы нормальная война“». «Вчера вечером поразительное сообщение о разгроме немцев под Сталинградом». «Боря, даю тебе слово не опускаться. С сегодняшнего дня». «Теперь ежедневно „Последний час“».

XII. 42. «Вы знаете, что такое, когда человек устал мучиться? Я устала. Илья сегодня: „Что ты так хандришь?“ Боже мой, где узнать?» «За то, что ты тоже думал обо мне. Завтра еду».

I. 43. «В редакции „Уничтожим врага“». «В газете в основном белорусские евреи. Скорее всего, семьи их погибли, но об этом не говорят». «Кавалерист, кадровый. Из Запорожья. Прошел пять войн. <...> Он действительно любит лошадей. Говорит, что кобыла выносливее коня. Как у людей». «В 90-й полк меня отвез мальчик, воспитанник полка. Командир полка Гриценко <...> проверил у меня документы. <...> Меня спросил: „Родной отец?“ <...> Разговор о евреях: „У нас есть один, Корф, вы его не увидите, он в разведке, смелый до хулиганства“. Снимала автоматчиков. Они устроили проческу леса, хотя я умоляла этого не делать. Надели белоснежные халаты, на которых видны следы утюга. Это все для фотографии. Здесь тоже показуха!»

«Была в 58-м полку. <...> Немцы были метрах в ста от меня. <...> На обратном пути начался минометный обстрел. Жуткий вой, шлепаются осколки, а мы идем по траншее, которая едва доходит мне до талии. Передо

мной полз какой-то боец, вдруг я увидела, что у него вылезают кишки, кровавые, на белый снег. У меня подкосились ноги, но я твердо стояла. От страха. Сопровождающий меня лейтенант закричал мне: „Баба, ляжешь ты когда-нибудь?“ — и нехорошо выругался. Тогда я поняла — он считает, что я стою из храбрости, и он не может лечь, когда женщина стоит».

«У меня собрался интересный медицинский материал, но едва ли его используют — он такой страшный. Бедная, нищая мы страна, где нет ни бинтов, ни ваты, не говоря о всем остальном. Но люди замечательные».

«Ночью въезд в Москву». «Каплера посадили. Нечего влюбляться в дочь Сталина».

II. 43. «Илья на Воронежском фронте, вернее, на Курском». «Ненадолго хватило моего фронтового заряда. Ночью ты снился, утром редела».

IV. 43. «Илья пишет поэму — изоляция, счастливый».

V. 43. «Меня пригласили с почетом на французское радио в связи с ликвидацией Коминтерна — Марти. На фронте ничего существенного. Дают 10 тысяч рублей семьям погибших офицеров. Ужасно больно и горько... Отдам маме, пусть купит себе жилье».

VI. 43. «Полное затишье на фронте. Отсюда пессимизм. Антисемитизм: „Уничтожим врага“ разогнали — „синагога и семейственность“».

VII. 43. «Вчера разгромная статья о Сельвинском». «Все еще стоит еврейский вопрос». «С Ильей совсем трудно, он погрузился в себя». «Я еще не писала об обещании дать второй фронт в мае—июне. Что-то не верится. Лучше бы они бомбили Германию, как делали два раза. Нужно разрушить страну. У меня чистая ненависть, чистая, как ручей. Гляжу на его фотографию и вижу его руки, больно до крика». «Сегодня Илья вернулся с Орловского направления, т. е. Орел—Брянск. Очень доволен. Говорит, что фрицы отступают, что наша техника сильнее».

VIII. 43. «Может быть, тебя мучают. <...> Почему мы с тобой так часто расставались? Надо было всюду ездить с тобой. Но у нас не та власть — кто бы мне дал загранпаспорт, когда вы плавали по Ближнему Востоку?»

Из примечания: «Искусству Илья был предан, талантливым художникам, поэтам все прощалось. Любовь к поэзии была у Ильи как бы врожденная. На талантливых людей он никогда не обижался, он их боготворил. Недаром Пастернак, не помню по какому поводу, сказал ему: „Ваша неумная любовь ко мне погубит меня“. Илья не завидовал чужому дару, а спешил его донести до других».

IX. 43. «Разговаривала с Кошевой. Очень славная». «Два дня назад приехали Илья и Гроссман. Были под Киевом. Рассказы о предательствах, уничтожении евреев. <...> И тот и другой говорят: надежды быть не может. Я и сама понимаю, что раз перешли Днепр, то где может быть Боря? Логически все ясно, в лучшем случае убит. А может быть, замучен и расстрелян, может быть, покончил с собой».

XII. 43. «Все новые и новые письма и рассказы о гибели евреев. <...> Сильная бомбардировка Берлина. Илья уехал вешать немцев в Харьков. <Примечание: «15—18 декабря 1943 года в Харькове состоялся суд над палачами, истребившими 30 тысяч человек. На трибунал поехали кроме Ильи Симонов и Толстой. Илья скупно рассказывал об этом трибунале и с удивлением говорил, что Симонов, Толстой и остальные присутствовали при казни преступников. Илья не пошел смотреть, как их вешали»>.

«Страх за мирное время, особенно у евреев: уже в университетах ограничения для евреев». «Теперь мы знаем, на что способны немцы. Сегодня видела Михоэлса. Он рассказывал об Америке — тоже фашизм. Гитлер победил — культура кончилась».

I. 44. «Илья мрачен и недоброжелателен. Каплер получил 5 лет».

II. 44. «Разговаривала с Васеной, партизанкой, как она себя называет, а в действительности — диверсанткой. Она мне подарила свой дневник, сказала, что я могу с ним делать, что хочу, только не называть ее имени. Хрупкая, болезненная девушка, на меня не произвела никакого впечатления, но ее дневник меня поразил. Жестокая правда».

VIII. 44. «За это время взяли Париж. Взяли сами французы. У нас замалчивают. Илья поет „Марсельезу“». «Во мне есть еврейское свойство — находить, что все плохо. Но ужасно, когда оно оправдано. Да, почти для каждого еврея — это сейчас так».

I. 45. «Гитлер в новогоднем приказе упомянул Илью как „сталинского еврея“». «Илья собирается ехать на фронт на автомобиле, это 1200 км». «У Сорокиных: „Наши в Пруссии сажают детей на штыки“». «Илья говорит исключительно о своем отъезде в Пруссию. Наступление продолжается».

III. 45. «Вчера Илья уехал в Пруссию. Мне очень одиноко». «Боренька!»

IV. 45. «Сегодня, открыв утром „Правду“, я увидела на 1-й странице огромными буквами „Товарищ Эренбург упрощает“ за подписью Александрова из ЦК о том, что немецкий народ есть и что немцы кидают все силы на наш фронт, а не на запад, чтобы поссорить нас с союзниками».

Дома мрак. Уже в ТАСС на вечере Тито упоминаются Леонов, Тихонов, Симонов, а Ильи нет. Началось и пойдет. Это нам знакомо».

«Меня преследует мысль — подойти к окну и шагнуть в пространство. Иногда эта мысль кажется упоительной. Останавливает чувство долга. Неужели это от деда-немца?»

«Тупой взгляд Ильи, полное отсутствие интереса ко всему, нежелание ничего есть, за исключением укропа... <Примечание: «Начался „укропный период“ — он повторялся несколько раз в жизни. Крупная неприятность вызывала у Ильи отвращение к еде. Обычно он сидел с безжизненным взглядом и съедал за день только несколько веточек укропа. Илья мог питаться одним укропом много дней, он ослабевал, ложился одетым на тахту и тупо смотрел на стену. На этот раз такой период длился долго. Илье стоило больших усилий написать вялую статью, кажется, о взятии Берлина. Его изредка стали печатать, и он постепенно вернулся к жизни»>». «Написал Сталину письмо и ждет. Мне его страшно жалко, но, честно говоря, бывают вещи настолько страшнее».

Одного еврея спросили, как он относится к советской власти? „Как к жене: немного боюсь, немного люблю, немного хочу чего-то другого“.

Идет наше наступление на Берлин».

«Была на хронике, готовим „Освенцим“: 7 тонн женских волос, гора челюстей, гора очков...»

Дома по-прежнему и даже хуже. <...> Обсуждение вопросов, которых раньше не было. Это не первый раз. Тут я себя чувствую мудрой — прошла хорошую школу. Теперь надо суметь на все наплевать и работать». «Нужно писать о восстановлении, а хочется о похоронах». «Москва готовится к 1 мая, все покупают бумажные цветы, моют окна. Merde!»

V. 45. «Москва одета в американские подарки или трофеи. 4-го будет новый заем. Сколько можно!» «Сегодня звонили Илье из радио, просили снова написать о Берлине. Может быть, перемена». «У Ильи требуют покаянной статьи. Он не будет ее писать». «Сегодня в „Правде“ снова Леонов, настала его пора. Вчера была Пасха, в магазинах продавали куличи и пасхи, говорят, с „ХВ“. Хочется чего-то другого...»

«День Победы». «На улицах всю ночь были песни и крики. Днем выступил пьяный Сталин. Фейерверк и пр. Видела много плачущих женщин. <...> Я увидела, что Илью качают, я испугалась, что его уронят. У него было испуганное лицо».

«„Что теперь делать?“ Этот вопрос возникает у многих. Возврата к старому нет. Люди стали другими.

Все, кто едет на Запад, навозит уйму барахла. Век крови, смешанной с барахлом».

«Илье телеграмма из Владивостока: будто Боря в лагере. Оказалось очередная утка, но сколько волнения!»

«К Фане <приемной дочери — *О. Р.*> приехал человек от брата, брат едет в Палестину». «Меня утешает Фаня, я ее по-настоящему полюбила, хотя путь к любви был трудным, а это и понятно — ведь она сложившийся человек. Хорошая девочка, гораздо лучше, чем я была в ее годы. Абсолютно нет лживости, порочности, что часто свойственно этому возрасту. Надеюсь, что мы с нею не расстанемся».

* * *

Я писал в начале этого опыта о женобоязни, о презрении к женщинам и к женскому. Нелепо разворачивать юбиляра Стриндберга после дневников Ирины Эренбург. Но можно перечитывать Чехова, которого она назвала любимым своим писателем (ее героиней в истории была Александра Коллонтай).

Чехов презирал женщин (об этом есть интересные замечания, отчасти на основании неопубликованных писем и медицинских материалов Чехова, у покойного А. П. Чудакова и других исследователей) и, как правило, недолюбливал евреев, но в нем не было ни капли злого лицемерия, которое отравило нравственную проповедь великих художников-моралистов второй половины XIX века. «Я не знаю Дрейфуса, но я знаю многих „Дрейфусов“, и все они были виноваты»... Это сказал автор памфлета «Нет в мире виноватых». Чехов не читал моральных ращей, но в последних своих рассказах он подверг смелой ревизии старые обобщения. Он написал «Скрипку Ротшильда», а перед смертью — «Невесту», в которой завещал сильной женщине победу: «„Прощай, милый Саша!“ — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда».

«Живая, веселая» — и «навсегда». Чехов не загадывает судьбу своей героини, он отстраняет себя от ее надежд осторожным вводным словосочетанием «как полагала». Это Чехов, до конца недоверчивый и не смеющий верить самому себе. Вскоре он умрет от чахотки в Баденвейлере, как умер в Саратове «бедный Саша», но осталось то, что должно остаться после слова, — послесловие.

БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

А. А. Матышев. Энциклопедия репрессированных авторов. 1917—1987. Биобиблиография советской трагедии. Т. 1: А — Б. — СПб.: Издание автора, 2012.

Кого я, честно говоря, не понимаю — это Бога. Повторять ошибку, которую осознал. О которой уже пожалел горько. Вполне убедившись — за десять-то тысяч лет, — «что велико разращение человек на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».

Давши, главное, Самому Себе слово — все это прекратить.

«И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.

И сказал Господь: истреблю с лица земли человек, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их».

Но вот же какая странная непоследовательность (о человеке я сказал бы: взбалмошная бесхребетность): кран был открыт не прежде, чем Ной усвоил идею ковчега и законсервировал весь наличный генофонд. Ясно, что потоп ничего не решил и все закрутилось по новой.

Тем более что, например, запрет убивать был озвучен лишь еще через тысячу-другую лет, причем поставлен в кодексе на шестое место. Поскольку, значит, пять других предписаний важнее. А тем временем прогресс — технический и социальный — пускай себе идет семимильными шагами.

Удивительно ли, что в конце концов массовый забой людей сделался способом, и целью, и содержанием существования целых государств — хотя и немногих, зато крупных.

Казалось бы: ну всё, это предел, порезвились, и хватит; свернуть декорации, выключить освещение. Но даже

ничего подобного потопа не наблюдается. Вместо выразительных и окончательных санкций — какой-то ямочный ремонт. То ли момент упущен, то ли контроль утрачен. То ли, несмотря ни на что, опять вступает в дело привычный синдром — надежда, что нынешние симпатичные малыши, когда вырастут, почему-нибудь не разобьются, как обычно, на негодяев и жертв.

Но хотел бы я знать: по какой причине это может случиться? Не из-за книг же вроде этой. Книги тут ни при чем. И тиражи ничего не значат.

100 экз.? Лет тридцать назад это был фантастически огромный тираж. Его хватило бы, чтобы Матышев А. А. получил длительный уголовный срок и всемирную известность.

Книга, кстати, очень хорошая. Читаете даже не без увлечения. Со все усиливающейся тоской.

Двести восемнадцать историй загубленных душ — всего лишь двести восемнадцать, — отобранные и сопоставленные по признакам заведомо случайным (место фамилии в алфавитном списке и участие в словесности), дают объективное и едва ли не исчерпывающее представление об основных вехах славного пути СССР.

А также единичные, но реальные примеры (Г. М. Александров, А. А. Амальрик, Д. Л. Андреев, Николай Аржак, Н. В. Баршев, А. Н. Боратынский, И. А. Бродский) бесстрашного поведения. (Что если они, примеры-то эти, и удерживают Кое-Кого от окончательного решения человеческого вопроса?)

Алфавит требует еще пятнадцати книг такого же объема, справедливость — еще ста тысяч. Но практическая необходимость помалкивает.

Все взрослые и так давно всё поняли. (Ведь и «Архипелаг ГУЛАГ» тоже написан, напечатан, кое-кем даже про-

читан, — а толку?) Лишь негодяи терпеливо притворяются дураками. Изучая особенности мышления жертв.

Марк Солонин. ДРУГАЯ хронология катастрофы 1941. Падение «сталинских соколов». — М.: Яуза: Эксмо, 2011.

Еще один смешной (не обижайтесь) человек. Тоже ревнитель правды. Поборник истины. Сам только что потерпевший — вместе с нею — катастрофу. Действительно отчасти забавную. В отличие от той, которую он описывает в этой книге и в других.

А давно ли я мысленно ему аплодировал! Казалось, ему везет. Казалось: еще немного — еще несколько лет, еще несколько книг (с его-то упорством, с его-то работоспособностью) — и затея, казавшаяся поначалу совершенно безнадежной, увенчается частичным успехом.

По узкой-то специальности он — истребитель вранья. Причем самого тяжелого — военного.

(«— И интересней всего в этом вранье то, — сказал Воланд, что оно — вранье от первого до последнего слова».

— Ах так? Вранье? — воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: — История рассудит нас».)

Это выглядело так: пустынная местность, от видимого края до другого видимого края перегороженная высоченной — с небоскреб — стеной. Подбегают какие-то люди (не один же Марк Солонин занимается историей войны), быстро-быстро пишут на стене какие-то цифры и отбегают; после чего то один блок, то другой вываливается из стены и рассыпается в пыль. И в какой-то момент возникает иллюзия, будто стена рано или поздно покосится хотя бы слегка и из-за нее покажется краешек истины.

Но не тут-то было. Это была именно иллюзия. Возникшая из-за того, что Марк Солонин, некоторые его коллеги и многие читатели (в том числе и я) использовали ошибочную методологию. Неверно оценили сопротивление материала. Впали в философское заблуждение.

Видите ли, дамы и господа, мы исходили из предпосылки, что у вранья есть две роковые, неустранимые слабости.

Первая: оно выдает себя за истину. По крайней мере выдавало раньше. Обычно. Как правило. Чаще всего. Признавая, стало быть, ее превосходство и свою сравнительную ничтожность.

Этой его стеснительностью, или застенчивостью, — а прямо говоря, трусостью — этой неспособностью вранья гордо сверкнуть глазами: дескать, вот оно я, извольте же молчать и слушать! — люди вроде Марка Солонина пользуются (пользовались прежде) для побед над враньем — разумеется, временных и частичных. А как только что выяснилось — просто мнимых.

Победой над враньем эти люди считали его разоблачение. Навивно полагая, что, как только вранье разоблачено — то есть как только удалось неопровержимо доказать, что оно действительно вранье, — оно перестает существовать или, во всяком случае, действовать.

Техника разоблачения разработана до мелочей. Марк Солонин владеет ею блестяще. Она основана на второй, действительно неустранимой слабости вранья: оно вынуждено то и дело противоречить не только фактам или там документам (которые легко спрятать и/или уничтожить), — но и самому себе. Такова его природа. Особый статус отношений речевой активности — с мыслительной. (Лживых мыслей, как и лживых вещей и даже слов, — не бывает. Лживыми бывают только предложения. И люди.) И вот когда вранье наезжает само на себя — тут его тепленьким и берут.

Как в этой книжке. Написанной для опровержения одной фразы из моего школьного учебника. И вузовского. Когда-то я должен был знать (и знал) ее наизусть, теперь забыл. Что-то вроде того, что, внезапно напад на мирно спящие аэродромы, вражеская армада уничтожила большую часть советских самолетов еще на земле; в первый же день войны, прямо с утра.

Потратив очень много ума и труда, Марк Солонин разрушил это утверждение полностью. Лишь немногие из советских самолетов погибли в первый день на аэродромах. И немногие погибли в воздушных боях. Все подсчитано скрупулезно. Больше нет ни малейших сомнений, что «неучтенная убыль» (11 тысяч самолетов за первые

месяцы войны) должна быть объяснена иначе. И даже стало понятно — как.

Ну и что? Начнем, что ли, писать в учебниках правду? А зачем?

В стене открывается внезапно отверстие, типа бойницы, в нем показывается министр культуры и произносит такие слова:

— Факты сами по себе значат очень много. Скажу еще грубее: в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна.

Вот, собственно, и все. Слышите, г. Солонин? Всех касается, а вас в пер-

вую голову. Понятия «истина» и «ложь» на территории РФ отменяются как потерявшие смысл. Ценность любого высказывания определяется исключительно единорогами. Приятное единорогам считается полезным для населения. Впрочем, если угодно, то и наоборот. Короче, бросайте вы это свое безнадёжное и опасное дело.

Пока не забодали. Пока делают вид, что им на вас наплевать:

— Если вы наивно считаете, что факты в истории главное, то откройте глаза: на них уже давно никто не обращает внимания. Главное — их трактовка, угол зрения и массовая пропаганда.

Так и есть. Со всеми вытекающими. См. выше, в предыдущей книжке.

Самуил Лурье

Erratum

В публикации стихов Дмитрия Смирнова (№ 6, с. 33, стр. 8, 10) вместо «дума» следует читать «дóма». Приносим извинения автору и читателям.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ. Римские цифры. <i>Стихи</i>	3
МАША РОЛЬНИКАЙТЕ. Слишком долгой была разлука... <i>Повесть</i>	7
ОКСАНА ЛИХАЧЕВА. Стихи	33
ОЛЕГ ЮРЬЕВ. Неизвестное письмо писателя Л. Добычина Корнею Ивановичу Чуковскому	35
ПАВЕЛ ШАРОВ. Стихи	57
АЛЕКСАНДР БОГАТЫРЕВ. За рекой Наровой	59
ДМИТРИЙ РУМЯНЦЕВ. Стихи	85

К 200-летию БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ

ВЛАДИМИР ЛАПИН. Великий юбилей «Великой годины»	87
---	----

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ИГОРЬ АРХИПОВ. Ю. О. Мартов: трагедия «мягкого» революционера	111
---	-----

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

ИРИНА УВАРОВА-ДАНИЭЛЬ. Немногое, что память сохранила. <i>О Михаиле Михайловиче Бахтине</i>	129
--	-----

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

АЛЕКСАНДР МАМЫРИН. Письма земского врача. <i>Публикация и вступительная заметка А. Б. Мамырина</i>	146
---	-----

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

БОРИС ГОЛЛЕР. «И если время повторится...» <i>Темы Владимира Кавторина</i>	166
--	-----

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

ГЕННАДИЙ БАРАБТАРЛО. Скорость и старость. <i>Дмитрий Набоков</i> <i>(10 мая 1934 — † 22 (23?) февраля 2012)</i>	191
АНДРЕЙ БАБИКОВ. Продолжение следует. Неизвестные стихи Набокова под маркой «Василий Шишковъ»	198

ИЗ ГОРОДА ЭНН

ОМРИ РОНЕН. Послесловие	224
-------------------------------	-----

БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

САМУИЛ ЛУРЬЕ. А. А. Матышев. Энциклопедия репрессированных авторов. 1917—1987. <i>Марк Солонин</i> . ДРУГАЯ хронология катастрофы 1941. Падение «сталинских соколов».	236
---	-----

CONTENTS

Poetry and Prose

Alexander Leontyev. Roman Numbers. <i>Poems</i>	3
Masha Rolnikaite. Separation Was Too Long ... <i>A tale</i>	7
Oksana Likhachyova. <i>Poems</i>	33
Oleg Yuryev. Leonid Dobychin's unknown letter to Korney Chukovsky	35
Pavel Sharov. <i>Poems</i>	57
Alexander Bogatyryov. Beyond the Narova River	59
Dmitry Rumyantsev. <i>Poems</i>	85

200th Anniversary of the Battle of Borodino

Vladimir Lapin. The Great Jubilee of 'The Great Day'	87
--	----

Historical Readings

Igor Arkhipov. Julius Martov: The Tragedy of a 'Mild' Revolutionary	111
---	-----

20th Century Memoirs

Irina Uvarova-Daniel. The Few Things That Memory Has Saved. <i>About Mikhail Bakhtin</i> ..	129
---	-----

Letters From the Past

Alexander Mamyryn. Letters of a County Doctor. <i>Prepared for publication</i> <i>with an Introduction by A. B. Mamyryn</i>	146
--	-----

People and Fates

Boris Goller. 'And If This Time Comes Again...' <i>Vladimir Kavtorin's Themes</i>	166
---	-----

Essays and Literary Criticism

Gennady Barabtarlo. Velocity and Old Age. <i>Dmitri Nabokov</i> <i>(May 10, 1934 – February 22 (23?), 2012)</i>	191
Andrei Babikov. To be continued. Unknown poems by Vladimir Nabokov under the name of Vasily Shishkov	198

From the Town of Ann

Omry Ronen. Afterwords	224
------------------------------	-----

In a Travelling Line

Samuil Lourie. A. A. <i>Matyshev</i> . Encyclopedia of Persecuted Authors. 1917–1987. <i>Mark Solonin</i> . A DIFFERENT Chronology of Catastrophe 1941. Downfall of Stalin's Falcons	236
--	-----

Сдано в набор 10. 05. 2012. Подписано к печати 14. 06. 2012.
Формат 70×108¹/₁₆. Печать офсетная. 21,0 усл. печ. л. 21,54 уч.-изд. л.
Тираж 4000 экз. Заказ № 6024.

Отпечатано по технологии СтР в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9.
Тел./факс (812) 495-56-10.

Подписка 2012

Подписку на журнал «Звезда» на территории РФ
осуществляет агентство «Роспечать»
по каталогу ОАО «Роспечать».

**Подписной индекс на полугодие — 70327,
на год — 71767**

В **Москве** можно приобрести любой номер по адресам:

Торговый дом «Москва», Тверская ул., д. 8,
тел. (495) 629-64-83

Редакция журнала «Знамя», ул. Б. Садовая, д. 2/46,
тел. (495) 699-42-64

«Новая газета» — киоски, тел. +7 916-563-68-64

За рубежом подписку осуществляет
АО «Международная книга», 117049, Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 39,
тел. (495) 230-21-17, 238-46-34, info@periodicals.ru

В любой адрес РФ, ближнего и дальнего зарубежья можно
заказать отдельные номера журнала (старые и новые)
в редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 20,
(812) 273-37-24, mail@zvezdaspb.ru (Горин В. А.)

Кроме того, в редакции можно заказать любую книгу
(см. сайт www.zvezdaspb.ru)

Последние издания:

Андрей Арьев. «Жизнь Георгия Иванова»

Борис Вахтин. «Портрет незнакомца»

Кейс Верхейл. «Соната „Буря“»

Яков Гордин. «Ничего не утаю, или Мир погибнет, если я остановлюсь»

Сергей Довлатов. «Жизнь и мнения: Избранная переписка»

Лариса Залесова. «Живи как прежде». Роман

Юлия Кантор. «Прибалтика: война без правил (1939—1945)»

Нина Королёва. «Встречи в пути». Воспоминания

Людмила Миклашевская. «Повторение пройденного»

Марио Корти. «Другие итальянцы: врачи на службе России»

Письма А. П. Ермолова М. С. Воронцову. Серия «Кавказская война. XIX век»

Валентина Полухина. «Иосиф Бродский глазами современников»

Алексей Пурин. «Листья, цвет и ветка»

Омри Ронен. «Чужелюбие. Третья книга из города Энн»

Владимир Уфлянд. «Мир человеческий изменчив. Собрание рифмованных
текстов и рисунков пером»

Оливер Фриджери. «Коранта и другие рассказы с острова Мальта»

В следующем номере журнала читайте:

- **Александр Мелихов.** Бессмертная Валька. Повесть
- **Федор Ростопчин.** 1812. Мемуары
- **Игорь Ефимов.** Эрнест Хемингуэй. Портрет в диалогах

Звезда

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ПУТЕМ ЗЕРНА

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

23 декабря 1917